





Тайный сообщник

Тайный сообщник

Генри Джеймс, Брэм Стокер, Уильям Джеймс, Джон Бэнгз, Джозеф Конрад, Джастин Уинтл, Эдвард Джордж Бульвер-Литтон, Элджернон Генри Блэквуд, Френсис Мэрион Кроуфорд

Аннотация
Тайный сообщник. (сборник рассказов зарубежных писателей)
Эдвард Джордж Бульвер-Литтон. 1803–1873. Монос и даймонос. Легенда
Генри Джеймс. 1843–1916
Частная жизнь
Веселый уголок
Джон Кендрик Бангз. 1862–1922
Рождественская история Терлоу
Брэм Стокер. 1847–1912. Крукенские пески
Фрэнсис Мэрион Кроуфорд. 1854–1909. Человек за бортом!
Джозеф Конрад. 1857–1924. Тайный сообщник. Случай, произошедший во время прибрежного плавания

Элджернон Блэквуд. 1869–1951
Ужас близнецов
Западня
Уильям Джеймс Уинтл. 1861–1934. Призрак в «Синем драконе»

Аннотация

Тема двойничества в литературе возникала ещё в фольклоре и мифологии (например, в «Старшей Эдде»). Авторы вводят двойников в произведения для различных целей: исследование идентичности, символизация внутреннего конфликта, критика и саморефлексия, создание напряжения и интриги. Образ двойника получил популярность в эпоху романтизма. В этом сборнике представлены как популярные рассказы – «Тайный сообщник» Дж. Конрада, – так и малоизвестные рассказы Г. Джеймса, Дж. К. Бангза, У. Дж. Уинтла, Э. Блэквуда, Дж. Конрада, Ф. М. Кроуфорда, Э. Дж. Бульвер-Литтона, Б. Стокера. Раздвоение личности, страшные истории близнецов; внезапная встреча с человеком, один в один похожим, который преследует главного героя, доводит до ужасного финала, – такие вариации сюжета о доппельгангере читатель найдёт на страницах данной книги.

Рассказы «Частная жизнь», «Ужас близнецов» и «Западня» публикуются в новом переводе.

Тайный сообщник (сборник рассказов зарубежных писателей)

© Волков А., перевод на русский язык, 2025
© Антонов С., составление, перевод на русский язык, 2025
© Холмская О., перевод на русский язык, Наследники, 2025
© Брилова Л., перевод на русский язык, 2025
© Бродоцкая А., перевод на русский язык, 2025
© Корчагин Г… перевод на русский язык, 2025
© Кальницкая Д., перевод на русский язык, 2025
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Эдвард Джордж Бульвер-Литтон
1803–1873
Монос и даймонос
Легенда

По рождению я англичанин, но мои ранние годы прошли за границей, в стране более северной. Ни братьев, ни сестер у меня не было; моя мать умерла, когда я еще лежал в колыбели; и единственного близкого человека, наставника и товарища детских игр я обрел в моем отце. Он был младшим сыном в родовитом и старинном семействе; что принудило его оставить родину и друзей, отринуть всякое общество и поселиться на скале — само по себе отдельная повесть, не имеющая никакого отношения к моей.

Господь свидетель, я убежден, что рассказ, который я поведу, в достаточной мере привлечет ваше внимание, поэтому нет нужды излагать еще чью-либо историю, чтобы предварительно прояснить его мелкие подробности или придать больше занимательности его удивительнейшим событиям. Я сказал, что мой отец жил на скале, ибо вся окружающая местность — пустынная, холодная,

голая, унылая — казалась одной сплошной скалой: чахлые деревца, пожухлые травы; пещеры, сквозь которые, клубясь и завывая в своем блаженном стремлении, бежал темный и бурный поток, никогда не видевший ни звезд, ни солнца, разве что мельком, сквозь редкие и страшные разломы в нависших над ним каменных громадах; нескончаемые утесы, покрытые вечными снегами и населенные хищными птицами, чьи разноголосые крики были самой приличествующей музыкой для этих небес, слишком холодных и угрюмых, чтобы облака могли равномерно устлать их тусклое, серое, бесприютное пространство; все это составляло приметы той страны, где влачилась весна моей жизни. Климат, который в более благоприятных областях **** разнообразит девять месяцев зимы тремя месяцами лета, резко наступающего и столь же внезапно сменяемого новой зимой, казалось, всегда оставался одинаковым в том милом и ласковом краю, где находился *мой* дом. Лишь на краткое время снег в долинах таял, ручьи вздувались, и синюшные, уродливого и неестественного вида растения, подобно горькой усмешке, показывались тут и там на бескрайних скалах; но именно этими признаками смены времен года и ограничивалось лето в

пору моего детства. Мой отец питал склонность к наукам — естественным наукам, а обо всем прочем имел понятие весьма посредственное; все свои знания он передал мне; а довершила мое образование Природа, дикая и суровая, преподав моей душе безмолвные, но глубоко запавшие уроки. Она научила мои ноги совершать прыжки, а руки — наносить удары; она вдохнула жизнь в мои страсти и сообщила мрачность моему нраву; она научила меня тянуться к ней, даже в ее самых грубых и непривлекательных проявлениях, а всего прочего — мужской дружбы, милых женских улыбок и звонких детских голосов, всех привязанностей, надежд, общественных взаимодействий и иных составляющих человеческого существования — сторониться, словно мучений и бедствий. Даже на этих суровых скалах, под этим неприветливым небом я обладал сокровищем, которое неведомо пресыщенному городскому вкусу или тем, кто ищет наслаждений среди благоуханного воздуха, в стране роз! Что это было за сокровище? Оно имело несметное множество разновидностей и приятных оттенков — но лишь одно название. Что это было за сокровище? *Уединение!*

Мой отец умер, когда мне было восемнадцать

лет; препорученный покровительству моего дяди, я вернулся в Лондон. Я прибыл туда, худощавый и угрюмый, телом силач, а обхождением и нравом, по мнению окружающих, — совершеннейший дикарь. Они были бы и не прочь посмеяться надо мной, но я внушал им страх; они были бы и не прочь изменить *меня*, но я сам изменил *их*; я омрачал их увеселения и нагонял тень на их сборища. Хотя говорил я мало, хотя я сидел среди них отрешенно, молчаливо и безучастно, мое присутствие их словно иссушало. Никто не мог жить рядом со мной счастливо или спокойно! Я это чувствовал и ненавидел их за то, что они не могли полюбить меня. Минуло три года — я достиг совершеннолетия, вступил в права наследства — и, гнушаясь обществом, возжаждав уединения, решил предпринять путешествие по тем безлюдным и отдаленным землям, из которых, даже если кому и удавалось туда проникнуть, не возвращался с рассказами никто. Итак, я распрощался с кузиной и тетушкой, а когда явился к своему престарелому дяде, питавшему ко мне меньше расположения, чем кто-либо, то сдавил его руку столь дружеским пожатием, что, думается мне, с тех пор сия изящная и холеная конечность исполняла свои привыч-

ные действия не совсем исправно.

Я отправился в странствия: проник в палящие пески, пересек бескрайние пустыни, шагнул под сень бескрайних африканских лесов, куда вовек не ступала нога человека, где человеческий голос вовек не нарушал внушающей трепет, важной Торжественности, что витает над великим уединением, как витала над хаосом еще до сотворения мира! Там взрастает и гибнет первозданная природа, не тревожимая и не изменяемая внешними потрясениями; семя превращается в дерево, живет бесчисленные века, падает и разлагается, гниет и исчезает; время там течет медленно, не открывая своих могучих и немых перемен ни перед кем, кроме бродячего льва или той огромной змеи, в сто раз больше худосочного удава, встречей с которым похваляются путешественники. Там же, лежа знойным полднем в тяжелой и густой тени, я слышал топот, словно шагало целое войско, слышал треск и падение деревьев и видел сквозь сплетенные ветви, как грозно шествует бегемот, и глаза его пылают, будто солнце, а белые клыки выгибаются дугами и блестят в яростном зеве, подобно колоннам в гроте: чудище, которое обитает лишь в этой глуши и с тех пор, как воды схлынули с этой полной чудес земли, не являлось

изумленному человеческому взору — ничьему, кроме моего! Времена года проносились друг за другом, но я не вел им счета; их не разделяли границы, придуманные человеком, не обезображивали превратности его низкой жизни и следы его презренных трудов. Времена года проносились друг за другом, и моя молодость сменилась зрелостью, а зрелость тронули сединой первые морозы старения; на меня навалилось чувство неопределенности и беспокойства, и я сказал себе, в своем глупом сердце: «Посмотрю-ка я еще разок на лица моих соплеменников!» Я обратил стопы назад: вновь пересек пустыни, вновь вступил в города, вновь обрядился в человеческие одежды; ибо прежде, в глуши, я был наг, а облачением мне служили отросшие волосы. Я добрался до какого-то морского порта и на корабле отбыл в Англию.

На судне был один человек — единственный, кто не избегал моего общества и не отвращался от моего хмурого вида. То была праздная и любопытная личность, исполненная легкомыслия, самовлюбленности и важности, которая свойственна тем, кому города — родной дом, и кто находит духовную пищу в пустословии. Он являл собой докучливое, несносное, гадкое сплетение

мелких и низких мыслишек. Единственным пороком, которым он не обладал, была трусость. Невозможно было внушить ему боязнь, принудить его к молчанию или избегнуть с ним встречи. Он постоянно меня доискивался; стал для меня волдырем, который никакой силой не получалось прорвать; при его виде моя душа обмирала. Мне он представлялся одним из тех созданий, которые своей гнусностью вселяют в нас и страх, и омерзение. Когда он заговаривал со мной, у меня так и чесались руки его придушить! Частенько мне хотелось схватить его в охапку и швырнуть в море, к рысьеглазым, хищнозубым акулам, что день и ночь сновали вокруг нашего корабля; но нас видело множество людей, я сдерживался, отворачивался и обессиленно прикрывал глаза; а когда открывал их вновь, то что же? — он стоял рядом со мной, терзая мой неблагосклонный слух своим торопливым пронзительным голосом! Однажды ночью меня пробудили ото сна вопли и ругательства, и я поспешил на палубу; мы налетели на скалу. То было страшное, но — боже мой! — какое великолепное зрелище! Недвижная и спокойная луна, дремлющее сапфировое море; а посреди вселенского отдохновения, безмолвного и кроткого, триста пятьдесят душ готовились

покинуть этот мир! Я присел в сторонке, смотрел и не предпринимал ничего. Моего слуха коснулся голос, похожий на гадючье шипение; я обернулся и увидел своего мучителя; лунный свет упал его лицо, искаженное плаксивой пьяной ухмылкой, его бледно-голубые глаза блеснули, и он произнес: «Мы не разлучимся даже здесь!» Кровь похолодела у меня в жилах; я едва не бросил его в море, которое подступало к нам все быстрее и быстрее; *но лицо его освещала луна, и я не осмелился его убить.* Однако, не желая гибнуть вместе со всем этим стадом, я в одиночку спрыгнул в воду и поплыл к скале. Я заметил, как следом за мной метнулась акула, но сумел увильнуть, а спустя мгновение ей и без меня нашлось чем насытить свою утробу. Я услышал треск и многоголосый, дикий крик, исполненный страдания — страдания трехсот пятидесяти сердец, которые спустя минуту перестали биться, а я сказал себе, в *своем* сердце: *«Его* голос прозвучал среди прочих, и мы *все-таки* разлучились!» Я достиг берега и улегся спать.

Когда наутро мои глаза открылись, им предстал край более прекрасный, чем грезился даже древним грекам. Солнце только что взошло и весело играло над серебристыми ручьями, де-

ревья клонились под тяжестью золотистых и пурпурных плодов, а алмазная роса искрилась на лугу, покрытом цветами, которые источали восхитительный, тончайший аромат. Тысячи птиц, на чьих великолепных пестрых крыльях сочетались все оттенки северного сияния, выпархивали из травы и древесных кущ, наполняя воздух песнями и радостью; море, на зеркальном челе которого не виделось ни единого следа недавнего крушения, шелестело у моих ног; небеса, совершенно безоблачные, залитые лучезарным сиянием, овевали ветерком мои щеки, словно осеняя благословением. Я встал с освеженным и легким сердцем; обошел свой новообретенный дом; поднялся на высокий холм и увидел, что нахожусь на маленьком острове, на котором нет никаких признаков человека; с переполненным сердцем я огляделся окрест и ликующе воскликнул: «Наконец-то я снова один!» Я спустился с холма; но, еще не достигнув подножия, я увидел, что в мою сторону движется человек. Я взглянул на него, и душа во мне обмерла. Человек подошел ближе, и я узнал моего гнусного преследователя, который избегнул утопления и теперь стоял передо мной. Он подошел, гадко ухмыльнувшись и подмигнув, заключил меня в объятия — лучше

бы мне ощутить на себе холодные кольца змеи — и проговорил своим скрипучим и хриплым голосом:

— Ха-ха, дружище, мы по-прежнему будем вместе!

Я хмуро взглянул на него, но не сказал ни слова. Возле берега находилась большая пещера, я направился туда и вошел внутрь, а этот человек последовал за мной.

— Как счастливо мы здесь заживем, — сказал он, — мы никогда не разлучимся!

Мои губы дрогнули, кулаки непроизвольно сжались. Был уже полдень, и меня томил голод. Я отправился на охоту и убил оленя, приволок его в пещеру и часть отварил на костре, сложенном из душистых дров; этот человек ел, глодал кости и смеялся, а я желал ему подавиться; когда же мы закончили трапезу, он сказал:

— Как весело нам тут будет!

Но я снова промолчал. Наконец он растянулся в углу пещеры и заснул. Я посмотрел на него и увидел, что сон его крепок; тогда я вышел, прикатил огромный камень, завалил вход в пещеру и направился на противоположный конец острова; настал мой черед смеяться! Я набрел на еще одну пещеру; устроил себе постель из мха и листьев,

соорудил деревянный столик; я выглянул из пещеры, увидел перед собой безбрежное море и сказал:

— Наконец-то я один!

На другой день я вновь отправился на охоту, поймал козленка, приволок его в пещеру и приготовил, как раньше; но я не был голоден, поэтому есть не стал, а решил побродить по острову; когда я вернулся, солнце уже почти село. Я вошел в свое пристанище, а на моей постели возле столика сидел тот самый человек, которого, как я думал, я оставил заживо погребенным в другой пещере. При виде меня он засмеялся и отложил не до конца обглоданную кость.

— Ха-ха! — воскликнул он. — Изрядную шутку вы со мной сыграли, но в пещере обнаружился еще один лаз, не замеченный вами, поэтому я выбрался и пошел вас разыскивать. Это оказалось нетрудно, ведь остров совсем маленький; и вот мы все-таки встретились и больше не разлучимся!

— Вставайте и следуйте за мной! — велел я ему.

Он встал, и пища, которую он оставил, сделалась мне отвратительной, ибо он прикасался к ней.

«Неужели он пожнет все, что я посею?» — подумал я, и мое сердце отвердело, словно железо.

Я поднялся на высокий утес.

— Смотрите, — сказал я, — видите, ручей разделяет остров надвое; вы будете жить на одной половине, я на другой; но вместе мы не сойдемся и трапезу не разделим!

— Это невозможно! — воскликнул он. — Ведь я не сумею ни раздобыть оленя, ни догнать горного козленка. А если вы не будете меня кормить, я умру от голода!

— Разве здесь не растет плодов, — спросил я, — нет птиц, которых вы можете поймать в силки, и рыб, которых море выбрасывает на берег?

— Но я их не люблю, — ответил он и засмеялся, — то ли дело плоть козленка или оленя!

— Тогда смотрите, — сказал я, — смотрите: рядом вон с тем серым камнем на другом берегу ручья я стану каждый день оставлять козленка или оленя, и у вас будет пища, которая вам по вкусу; но если вы хоть раз пересечете ручей и вторгнетесь в мои владения, я вас убью — и это столь же верно, как то, что море шумит, а птицы летают!

Я спустился с утеса и подвел этого человека к ручью.

— Я не умею плавать, — сказал он, поэтому я посадил его себе на плечи, и перешел поток вброд, и проводил его до пещеры, и соорудил для него постель и столик наподобие моих, и оставил его. Вновь оказавшись на своем берегу, я запрыгал от радости и вскричал:

– *Наконец-то* я один!

Минуло два дня, и я *был* один. На третий я отправился на охоту; был жаркий полдень, и вернулся я уставшим. Войдя в пещеру, я увидел, что на моей постели растянулся тот самый человек.

— Ха-ха! — сказал он. — Вот и я; мне сделалось так одиноко на своей половине, что пришлось снова поселиться вместе с вами!

Я хмуро поглядел на него и сказал:

— Я вас убью — и это столь же верно, как то, что море шумит, а птицы летают!

Я схватил его в охапку, стащил с постели и выволок наружу; мы очутились вдвоем на гладком песке, возле бескрайнего моря. Внезапно меня обуял страх; я затрепетал перед Духом, царящим над Уединением. Если бы нас окружали тысячи людей, я прикончил бы его прямо у них на глазах. Теперь же мне стало страшно, ибо в этом пустынном краю мы были наедине с Безмолвием и Богом! Я ослабил хватку.

— Поклянитесь, — сказал я, — более никогда не докучать мне; поклянитесь не нарушать границу, что разделяет наши обиталища, и я *не* убью вас!

— Я не могу поклясться, — ответил он. — Я скорее умру, нежели откажусь видеть благословенное человеческое лицо — даже если это лицо моего врага!

При этих словах мой гнев вспыхнул вновь; я повалил этого человека на землю, поставил ногу ему на грудь, а рукой стиснул шею; он сопротивлялся лишь миг — и умер! Я испугался; а когда я заглянул ему в лицо, мне показалось, что оно оживает, что холодные голубые глаза смотрят прямо на меня, что на посинелые губы возвратилась гнусная ухмылка, а руки, еще недавно в смертельной агонии хватавшие песок, тянутся ко мне. Поэтому я еще раз надавил ему на грудь, выкопал на берегу моря яму и похоронил тело.

— Вот теперь, — сказал я, — я наконец-то один!

И тогда в меня проникло НАСТОЯЩЕЕ *чувство одиночества,* смутное, безрадостное, неопределенное ощущение заброшенности. И я задрожал — задрожал каждой жилкой своего могучего тела, словно малое дитя, трясущееся от страха в темноте; мои волосы встали дыбом, кровь замерла, и я не мог ни мгновения более оставаться

в этом месте, будто снова сделался ребенком. Я развернулся и бросился бежать — бежать через весь остров; а когда я вновь приблизился к морю, то заскрежетал зубами, и мне захотелось быть ввергнутым в какую-нибудь бескрайнюю пустыню, дабы сокрыться в ней навечно. На закате я вернулся к себе в пещеру, присел на край постели и закрыл лицо руками — тут мне послышался шум; я поднял глаза и — истинная правда! — увидел на другом краю постели того самого человека, которого я же убил и закопал. Сидя в шести футах от меня, он кивнул мне, взглянул на меня своими тусклыми глазами и засмеялся. Я опрометью выскочил из пещеры, ринулся через лес, повалился ничком — и напротив меня, в шести футах от моего лица, вновь оказалось лицо этого человека! Во мне взыграла храбрость, и я заговорил, но он не ответил. Я попытался схватить его, он ускользнул и вновь оказался напротив, в шести футах от меня, как и прежде. Я кинулся на землю, вжался в нее лицом и не поднимался, пока не наступила ночь и землю не покрыла тьма. Тогда я встал и вернулся в пещеру; я лег на постель, а этот человек лежал подле меня; я нахмурился и попытался схватить его, как раньше, но не сумел, а потом я закрыл глаза, *а этот человек лежал подле меня.*

День следовал за днем, и одно было неизменно. За едой, в постели, внутри пещеры и снаружи, когда я вставал и садился, днем и ночью, рядом с моим ложем, в шести футах, не дальше, маячил жуткий мертвец. И я говорил, обозрев прекрасную землю и тихие небеса, а потом повернувшись к моему страшному спутнику:

— Я никогда не останусь один!

И он смеялся.

Наконец к острову приблизился корабль, я подал знак, меня взяли на борт, и, ступив на палубу, я подумал: «Я избавлюсь от моего мучителя!» И тут я увидел, что он тоже взбирается на палубу; я попытался столкнуть его в море, но тщетно; он был рядом со мной, *ел и спал вместе со мной, как раньше!* Я вернулся домой, на родину! Я заставлял себя посещать людные сборища, ходил на приемы, на концерты, я устроил так, чтобы поблизости всегда находились тридцать человек, день и ночь не сводившие с меня глаз. Поэтому меня всегда сопровождал тридцать *один* спутник, и этот *один* был гораздо общительнее, нежели все прочие.

Наконец я сказал себе: «Это наваждение, обман чувств, этого *не существует,* разве только в моем воображении. Я обращусь за советом к тем, кто

сведущ в подобных расстройствах, и *снова буду один!»*

Я призвал одного прославленного искусника, умевшего снимать пелену и морок с духовных очей, взял с него клятву сохранить все в тайне и поведал свою историю. Он был человек смелый и ученый и пообещал мне облегчение и освобождение.

— Где же теперь это явление? — спросил он с улыбкой. — Я ничего не вижу.

— В шести футах от нас, — ответил я.

— Я ничего не вижу, — повторил он, — а будь оно реальным, мои чувства восприняли бы образ не менее ощутимый, чем ваши.

И он заговорил со мной будто школьный учитель. Я не возражал и не отвечал, но велел слугам подготовить комнату и обсыпать пол толстым слоем песка. Когда все было исполнено, я пригласил врачевателя проследовать за мной в эту комнату и запер дверь.

— Где же теперь это явление? — снова спросил он.

— В шести футах от нас, как и прежде! — ответил я.

Врачеватель улыбнулся.

— Посмотрите на пол! — промолвил я и показал

пальцем на песок. — Что вы видите?

Врачеватель вздрогнул и ухватился за меня, чтобы не упасть.

— Этот песок, — сказал он, — был гладким, когда мы вошли, а теперь я вижу там человеческие следы!

А я засмеялся и повлек своего *живого* спутника за собой.

— Смотрите, — сказал я, — куда бы мы ни пошли, он следует за нами!

У врачевателя перехватило дыхание.

— Это следы тех же самых ног! — промолвил он.

— Стало быть, вы не можете мне помочь? — вскричал я с внезапным бешенством. — И мне *никогда* не суждено остаться одному?

И я увидел, как ноги мертвеца выводят на песке такие слова:

«Уединение — удел безвинных.

Скверные мысли — спутники на краткое время.

Скверные деяния — спутники на целую вечность.

Твоя ненависть принудила меня нарушить твое одиночество.

Твое преступление разрушает одиночество

навсегда».

1830/1835

Генри Джеймс
1843–1916

Частная жизнь

1

Мы разговаривали о Лондоне, расположившись вблизи величественного альпийского глетчера, ощетинившегося торосами древнего льда. Время и место действия несколько примиряли нас с унизительными условиями, в которых проходят современные путешествия: с распущеннностью и вульгарностью попутчиков, с невзрачным видом вокзала и качеством услуг в отеле, со стадным чувством долготерпения и отчаянными попытками привлечь к себе рассеянное внимание персонала, с неизбежным низведением человека до безликой фигуры в толпе. Высокогорная швейцарская долина вся алела от роз, а воздух был свеж и прохладен, словно на заре существования мира. Слабые послеполуденные лучи румянили нетающий снежный покров, откуда-то издалека до нас доносилось дружелюбное позвякивание колокольчиков незримого стада вместе с ароматом согретой солнцем жатвы. В самой горловине красивейшего из перевалов Оберленда приютилась опоясанная балконами гостиница, и вот

уже целую неделю мы наслаждались отличной компанией и отменной погодой.

Это было большой удачей, поскольку даже одного из двух упомянутых обстоятельств с лихвой хватило бы для того, чтобы вознаградить нас за отсутствие другого. Хорошая погода легко могла бы возместить нам недостаток общения, однако этого не потребовалось, ибо по счастливой случайности здесь собрался fleur des pois[1]: лорд и леди Меллифонт, Клэр Водри — ярчайшая (по мнению многих) звезда литературного мира, и Бланш Эдни — ярчайшая (по мнению всех) звезда мира сцены. Я упоминаю этих четверых в первую очередь, так как каждый приличный дом в Лондоне той поры старался «заполучить» к себе именно их. Люди из кожи вон лезли, чтобы «ангажировать» их за шесть недель вперед, — здесь же они достались нам (мы все достались друг другу) без каких-либо сознательных усилий и тайных интриг. Игра фортуны свела нас вместе в конце августа, мы сочли это удачей и подчинились решению судьбы и барометру. Когда золотые деньки останутся позади — а это произойдет довольно скоро, — мы разойдемся по разные

[1] Примечания: 1
Цвет общества *(фр.).*

стороны перевала и скроемся с глаз друг друга за вершинами окрестных гор. Мы были людьми одной среды, нас узнавали по буквам одного алфавита. В Лондоне мы встречались от случая к случаю, но все так или иначе следовали общим законам, традициям, предрассудкам и оборотам речи, принятым в нашем тесном социальном кругу. Полагаю, у всех нас, даже у дам, было в жизни то или иное «дело», но, когда заходила речь на подобные темы, мы притворялись, будто нас это не касается: в Лондоне о таком попросту не говорят. Однако здесь мы могли позволить себе невинное удовольствие быть непохожими на самих себя. Каждый из нас пребывал в «отпускном» настроении, и должен был существовать какой-то способ это продемонстрировать. Мы чувствовали себя в более естественной и непринужденной обстановке, чем та, что окружала нас в Лондоне, — или, по крайней мере, сами стали держаться непринужденнее. И мы чистосердечно признавались в этом друг другу; собственно говоря, об этом мы и вели речь, созерцая вспыхивавший на солнце ледник, когда кто-то из нас обратил внимание на длительное отсутствие лорда Меллифонта и миссис Эдни. Мы сидели на гостиничной террасе, уставленной столиками и скамейками, и

те, кто сильнее остальных хотел подчеркнуть свой возврат к природе, пили кофе на странный немецкий манер — не дожидаясь ужина.

На замечание о том, что двое из нас отсутствуют, никто не откликнулся — даже леди Беллифонт и крошка Эдни, наш милый композитор, — поскольку оно было обронено во время короткой паузы в монологе Клэра Водри (Кларенсом эта знаменитость именовалась только на титульных листах своих книг). Суть этого монолога как раз и сводилась к тому, что мы стали более открытыми и человечными. Он вопрошал собравшихся, не возникло ли у них в глубине души желания сказать собеседникам: «А я и понятия не имел, что вы такие славные люди». Я же со своей стороны находил славным (еще каким славным!) *его*, однако в тот момент подобное признание прозвучало бы неуместно, и вдобавок это было мое личное дело. Между нами установилось негласное правило, что, когда говорит Водри, все молчат, и, как ни странно, вовсе не потому, что *он* этого требовал. Напротив, из всех любителей поговорить он был самым спонтанным и унимался легче других. Мы скорее следовали традиции хозяев многочисленных домов, где великому романисту доводилось ужинать: всякий раз, когда это случалось, они по

собственному почину старались организовать за столом кружок слушателей, готовых прилежно ему внимать. В компании, собравшейся в швейцарской гостинице, вероятно, не было никого, у кого он хоть однажды не отужинал в Лондоне, и все мы подчинялись силе привычки. Ужинал он как-то и у меня, и в тот вечер, так же как и в этот альпийский день, мне не требовалось прилагать особых усилий, чтобы держать рот на замке: я был всецело поглощен решением вопроса, который вставал передо мной всякий раз при виде этого широкоплечего, крепко сложенного белокурого человека.

Вопрос этот терзал меня еще и потому, что сам Бодри, бесспорно, не подозревал о том впечатлении, которое на меня производил, — равно как и не замечал, что каждый божий день за ужином он становится центром всеобщего внимания. В еженедельниках его называли «субъективным» и «склонным к интроспекции», но если под этим подразумевалась жажда признания, то из всех людей, известных в свете, он менее всего подходил под это определение. Он никогда не говорил о себе — и, по-видимому, даже никогда не задумывался на эту тему, в высшей степени достойную его размышлений. У него были свои часы работы

и часы досуга, свои привычки, свой портной и свой шляпник, свои представления о гигиене и свое любимое вино, но все это не превращалось в позу. И все же это была поза — единственная, какую он когда-либо принимал. Бот почему ему было не сложно заметить, что за границей мы выглядим более «славными» людьми, чем дома. Сам он, попадая в новое место, не становился более славным или менее славным, а оставался таким же, каким был прежде. Он отличался от других — но никогда не отличался от самого себя (разве что в одном примечательном отношении, о чем мне и предстоит рассказать) и казался мне человеком, который лишен каких-либо склонностей и пристрастий, над которым не властна перемена чувств и настроений. Вопреки различиям в поле, возрасте и положении окружающих он как будто всегда вращался в одном и том же обществе, держался на один лад с женщинами и с мужчинами, одинаково разговаривал, сплетничал и злословил со всеми, невзирая на то, умен собеседник или глуп. Меня разбирало отчаяние оттого, что он, похоже, с равным удовольствием разглагольствовал о чем угодно — в том числе на темы, которые я на дух не переносил. Я ни разу не слышал от него — неизменно шумного,

раскованного и жизнерадостного — ни единой парадоксальной идеи, ни намека на игру мысли; и потому его заявление о том, что мы стали более «непринужденными», прозвучало весьма необычно. Как правило, на суждениях Водри лежала печать здравомыслия и банальности, чувства же его оставались для меня загадкой. Я завидовал его отменному здоровью.

Ничтоже сумняшеся Водри мерной поступью двинулся на плоскогорье анекдотов, соль которых виднелась издалека навроде ветряных мельниц и указательных столбов; вскоре я обнаружил, что леди Меллифонт думает о чем-то своем. Сидя рядом с нею, я заметил, как ее взор с легким беспокойством блуждает по нижним склонам гор. Наконец, бросив взгляд на часы, она спросила меня:

— Вы не знаете, куда они пошли?

— Вы имеете в виду миссис Эдни и лорда Меллифонта?

— Да. Лорда Меллифонта и миссис Эдни.

Ее светлость — разумеется, совершенно неосознанно — поправила меня, но мне и в голову не пришло счесть это проявлением ревности. Я не смел предполагать в ней подобных вульгарных чувств: она мне нравилась, а кроме того, пере-

числяя любые имена, всякий не задумываясь упомянул бы лорда Меллифонта первым. Он *и был* первым — неопровержимо первым. Я не говорю «величайшим», или «мудрейшим», или «самым известным», но по самой своей сути он находился во главе списка и во главе стола. Таково было его положение, и для его жены было естественно видеть его в этой роли. Моя же фраза прозвучала так, будто миссис Эдни взяла над ним верх, — ситуация немыслимая, ибо только он мог взять над кем-либо верх, но никак не наоборот. Никто, конечно, не понимал этого лучше, чем леди Меллифонт. Поначалу я побаивался ее: меня пугали ее чопорное молчание и ореол мрачности, который окутывал ее персону и придавал ей суровый и даже несколько угрюмый вид. Ее бледность отливала серым, а блестящие черные волосы казались сделанными из металла — под стать их непременным спутникам: гребням, заколкам и обручам. Она пребывала в нескончаемом трауре, носила бесчисленные украшения из агата и оникса и добрую тысячу цепочек и бус из стекляруса. Я слышал, как миссис Эдни однажды назвала ее Королевой Ночи, и эта характеристика представляется весьма точной, при условии, что ночь была темная и пасмурная. У этой женщины

имелась какая-то тайна, постичь которую не позволяло даже более близкое знакомство с нею; однако вы по крайней мере начинали сознавать, сколько нежности, искренности и простоты живет в ее душе и какой кроткой печали она исполнена. Ее словно снедала скрытая болезнь, не причинявшая боли.

Я сообщил ей, что около часа назад видел, как ее супруг и его спутница направлялись в долину, и высказал предположение, что мистер Эдни, возможно, знает что-то об их намерениях.

Винсент Эдни, несмотря на свои пятьдесят, выглядел пай-мальчиком, которому внушили, что в обществе взрослых детям следует молчать, и с поразительной скромностью и тактом играл роль мужа звезды комедийного жанра. И хотя она делала все возможное, чтобы облегчить ему эту задачу, нельзя было не восхищаться тем, с какой очаровательной внутренней готовностью он принимал подобное положение дел. Мужу, не выходящему на сцену (или как минимум не принадлежащему к миру театра), трудно бывает мириться с тем, что его жена — актриса, на которую постоянно устремлены сотни восхищенных глаз. Но Эдни не просто справился с этой ситуацией — он удивительным образом сделал

так, что это придало интерес *ему самому.* Он перевел свою любовь к супруге на язык музыки. Вы, несомненно, помните, какой искренностью были проникнуты его произведения — насколько я знаю, единственные английские композиции, которые затронули души иностранцев. Его жена так или иначе присутствовала в них всегда — то были вольные, богатые обертонами отголоски тех впечатлений, которые она производила на зрителей. Слушатель этих композиций представлял себе, как она, смеясь, с распущенными волосами, походкой сильфиды пересекает сцену. Он был всего-навсего скрипачом в ее театре, всегда занимавшим свое скромное место во время представлений; но она сделала из него нечто редкое и непонятое. Их успех породил что-то вроде партнерства, а их счастье разделили с ними их друзья. Одно лишь огорчало Эдни: он не мог написать для своей жены пьесу, и единственное его вмешательство в ее дела заключалось в том, что он обращался за этим к людям, менее всего способным исполнить его просьбу.

Окинув его беглым взглядом, леди Меллифонт заметила, что предпочитает не задавать ему никаких вопросов, и быстро добавила:

— Я бы не хотела, чтобы люди вокруг видели,

что я волнуюсь.

— А вы волнуетесь?

— Я всегда волнуюсь, когда мой муж покидает меня.

— В таких случаях вам кажется, будто с ним что-то случилось?

— Да, всякий раз. Разумеется, я уже к этому привыкла.

— Вы боитесь, что он мог упасть в пропасть… или чего-то в этом роде?

— Я и сама не знаю, *чего именно* я боюсь; просто у меня такое ощущение, что он может исчезнуть.

Она сказала так много и столь о многом умолчала, что я не нашел лучшего способа рассеять ее тревогу, кроме как обратить все в шутку.

— Уверен, он никогда вас не покинет! — рассмеялся я.

Она на мгновение потупила взор.

— В глубине души я спокойна.

— Ничего не может случиться с человеком столь совершенным, непогрешимым и столь надежно защищенным, — ободряюще продолжал я.

— О, вы даже не представляете себе, как он защищен! — воскликнула она со странной дрожью, которую я мог объяснить только ее волнением.

Словно в подтверждение моей догадки она тотчас без видимой причины поднялась и пересела на другое место — не для того, чтобы свернуть разговор, а потому, что ее одолевало беспокойство. Я не мог уразуметь, в чем дело, но тут с чувством облегчения заметил, что к нам приближается миссис Эдни с большим букетом полевых цветов в руке. Лорда Меллифонта, однако, с нею не было. Впрочем, по ее лицу я сразу понял: ни о каком печальном известии мы от нее не услышим; и все же, зная, что леди Меллифонт не терпится услышать ответ на некий незаданный вопрос, я поспешил выразить надежду, что его светлость не застрял в какой-нибудь ледовой расселине.

— О нет, мы расстались минуты три назад, не больше. Он направился в дом.

Бланш Эдни с мгновение в упор смотрела на меня — способ общения, против которого не стал бы возражать ни один мужчина. В данном случае интерес усиливался тем, что я прочел в ее глазах. Обычно они говорили: «О да, я очаровательна, я знаю, но не будем об этом. Мне просто нужна новая роль — я хочу новую роль, хочу, хочу!» Сейчас же они добавили — приглушенно, исподволь, но, как всегда, ласково: «Все в порядке, но кое-что и правда произошло. Быть может, я

расскажу вам об этом позже». Она повернулась к леди Меллифонт, подтвердив этим переходом к простодушной веселости свое профессиональное мастерство.

— Я доставила его в целости и сохранности, — сказала она. — Мы совершили чудесную прогулку.

— Я очень рада, — ответила леди Меллифонт со слабой улыбкой и рассеянно обронила, вставая: — Должно быть, он пошел переодеться к ужину. Самое время, не так ли?

В свойственной ей манере она покинула нас, не прощаясь, и направилась к гостинице, а мы при упоминании ужина разом взглянули на часы, причем каждый посмотрел на часы соседа, словно перекладывая ответственность за подобную пошлость на другого. Метрдотель, который, как и все метрдотели, был человек светский, отвел нам специальные места и время в обеденном зале, и вечерами мы тесным, уютным кружком собирались там при свете лампы. Но «переодевались» к ужину только Меллифонты, и все мы признавали, что это было вполне естественно: она поступала так же, как во всякий другой вечер своего церемонного существования (леди Меллифонт была не из тех женщин, чьи привычки менялись

сообразно перемене внешних обстоятельств), он же, напротив, обладал замечательным умением приспосабливаться к ситуации. Он был почти таким же светским человеком, как метрдотель, и знал почти столько же языков, однако старался не давать окружающим повода сравнивать достоинства фраков и белых жилетов и потому тщательно продумывал свой костюм, приходя в итоге к утонченной гармонии, скажем, черного, синего или коричневого бархата с утонченным галстуком и изысканно-небрежной рубашкой. У него имелся костюм на любой случай — и нормы поведения для каждого костюма; и огромному числу зрителей его костюмы и поведенческие нормы неизменно служили объектом развлечения, виделись частью романтики и красоты жизни. А для его близких друзей это было не просто развлечением, но также темой раздумий и разговоров, социальной опорой и, вдобавок к тому, разумеется, неиссякаемым источником интриги. Не окажись рядом его жены, все время перед ужином мы, вероятно, только это и обсуждали бы.

Клэру Водри было не занимать анекдотов на эту тему: он знал лорда Меллифонта чуть ли не с самого его рождения. И такова уж была личность

его светлости, что всякий разговор о нем незамедлительно превращался в анекдот; впрочем, не существовало, кажется, ни одного анекдота, который не оборачивался бы в конечном счете к его чести. Когда бы и где бы он ни появлялся, люди всегда могли с чистой совестью (а в Лондоне у большинства людей была чистая совесть) сказать: «А мы как раз о вас вспоминали!» И было бы немыслимо вообразить, что он принимает подобное признание иначе, чем с вежливой благосклонностью, — ибо он в любой ситуации оставался невозмутим, точно актер, которому подали нужную реплику. Ему никогда не требовался суфлер — даже его замешательства были отрепетированы. Беседуя о его светлости, я неизменно испытывал такое чувство, будто речь идет об умершем, — столь пряным оказывалось все, что про него говорилось. Его репутация походила на позолоченный обелиск, как будто он *уже* был погребен под нею; свод легенд и воспоминаний о нем сложился еще при его жизни.

Эта двойственность, полагаю, возникала из-за того, что самое звучание его имени, весь его облик, общие ожидания, которые порождала его персона, создавали вокруг него ореол чего-то романтического и необычайного. Знакомство

с его учтивостью всегда происходило позднее, и тогда на фоне реальности первоначальная легенда меркла. В тот вечер, о котором я рассказываю, реальность, помнится, ошеломила меня своим совершенством. Красивейший из людей того времени не мог бы выглядеть лучше; и его светлость, сидевший среди нас, напоминал обходительного дирижера, который гармоничными движениями руки управляет еще не вполне сыгравшимся оркестром. Он задавал направление беседы жестами столь же неотразимыми, сколь и неопределенными, и всякий чувствовал: не будь его, она лишилась бы того, что принято называть тоном. Именно тон придавал он всему, в чем принимал участие, — а самое главное, что он привносил его в английскую общественную жизнь. Он наполнял эту жизнь, расцвечивал ее, украшал ее; без него ей, образно говоря, изрядно недоставало бы словарного запаса. Она, бесспорно, была бы лишена стиля — ибо стиль ее заключался в том, что в ней был лорд Меллифонт. Он *и был* стилем. Я с новой силой осознал это там, в salle a manger[2] маленькой швейцарской гостиницы, когда нам пришлось смириться с неизбежной

[2] Примечания: 2
Обеденном зале (фр.).

телятиной. Высота *его* уровня превращала разглагольствования Клэра Водри в жалкие потуги репортера, пытающегося соревноваться с поэтом (если, замечу в скобках, здесь вообще уместно говорить о каком-либо соревновании). Занятно было наблюдать за столкновением этих характеров — столкновением, которое столь многое обещало в тот вечер. Однако ожидаемого эффекта не случилось — тактичность лорда Меллифонта свела все на нет. Он без малейших затруднений решал такого рода проблемы, беря на себя роль хозяина и принимая связанные с нею ответственность и неизбежные жертвы. В сущности, он ни разу в жизни не был гостем, а всегда выступал в амплуа хозяина, патрона, председателя. И если в его манере поведения и имелся какой-то изъян (я высказываю это предположение лишь робким шепотом), то это, пожалуй, избыток мастерства, которое он пускал в ход при любом, пусть даже самом сложном и запутанном стечении обстоятельств. Так или иначе, тем вечером нам было о чем поразмыслить при виде того, как блистательный лорд управляется с ситуацией, а здоровяку-литератору невдомек, что ситуацией (а тем более им самим как одним из ее участников) управляют. Лорд Меллифонт расточал

сокровища своего такта, но Клэр Водри не подозревал об этом.

Он ничего не заподозрил даже тогда, когда Бланш Эдни спросила, каким ему видится их третий акт, — вопрос, исполненный особого, довольно тонкого скрытого смысла. Они с Водри договорились, что он напишет для нее пьесу и, если он верно выполнит поставленную задачу, роль героини будет именно такой, какую Бланш давно жаждала сыграть. Ей было уже сорок (что не составляло тайны для тех, кто восхищался ею с самого начала ее сценической карьеры), и теперь перед ней замаячила возможность протянуть руку и достичь своей заветной цели. Идеальная комедийная актриса, Бланш отчаянно стремилась не упустить великую роль, и уже одно это придавало ее вожделенному замыслу оттенок трагической страсти. Годы шли, а главное снова и снова ускользало от нее; ничто из того, что она сыграла, не являлось ролью ее мечты — и потому сейчас уже нельзя было терять время. Это было червоточиной в бутоне розы, гримасой боли под маской улыбки; сквозь ее веселость пробивалась грусть, что не могло не брать ближнего за душу. Она играла в старых английских и новых французских комедиях и какое-то время очаровывала

зрителей своей эпохи; но ее неотступно преследовало видение чего-то большего, более близкого к тому, что ее окружало. Она устала от Шеридана, она ненавидела Баудлера — ей требовались полотна с более тонким рисунком. Но увы, выжать современную комедию из маститого романиста, на мой взгляд, было решительно невозможно — с таким же успехом можно было бы поручить ему вдеть нитку в иголку. Она обхаживала его, осыпала упреками, обольщала, не скрывая этого; однако она тешила себя иллюзиями — ей суждено было до конца своих дней играть Баудлера.

Трудно в немногих словах набросать законченный портрет этой обворожительной женщины, которая была прекрасна, не обладая ослепительной красотой, и совершенна, несмотря на добрую дюжину недостатков. Привычка смотреть на мир с театральных подмостков преобразила ее, и в обществе она напоминала статую, сошедшую с пьедестала. Бесхитростному светскому уму она представлялась ожившей картиной, неизменным сюрпризом, равносильным чуду. Окружающие ожидали, что она раскроет им секреты искусства — в обмен на отдых и чай. Она пила чай и ничего не раскрывала — и все же они не оставались внакладе. Водри и в самом деле

трудился над пьесой; но если он взялся за работу из-за того, что ему нравилась Бланш, то, полагаю, по той же причине он медлил с ее завершением. В глубине души он понимал, за какое неимоверно сложное дело взялся, и оттого из благих намерений оттягивал момент, чреватый треволнениями и невзгодами. К тому же для него не могло быть ничего приятнее, чем обсуждать иногда эту тему с Бланш Эдни, и временами он, несомненно, вставлял в пьесу какую-нибудь новую интересную находку. Если он и обманывал миссис Эдни, то лишь потому, что в своем отчаянии она твердо решила быть обманутой. На ее вопрос о третьем акте он ответил, что еще до ужина сумел написать великолепный кусок.

— До ужина? — переспросил я. — Но позвольте, cher grand maitre[3], до ужина вы околдовывали нас своей речью на террасе.

Мои слова были шуткой, поскольку он, как мне показалось, тоже шутил; но тут я впервые в жизни заметил легкую тень замешательства на его лице. Он, пристально взглянув на меня, быстро вскинул голову, — немного напомнив при этом лошадь, которую остановили на полном скаку.

---

[3] Примечания: 3
Дорогой мэтр (фр.).

— Значит, это было до того, — произнес он довольно непринужденным тоном.

— А до того вы играли в бильярд со *мною,* — бросил лорд Меллифонт.

— Тогда это, вероятно, было вчера, — сказал Водри.

Но его загнали в угол.

— Утром вы признались мне, что накануне ничего не написали, — возразила Бланш.

— Боюсь, я и сам не знаю, когда именно это было.

И Водри рассеянно и как-то беспомощно посмотрел на блюдо, которое ему в эту секунду предложили.

— Достаточно того, что *мы* знаем, — улыбнулся лорд Меллифонт.

— Убеждена, что вы не написали ни строчки, — заявила Бланш Эдни.

— Думаю, я мог бы прочесть вам всю сцену наизусть. — Сказав это, Водри нашел спасение в haricots verts[4].

— О, прочтите, прочтите! — тотчас вскричали двое-трое из нас.

— После ужина мы устроим в гостиной торже-

---

[4] Примечания: 4
Зеленой фасоли *(фр.).*

ственное regal[5], — объявил лорд Меллифонт.

— Не уверен, что у меня получится, но я попытаюсь, — продолжал Водри.

— Ах, какой вы милый — просто душка! — воскликнула актриса, которая охотно прибегала в своей речи к тому, что она считала американизмами, и была согласна на все — даже на американскую комедию.

— Но у меня есть одно условие, — добавил Водри, — вы должны уговорить своего мужа сыграть для нас.

— Аккомпанировать чтению? Ни за что! Я слишком тщеславен для этого, — воспротивился Эдни.

Лорд Меллифонт задержал на нем взгляд своих чудесных глаз.

— Вы сыграете нам увертюру, прежде чем поднимется занавес. Это будет поистине восхитительный момент.

— Я буду не читать, а просто рассказывать, — предупредил Водри.

— Это еще лучше; давайте я схожу и принесу вашу рукопись, — предложила Бланш.

Водри ответил, что рукопись ему не нужна; но

---

[5] Примечания: 5
Здесь: выступление *(фр.)*.

часом позже в гостиной мы пожалели, что он ею не воспользовался. Мы сидели в ожидании, зачарованные пением скрипки Эдни. Его жена — воплощенное нетерпение — расположилась в первом ряду на оттоманке, в профиль ко мне, а лорд Меллифонт восседал в кресле — *своем* кресле. В их обществе наш маленький благодарный кружок чувствовал себя чем-то вроде конгресса социологов или комитета по вручению призов. Внезапно, вместо того чтобы приступить к декламации, наш ручной лев начал нестройно рычать — он напрочь забыл свой текст. Он не выглядел сколь-либо смущенным (Водри вообще никогда не выглядел смущенным), а демонстрировал лишь невозмутимый, жизнерадостный кретинизм. По его словам, он нипочем не ожидал, что сваляет такого дурака, но, как нам показалось, данное обстоятельство ничуть не могло помешать этому конфузу занять должное место среди самых веселых его воспоминаний. Это *мы* ощущали неловкость, как будто он сыграл с нами заранее спланированную шутку. Тут лорду Меллифонту представился случай проявить присущий ему такт, который пролился на нас подобно бальзаму. С очаровательным артистизмом, который позволял ему скрадывать томитель-

ные паузы (манера речи, свойственная актерам «Комеди Франсез», — в Англии ничего похожего днем с огнем не найдешь), он поведал нам о собственном провале во время одного очень важного выступления: собираясь обратиться к многолюдной толпе, его светлость вдруг обнаружил, что позабыл конспект своей речи, и принялся неуклюже мямлить что-то, стоя на громадной трибуне на виду у десятков слушателей и тщетно пытаясь нашарить в безупречных карманах позарез необходимые бумаги. Но его «провал» на поверку оказался куда более возвышенным и изящным, чем заурядное фиаско нашего затейника: немногими легкими штрихами лорд Меллифонт нарисовал картину блистательного (насколько мы могли догадываться) выступления, которое благодаря самообладанию оратора, одержавшему верх над растерянностью и по достоинству оцененному публикой, не бросило тень на его репутацию.

— Играй, играй! — вскричала Бланш Эдни, похлопывая мужа по руке; она знала, что на сцене любой contretemps[6] неизменно заглушается музыкой.

---

[6] Примечания: 6
Промах *(фр.).*

Эдни схватился за скрипку, а я заметил Клэру Водри, что его оплошность можно легко исправить, послав кого-нибудь за рукописью, и, если он подскажет мне, где она лежит, я тотчас ее принесу.

— Мой дорогой друг, — ответил он, — боюсь, никакой рукописи нет.

— Значит, вы ничего не написали?

— Напишу завтра.

— Так вы разыграли нас! — обескураженно произнес я.

Но он, похоже, уже успел передумать:

— Если там что-то *есть*, вы найдете это на моем письменном столе.

В этот момент кто-то заговорил с ним, а леди Меллифонт, дабы сгладить наше невнимание к скрипачу, громко заметила, что мистер Эдни исполняет нечто в высшей степени мелодичное. Я и раньше замечал, как сильно она любит музыку; она всегда слушала ее в безмолвном восхищении. Водри отвлекся на нового собеседника, но я не был уверен, что замечание, которое он давеча обронил, безусловно разрешает мне отправиться к нему в комнату. Кроме того, я хотел поговорить с Бланш Эдни — мне надо было кое-что у нее выяснить. Однако пришлось подождать — несколько

минут мы молча внимали игре ее мужа, а потом разговор стал общим. Обычно мы рано ложились спать, но до отхода ко сну еще было немного времени, и, прежде чем оно истекло, я улучил момент и сообщил Бланш, что Водри разрешил мне позаимствовать рукопись. Она принялась заклинать меня всем, что для меня свято, незамедлительно принести ей текст; я возражал, убеждая ее, что начинать читку заново уже поздновато, чары рассеялись и никому нет дела до пьесы, — но ее настойчивость опрокинула все мои доводы. Она заверила меня, что *для нее* вовсе не поздно и я должен не мешкая завладеть этими драгоценными страницами. Я пообещал выполнить ее требование, как только она удовлетворит мое вполне обоснованное любопытство. Что произошло перед ужином, когда она гуляла в горах с лордом Меллифонтом?

— Откуда вы знаете, что там что-то произошло?

— Я прочел это у вас на лице, когда вы вернулись.

— И меня еще называют актрисой! — воскликнула моя приятельница.

— Интересно, а как называют *меня?* — осведомился я.

— Похитителем сердец… ветрeником… наблюдателем.

— Как бы мне хотелось, чтобы вы позволили этому наблюдателю написать для вас пьесу! — вырвалось у меня.

— Людям нет дела до того, что вы пишете; вы испортили бы все дело.

— Ну, вокруг меня только и разыгрываются пьесы, — парировал я. — Атмосфера нынешнего вечера наполнена ими.

— Атмосфера? Благодарю покорно. Я предпочла бы, чтобы ими были наполнены ящики моего стола.

— Он пытался обольстить вас — там, на глетчере? — допытывался я.

Она воззрилась на меня, а затем рассмеялась своим фирменным смехом.

— Лорд Меллифонт? Бедняжка, какое чудное место! Оно скорее подошло бы *нам с вами*!

— И он не проваливался в расселину?

Бланш Эдни снова посмотрела на меня — тем же быстрым, но многозначительным взглядом, что и прежде, когда появилась перед ужином с охапкой цветов в руках.

— Я не знаю, куда он провалился. Я расскажу вам об этом завтра.

— Стало быть, он все-таки упал?

— Или поднялся, — рассмеялась она. — Все это очень странно!

— Тем больше оснований рассказать мне об этом прямо сейчас.

— Мне надо подумать; сперва я сама должна во всем разобраться.

— Что ж, если вы ищете загадок, я подкину вам еще одну. Что это творится сегодня с нашим мастером?

— Мастером чего?

— Всевозможных видов лжи. Водри не написал ни строчки.

— Принесите его рукопись, и тогда увидим.

— Мне бы не хотелось разоблачать его.

— Почему бы и нет? Я же разоблачаю лорда Меллифонта.

— О, ради этого я готов на все, — заверил я ее. — Но почему Водри солгал — вот что любопытно.

— Да, любопытно, — повторила Бланш Эдни, задумчиво глядя на лорда Меллифонта. Потом, словно очнувшись, добавила: — Пойдите и посмотрите в его комнате.

— В комнате лорда Меллифонта?

Она стремительно повернулась ко мне.

– *Это* могло бы многое прояснить!

— Прояснить что?..

— Многое… многое. — Она говорила весело и возбужденно, но внезапно осеклась и обронила: — Что за вздор мы несем!

— Мы, конечно, говорим невпопад, но мне нравится ваша идея. Уговорите леди Меллифонт заглянуть к нему вместе с вами.

— О, *она* уже заглядывала! — пробормотала Бланш с каким-то странным драматизмом в голосе. Затем, взмахнув своей прелестной рукой так, словно отгоняла некое фантастическое видение, она повелительно воскликнула: — Принесите же мне рукопись… принесите скорее!

— Отправляюсь немедленно, — ответил я. — Только не говорите мне, что я не способен написать пьесу.

Она покинула меня, но исполнить тотчас ее поручение мне помешала дама с альбомом для поздравлений (он угрожал нам уже несколько вечеров кряду), которая оказала мне честь, попросив автограф с датой моего рождения. Она просила их у всех и из чувства приличия не могла обойти стороной меня. Обычно я легко вспоминаю свое имя, но мне требуется время, чтобы припомнить дату, и даже припомнив, я не всегда в ней уверен. Вот и на сей раз, колеблясь между

двумя датами, я заявил просительнице, что готов написать обе, если это доставит ей удовольствие. Она рассудительно заметила, что я, несомненно, родился лишь однажды, а я на это ответил, что в день, когда мы с ней познакомились, я родился во второй раз. Я упоминаю об этой жалкой шутке лишь для того, чтобы было ясно: вкупе с непременным просмотром других автографов эта сделка отняла у меня как минимум несколько минут. Наконец дама с альбомом удалилась, и я обнаружил, что компания тем временем успела разойтись и в маленькой гостиной, предоставленной в наше распоряжение, я остался один. Моим первым чувством была досада: если Водри уже лег спать, то неудобно его беспокоить. Однако, пока я мешкал, мне подумалось, что мой приятель, вероятно, еще на ногах. Окно гостиной было открыто, и с террасы до меня доносились голоса: Бланш с драматургом говорили о звездах. Я приблизился к окну бросить взгляд на окрестности — альпийский вечер был великолепен. Мои друзья были одни; миссис Эдни захватила с собой накидку и выглядела именно такой, какой я однажды видел ее за кулисами театра. Они ненадолго умолкли, и я услышал рокот горного потока, бежавшего неподалеку. Я отошел от окна,

и мягкий свет лампы подал мне идею. Наша компания разбрелась по своим комнатам — было уже довольно поздно для здешних сельских мест, — и гостиная принадлежала лишь нам троим. Клэр Водри написал сцену, которая просто не могла не быть восхитительной, и, если он прочтет ее нам здесь, в этот час, это станет незабываемым воспоминанием. Нужно всего-навсего принести рукопись и дождаться возвращения парочки в гостиную.

С этим намерением я отправился наверх; мне уже доводилось бывать в комнате Водри, и я знал, что она находится на третьем этаже, в самом конце длинного коридора. Спустя минуту моя рука легла на ручку двери, которую я, естественно, открыл без стука. Столь же естественным было и то, что в отсутствие хозяина свет внутри не горел, а поскольку эта часть коридора тоже утопала в темноте, мне потребовалось некоторое время, чтобы начать что-то различать в окутавшем интерьер мраке. В первый момент я понял только, что не ошибся дверью и что занавески не задернуты, — напротив меня смутно маячила пара оконных проемов, и сквозь них в комнату проникал тусклый свет звезд. Света, впрочем, было недостаточно, чтобы отыскать то, за чем я

пришел, и я уже нашаривал в кармане коробок спичек, всегда лежащий там для прикуривания сигарет, как вдруг резко выпростал руку — с возгласом, исполненным извинения. Я таки ошибся комнатой. Глаза чуть попривыкли к темноте, и я распознал фигуру человека, сидевшего за столом возле окна, — тремя секундами раньше я принял ее за плед, наброшенный на спинку стула. Я попятился, ощутив себя в роли непрошеного гостя, но тут же сообразил (быстрее, чем смог это описать), что, во-первых, эта комната не может не принадлежать Водри, а во-вторых, что, как бы это было ни удивительно, ее обитатель собственной персоной сидит прямо передо мной. Застыв на пороге, я на миг растерялся, а затем непроизвольно выкрикнул: «Привет! Это вы, Водри?»

Он не обернулся и не отозвался, однако словно бы в ответ на мой вопрос в противоположном конце коридора, на другой его стороне, немедленно открылась дверь. Из комнаты вышел слуга, держа в руке зажженную свечу, и в ее мерцающем свете я узнал человека, которого, по моему убеждению, только что оставил внизу беседующим с миссис Эдни. Он сидел вполоборота ко мне, склонившись над столом, как будто что-то писал, но я всеми фибрами души ощущал, что это он, и

никто иной.

— Прошу прощения, я думал, вы внизу, — пробормотал я, и, так как этот человек ничем не дал понять, что слышит меня, добавил: — Если вы заняты, не буду вам мешать.

Попятившись, я притворил дверь, — вероятно, я провел в комнате не больше минуты. Я чувствовал себя одураченным, и мгновением позже это чувство неимоверно усилилось. Я стоял у порога комнаты, все еще держась за дверную ручку и пребывая во власти самого странного впечатления, какое мне когда-либо доводилось испытывать. Водри сидел за своим письменным столом — казалось бы, что могло быть естественнее, — но почему он писал, сидя в темноте, и почему не отозвался на мой голос? Я помедлил несколько секунд, ожидая, что изнутри донесется какой-нибудь шорох, что Водри очнется от охватившего его транса (вполне обычного для великих писателей) и воскликнет: «А, старина, это вы!» Но я слышал только тишину, ощущал только чье-то непредвиденное присутствие в полумраке комнаты, просеянном сиянием звезд. Я повернулся, медленно поплелся обратно по коридору и в замешательстве сошел вниз по лестнице. В гостиной все еще горела лампа, хотя

там не было ни души. Через входную дверь я вышел наружу. На террасе тоже никого не было. Бланш Эдни и джентльмен, который давеча разговаривал с нею, судя по всему, уже вернулись в свои комнаты. Я проторчал несколько минут на крыльце и отправился спать.

2

Спал я — из-за чрезмерного возбуждения — скверно. Оглядываясь на те странные события (вы вскоре увидите, *насколько* странные), рискну предположить, что на деле я был взволнован куда меньше, чем мне представляется теперь; ведь нечто из ряда вон выходящее становится в наших глазах в высшей степени необычным лишь спустя время, когда мы основательно над этим поразмыслим. Я ощущал смутную тревогу, поскольку был решительно сбит с толку; и все же в произошедшем не было ничего такого, что я не мог бы прояснить поутру, спросив у Бланш Эдни, кто находился с ней на террасе минувшим вечером. Впрочем, когда настало утро — восхитительное утро, — мне отчего-то захотелось не столько рассеять свои сомнения, сколько убежать от них, чтобы от вчерашнего моего ступора не осталось и следа. День обещал быть великолеп-

ным, и мне пришло в голову провести его так, как я нередко проводил счастливые дни юности, — в уединенной прогулке по горам. Я встал рано, оделся, выпил, как обычно, чашку кофе, положил в один карман большую булку, в другой — маленькую фляжку и, прихватив крепкую трость, выступил в поход. Те чарующие часы, что я провел в горах, оставили по себе яркие воспоминания, которые, однако, не имеют отношения к предмету моего рассказа. Устав карабкаться по кручам, я ложился на пологий склон, поросший травой, надвигал на глаза кепку так, чтобы взору оставалась доступна безбрежность окрестных видов, вслушивался в разлитую вокруг тишину, нарушаемую разве что жужжанием альпийских пчел, — и мне казалось, что весь мир сжимается, глохнет и растворяется где-то вдали. Клэр Водри скукожился, Бланш Эдни потускнела, лорд Мелифонт постарел, и еще до конца дня я напрочь позабыл обо всем, из-за чего недоумевал накануне. Возвращаясь ближе к вечеру в гостиницу, я ни о чем так не мечтал, как поспеть аккурат к ужину. Я счел необходимым переодеться к трапезе и, спустившись в обеденный зал, обнаружил, что все уже сидят за столом.

В их обществе ко мне вернулись прежние со-

мнения, и я гадал, не окинет ли меня Клэр Водри подозрительным взглядом; но он вовсе не взглянул в мою сторону, и я вынужден был запастись терпением, одновременно задумавшись о том, почему не решаюсь задать ему вопрос без обиняков, прилюдно. Я и впрямь колебался и, осознав это, опять испытал прилив беспокойства, которое улетучилось в часы прогулки. Впрочем, я не стыдился своей нерешительности — это было всего-навсего проявлением осторожности и благоразумия. Я подспудно ощущал, что устроить публичное разбирательство — значит бросить пятно на репутацию Водри. Лорду Меллифонту с присущим ему тактом, конечно, удалось бы сгладить острые углы; однако мне было ясно, что в таких обстоятельствах даже его светлость будет чувствовать себя неловко. Посему, едва мы поднялись из-за стола, я подошел к миссис Эдни и поинтересовался, не желает ли она в такой прекрасный вечер прогуляться со мною на свежем воздухе.

— Вы уже отмахали добрую сотню миль; не пора ли угомониться? — спросила она вместо ответа.

— Я готов отмахать еще сотню, лишь бы вы мне кое-что рассказали.

Она быстро посмотрела на меня — с толикой того странного понимания, которое я тщетно пытался отыскать в глазах Клэра Водри.

— Вы хотите знать, что случилось с лордом Меллифонтом?

— С лордом Меллифонтом? — Занятый новой загадкой, я совсем упустил из виду другой эпизод вчерашнего дня.

— Что с вашей памятью, чудак вы этакий! Мы же говорили об этом прошлым вечером.

— Ах, да! — воскликнул я, разом все вспомнив. — Как много нам нужно обсудить! — Я увлек ее на террасу и, не успели мы сделать нескольких шагов, произнес: — Кто был здесь с вами вчера вечером?

— Вчера вечером? — Ей было невдомек, о чем речь, — так же, как мне минуту назад.

— В десять часов, сразу после того, как все разошлись, вы вышли сюда с каким-то джентльменом. Вы говорили о звездах.

С мгновение она удивленно смотрела на меня, потом рассмеялась.

— Так вы ревнуете к нашему дорогому Водри?

— Значит, это был он?

— Конечно.

— И как долго он здесь пробыл?

Она опять рассмеялась.

— А вас, я смотрю, это не на шутку задело! Он пробыл здесь четверть часа — может, чуть больше. Мы немного прогулялись. Он говорил о пьесе. Вот и все. Только ради этого я пустила в ход свои чары.

Однако этот ответ меня не вполне устроил, и я продолжал:

— А что Водри делал потом?

— Понятия не имею. Я оставила его и отправилась спать.

— И во сколько же вы ушли?

— А *вы?* Помнится, я рассталась с мистером Водри в десять двадцать пять, — сказала миссис Эдни. — Я зашла в гостиную за книгой, которую там забыла, и взглянула на часы.

— Иными словами, вы с Водри бесспорно находились здесь с пяти минут одиннадцатого до десяти двадцати пяти?

— Ну, *без споров* не обошлось, но нам было очень весело. Ou voulez-vous en venir[7]? — спросила Бланш Эдни.

— А к тому, моя дорогая, что, пока ваш спутник проводил с вами время на террасе вышеопи-

---

[7] Примечания: 7
А к чему вы клоните? *(фр.)*

санным образом, он также ухитрялся сочинять пьесу, находясь в своей комнате.

Бланш резко остановилась, и ее глаза заблестели в темноте. Она спросила, уж не хочу ли я уличить ее во лжи, и я ответил, что, напротив, готов подтвердить ее слова: их правдивость и делала этот случай таким интригующе любопытным. Она заявила, что согласится со мной, если я смогу подтвердить правдивость своих слов. Это мне удалось без труда: я подробно описал ей, как искал рукопись — ту самую рукопись, мысль о которой в ту минуту как будто начисто изгладилась из ее памяти (по причине, ясной мне только теперь).

— Разговаривая с ним, я совершенно о ней забыла… забыла, что послала вас за нею. Он полностью реабилитировал себя за недавнее фиаско в гостиной — он пересказал мне всю сцену, — призналась Бланш. Слушая о моих поисках, она опустилась на скамью. Я уселся рядом, и она подвергла меня короткому перекрестному допросу, а затем вновь рассмеялась: — Ох уж эти причуды гения!

— Да, в самом деле! Они еще непостижимее, чем я предполагал.

— О эта непостижимость таланта!

— Ну вы-то должны знать о ней все, а вот мне это в диковинку.

— А вы абсолютно уверены, что это был Водри? — спросила моя приятельница.

— Кто же, если не он? — гнул я свое. — Неизвестный джентльмен, точь-в-точь похожий на Водри и, как и Водри, предающийся литературным занятиям, сидит в поздний час за столом в его комнате и что-то пишет *в темноте*... Разве это было бы не удивительнее того, что сказал я?

— Да, и почему в темноте? — задумчиво произнесла Бланш.

— Коты могут видеть в темноте, — напомнил я.

Ее губы тронула беглая улыбка.

— Он был похож на кота?

— Нет, моя дорогая. Я скажу вам, на кого он был похож — на автора великолепных творений Водри. Он был похож на него стократ больше, чем наш общий друг на самого себя, — заявил я.

— Вы хотите сказать, что это был тот, кто за него пишет?

— Да, в то время, пока он посещает званые ужины и разочаровывает вас.

— Разочаровывает меня? — наивно пробормотала она.

— Вас, *меня*... любого, кто ищет в нем гения, создавшего страницы, которые нас так восхищают. А где все это в его разговорах?

— О, вчера вечером он был бесподобен! — заверила меня актриса.

— Он всегда бесподобен — как бесподобны ваша утренняя ванна, говяжья вырезка или железнодорожный сервис в Брайтоне. Но он никогда не бывает особенным.

— Я понимаю, о чем вы.

Я был готов обнять ее за эти слова — и, возможно, так и сделал.

— Вот почему беседовать с вами — такое удовольствие... Я часто задавался этим вопросом — а теперь я знаю ответ. Их двое.

— Какая чудесная мысль!

— Один выходит в свет, другой сидит дома. Один — гений, другой — буржуа, и именно с буржуа-то мы и знакомы. Он произносит речи, вращается в обществе, пользуется бешеной популярностью, флиртует с вами.

— В то время как *вы* удостоились чести флиртовать с гением! — перебила меня миссис Эдни. — Благодарю вас за столь тонко проведенное различие.

Я положил ладонь на ее руку.

— Убедитесь сами. Испытайте его — поднимитесь к нему в комнату.

— Подняться к нему в комнату? Но это же неприлично! — воскликнула она в духе своих лучших комедий.

— В подобном расследовании все прилично. Вы увидите его — и все разъяснится.

— Как это было бы замечательно — все разъяснить! — Она на миг задумалась, потом вскочила. — Вы хотите сказать — прямо *сейчас?*

— Когда пожелаете.

— А что, если мне попадется не тот? — спросила вдруг она с неподражаемой интонацией.

— Не тот? А которого из них вы называете *тем?*

— Я имею в виду, не тот, кого приличествует навещать даме. Предположим, я не найду там… гения.

— Другого я возьму на себя, — заверил я ее и, оглядевшись по сторонам, прибавил: — Осторожно, сюда идет лорд Меллифонт.

— Мне бы хотелось, чтобы вы и *его* взяли на себя, — сказала она, понизив голос.

— А с ним что не так?

— Как раз это я и собиралась вам рассказать.

— Рассказывайте. Он направляется не к нам.

С мгновение Бланш смотрела на лорда Меллифонта, который вышел из гостиницы не торопясь выкурить сигару и, остановившись неподалеку от нас, любовался восхитительным видом, различимым даже в сумерках. Мы не спеша проследовали в другую сторону, и по дороге Бланш заметила:

— Моя гипотеза почти так же причудлива, как ваша.

— Я не считаю свою гипотезу причудливой — она прекрасна.

— Нет ничего прекраснее, чем причудливое, — парировала миссис Эдни.

— Вы смотрите на дело с профессиональной точки зрения. Впрочем, я весь внимание.

Мое любопытство и правда ожило с новой силой.

— Так вот, друг мой, если Клэр Водри существует в двух ипостасях (а, как по мне, чем больше его, тем лучше), то у его светлости противоположный изъян: в нем не набирается и единственной.

Мы снова остановились, на сей раз одновременно.

— Не понимаю.

— Я сама не понимаю. Но мне кажется, что если есть два мистера Водри, то лорда Меллифонта в

общей сложности меньше одного.

Я на миг задумался, затем рассмеялся.

— Пожалуй, я понимаю, что вы имеете в виду!

— Вот почему с *вами* так приятно разговаривать. — Она, увы, не попыталась меня обнять, а торопливо продолжила: — Вы когда-нибудь видели его в одиночестве?

Я попытался припомнить.

— Да… он как-то нанес мне визит.

— Но, значит, он был не один.

— И я приходил к *нему* — в его кабинет.

— Он знал заранее о вашем приходе?

— Разумеется — ему доложили о моем появлении.

Она пристально посмотрела на меня — взглядом прелестной заговорщицы.

— О вас не должны докладывать! — И, обронив это замечание, она проследовала вперед. Я, запыхавшись, догнал ее.

— Вы хотите сказать, что надо войти к нему, когда он этого не ожидает?

— Нужно застать его врасплох. Вы должны проникнуть к нему в комнату — во что бы то ни стало.

Не скрою, предложенный способ разгадать возникшую перед нами загадку меня воодушевил и

вместе с тем поверг (по понятным причинам) в некоторое замешательство.

— Когда я удостоверюсь, что его там нет?

— Когда удостоверитесь, что он *там.*

— И что же я увижу?

— Вы ничего не увидите! — воскликнула она, и мы повернули назад.

Подойдя к террасе, мы оказались лицом к лицу с лордом Меллифонтом, который возобновил свою прогулку и теперь мог, не нарушая приличий, присоединиться к нам. Он весь словно светился изнутри, и его вид тотчас вызвал у меня целую вереницу ассоциаций со всем, что я прежде знал об этом человеке. Когда его светлость, улыбаясь, широким взмахом опытной руки в прозрачную ночь представил нам окрестности, словно то был кандидат поддерживаемой им «альпийской партии», когда он явился нам, овеянный изысканным ароматом своей сигары и прочими изысками и ароматами, которые с беспримерным совершенством окутывали его великолепную голову, в моем сознании молнией сверкнул ответ на загадку Бланш: он весь без остатка был общественной принадлежностью. Воплощенная публичность, он не имел частной жизни, точно так же как Клэр Водри — вопло-

щение частной жизни — не имел ничего общего с публичностью. Мне удалось услышать лишь часть рассказа моей спутницы, но все время, пока мы сопровождали лорда Меллифонта (вообще-то это *он* сопровождал нас, поскольку ему нравилась миссис Эдни, однако он всегда производил впечатление человека, скорее принимающего чье-либо общество, нежели ищущего его) и пока он добрых полчаса щедро осыпал нас дарами своей беседы, я с беззастенчивым двуличием ощущал, что мы, так сказать, вывели его на чистую воду. Колыхание занавеси, которым только что поманила меня актриса, занимало меня больше, чем мое собственное открытие; и если я не стыдился того, что посвящен в ее секрет, равно как и того, что посвятил ее в свой (хотя мой был более значительным в силу характера действующего лица), так это оттого, что за моим чувством превосходства таилось не бессердечие, а напротив, глубокое сочувствие и искреннее сострадание. Да, меня он мог не опасаться; скажу больше — я ощутил себя таким богатым и умудренным, словно вся вселенная вдруг оказалась у меня в кармане. Я и прежде догадывался, сколь многое в его жизни зависит от торжественности момента и величия места. Было бы преувели-

чением утверждать, что я подозревал о столь блистательном предназначении его светлости, и тем не менее я всегда проявлял к нему некую снисходительность (как бы покровительственно это ни звучало). Безупречность его манер вызывала во мне тайную жалость, и я не раз задавался вопросом, какое пустое лицо скрывается за этой маской, чем занят он в те неумолимые часы, когда мужчина пребывает наедине с самим собой — или, что еще страшнее, с более сильной частью собственного «я», а именно со своей женой. Каков он дома и что делает, когда остается один? В самой леди Меллифонт было нечто, дававшее пищу для подобных предположений, нечто, наводившее на мысль, что даже для нее он был всецело публичной персоной и что она мучительно искала ответы на сходные вопросы. Ей никак не удавалось их прояснить, и это служило источником ее извечного беспокойства. Мы с Бланш Эдни знали больше, чем знала она, но нипочем не поделились бы с нею нашим знанием; да и она, вероятно, не поблагодарила бы нас за это. Ее светлость предпочитала находиться в состоянии величавой неуверенности. Она не могла знать наверняка, поскольку не чувствовала себя с ним непринужденно, а он не мог ей открыться, по-

скольку наедине с ней не чувствовал себя самим собой. Он разыгрывал спектакль для своей жены, он был героем для своих слуг — нам же хотелось понять, что с ним происходит, когда ничей взор его не видит и, что более важно, ничья душа им не восхищается. Надо полагать, он расслаблялся и отдыхал — но какое же абсолютное отсутствие, должно быть, необходимо, чтобы компенсировать столь интенсивное присутствие! Сколь насыщенными должны быть антракты, чтобы человек мог вновь и вновь выдерживать подобные представления! Гордость леди Меллифонт не позволяла ей выпытывать чужие тайны и подглядывать в замочную скважину, и потому ее светлость сохраняла достоинство, одновременно продолжая изнывать от тревоги.

То ли, как я предположил, миссис Эдни сумела расшевелить нашего спутника, то ли наше нынешнее ироническое отношение к нему сделало мой взор острее, но, так или иначе, он показался мне изрядно непохожим на самого себя, на того, кем он непременно предстал бы перед нами, не задумайся мы над его образом. Его публику составляли лишь я и Бланш, однако никогда еще он не был настолько публичным. Его безупречные манеры никогда не были более безупречными,

его поразительный такт — более поразительным, его уникальный raison d'etre[8], сообщавший его личности абсолютную цельность, никогда не проявлялся более наглядно. Я ощутил тайное желание увидеть все это в передовицах утренних газет и вместе с тем — тайное ликование оттого, что знаю нечто, чего нипочем там не увижу (хотя любое предприимчивое издание щедро вознаградило бы меня за такие сведения). Добавлю, впрочем, что, несмотря на почти чувственное удовольствие — сродни тому, какое испытываешь от изысканного блюда или ранее незнакомых утех, — мне не терпелось опять уединиться с миссис Эдни, которая задолжала мне анекдот. В тот вечер это оказалось невозможным: кое-кто из гостей вышел наружу полюбопытствовать, чем так увлечен его светлость, и лорд Меллифонт уговорил маленького скрипача сыграть нам что-нибудь; тот достал инструмент и заиграл, стоя на гулкой террасе, лицом к лицу с духами Альпийских гор, — заиграл поистине божественно! Еще до окончания концерта я потерял актрису из виду и, заглянув в окно гостиной, обнаружил ее там вдвоем с Водри, который читал ей вслух с ру-

[8] Примечания: 8
Смысл существования *(фр.).*

кописи. Великолепная сцена была, судя по всему, дописана и, несомненно, интересовала Бланш еще больше, чем прежде, оттого что она увидела автора в новом свете. Решив, что беспокоить их в такой момент было бы неделикатно, я отправился спать, так и не поговорив с Бланш. Спозаранку я разыскал ее, напомнил о данном ею накануне обещании и предложил совершить прогулку в горы, благо утро сулило отменную погоду.

Она подтвердила обещанное и одарила меня своим обществом, но, едва сделав несколько шагов в сторону перевала, с жаром воскликнула:

— Вы и представить себе не можете, мой дорогой друг, как это меня захватило! Я только об этом и думаю!

— А, о вашей гипотезе насчет лорда Меллифонта?

— При чем тут лорд Меллифонт? Я говорю о мистере Водри — из них двоих он куда интереснее. Меня заворожил этот образ… как вы его назвали?

— Его двойной сущности?

— Его второго «я» — так будет понятнее.

— Значит, вы принимаете, признаете его?

— Признаю?! Да я им упиваюсь! Вчера вечером оно раскрылось передо мной во всю силу.

— В то время, когда он читал вам вслух?

— Да, пока я слушала его и наблюдала за ним. Все сделалось таким простым и понятным.

Я торжествовал.

— Это и впрямь подарок судьбы. Сцена хороша?

— Великолепна. И читает он превосходно.

— Почти так же хорошо, как другой пишет, — рассмеялся я.

Она на миг остановилась и положила руку мне на предплечье.

— Вы попали в самую точку! Мне все время казалось, что он декламирует чужое сочинение.

— Точно оказывает услугу другому, — подхватил я.

— Совершенно не похожему на него, — добавила Бланш.

Мы всю дорогу рассуждали об этом различии и о том, какие богатые жизненные возможности открывает подобная двойственность.

— Это позволяет ему прожить вдвое дольше, чем живут остальные люди, — заметил я.

— Которому из двоих?

— Обоим. Ведь они партнеры, и ни один из них не смог бы вести дела без второго. Более того, если один переживет другого, это станет катастрофой

для обоих.

Она немного помолчала, потом воскликнула:

— Не знаю… мне бы хотелось, чтобы он пережил!

— Могу я узнать, кто именно?

— Если вы сами не догадываетесь, то не стоит и говорить.

— Я знаю женское сердце. Вы всегда предпочитаете другого.

Она снова остановилась и огляделась по сторонам.

— Моего мужа нет поблизости, и я *могу* вам признаться. Я влюбилась в него!

— Несчастная! Он же напрочь лишен страстей, — бросил я.

— Именно поэтому я его и обожаю. Думаете, женщина с таким прошлым, как у меня, не знает, что страсти других невыносимы? Актрисы, бедняжки, не терпят ничьей любви, кроме своей собственной; они не могут позволить себе роскошь испытывать взаимные чувства. Доказательство тому — мой брак: такой красивый, счастливый союз, как наш, губителен для актрисы. Знаете, что снедало мой ум вчера вечером, все то время, пока мистер Водри зачитывал те чудесные монологи? Безумное желание увидеть

их автора!

И, словно пытаясь скрыть смущение, Бланш Эдни двинулась вперед походкой, исполненной драматизма.

— Мы это как-нибудь устроим, — пообещал я. — Мне самому хочется еще разок взглянуть на него. Однако не забывайте, пожалуйста, что я уже два дня жду подробностей, которые подтвердили бы ваш весьма интригующий и правдоподобный набросок личной жизни лорда Меллифонта.

— О, лорд Меллифонт меня нисколько не интересует.

— Еще вчера интересовал, — напомнил я.

— Да, но это было до того, как я влюбилась. *Ваша* история вытеснила его из моих мыслей.

— Не заставляйте меня пожалеть, что я вам ее рассказал. Ну же, — умолял я ее, — если вы не объясните мне, как вам в голову пришла эта идея, я сочту, что вы ее просто выдумали.

— Дайте припомнить… а пока прогуляемся вон по тому бархатистому склону.

Мы стояли у входа в очаровательную извилистую долину, плоское дно которой образовывало русло ручья, ровно стремившего вдаль свои воды. Мы вступили в нее, и мягкая тропинка, огибавшая прозрачный поток, стала увлекать нас все дальше

и дальше; я ждал, когда моя спутница поделится воспоминанием, как вдруг за поворотом мы увидели леди Меллифонт, шагавшую нам навстречу. Она шла одна, под куполом зонтика, цепляясь черным шлейфом за дерн, и являла собой зрелище, довольно редкое на этих извилистых тропах. Обычно она прогуливалась в сопровождении лакея, чинно следовавшего позади нее в ливрее, на которую удивленно засматривался местный простой люд. Увидев нас, она покраснела, как если бы ее присутствие в этом месте требовало объяснений, рассмеялась без повода и сказала, что всего лишь вышла пройтись для моциона. Мы немного постояли, обмениваясь банальностями, а затем она призналась, что рассчитывала найти здесь своего мужа.

— Он должен быть где-то поблизости? — спросил я.

— Я полагала, что да. Час назад он вышел порисовать.

— Вы уже искали его? — поинтересовалась миссис Эдни.

— Недолго, — ответила леди Меллифонт.

Обе женщины, как мне показалось, напряженно вгляделись в глаза друг друга.

— Вы найдем его для *вас,* если хотите, — пред-

ложила Бланш.

— О, не стоит беспокоиться. Я просто хотела составить ему компанию.

— Иначе он ничего не нарисует, — намекнула моя спутница.

— Вероятно, он нарисует, если *вы* составите ему компанию, — сказала леди Меллифонт.

— О, я уверен, что он вот-вот появится, — вмешался я.

— Он непременно появится, если узнает, что мы здесь! — подхватила Бланш.

— Вы подождете, пока мы его разыщем? — спросил я у леди Меллифонт.

Та повторила, что это не имеет значения, на что миссис Эдни заметила:

— Мы сделаем это для собственного удовольствия.

— Желаю вам приятной прогулки, — произнесла ее светлость и уже повернула обратно, когда я осведомился, не следует ли сообщить ее мужу, что она находится неподалеку.

— Что я шла за ним следом? — На секунду-другую она задумалась, а затем загадочно проговорила: — Лучше не надо, — и с тем покинула нас, скользнув несколько неуклюже по склону ущелья.

Мы пронаблюдали за тем, как она удаляется, после чего обменялись пристальным взглядом; с губ актрисы сорвался легкий смешок.

— С таким же успехом она могла бы бродить среди кустарников в своем Меллифонте.

У меня было свое мнение на этот счет:

— Знаете, а она ведь подозревает.

— И не хочет, чтобы он об этом догадался. Никакого рисунка-то не будет.

— Если только мы его не нагоним, — уточнил я. — Тогда он как ни в чем не бывало извлечет его из папки — в самой что ни на есть изысканной манере. И удивительнее всего, что рисунок этот окажется великолепным!

— Давайте оставим его в одиночестве; в таком случае ему придется воротиться ни с чем, — предложила она.

— Он предпочтет не возвращаться вовсе. Впрочем, он найдет себе публику!

— Разве что среди коров, — бросила Бланш и, когда я уже был готов попрекнуть ее за грубость, добавила: — Именно это я и обнаружила.

— Что вы имеете в виду?

— То, что произошло позавчера.

Я ухватился за эти слова:

— Да расскажите же наконец, что там произо-

шло!

— Я, как и леди Меллифонт, не смогла его найти, только и всего.

— Вы потеряли его?

— Он потерял *меня* — что-то в этом роде. Он решил, что я ушла. А затем... — Она запнулась, с улыбкой глядя на скалы.

— Однако вы все же отыскали его, — не без удивления продолжал я, — ведь вы вернулись вдвоем.

— Это он отыскал *меня.* Опять-таки, иначе и быть не могло. Он начинает существовать с того момента, когда осознает, что рядом есть кто-то еще.

— Я понимаю, что ему нужны антракты, — поразмыслив, произнес я, — но я не понимаю, какой принцип ими управляет.

О, Бланш постигла этот принцип в совершенстве!

— Это тонкий нюанс, но я вмиг его уловила. Я хотела вернуться — я устала и решительно убеждала его не провожать меня. Мы собрали букет редких цветов — я их принесла в гостиницу, — так вот, большую их часть нашел он. Это занятие очень его увлекло, и я знаю, что он хотел продолжать; однако я была утомлена и покинула его. С

присущим ему тактом он позволил мне уйти — я в тот момент еще не понимала, что, стоит мне удалиться, ни один цветок не будет — не *может быть* — сорван. Я направилась к гостинице, но минуты через три вспомнила, что унесла его перочинный нож (он дал его мне, чтобы подрезать стебли), и сообразила, что тот ему понадобится. Я прошла немного назад, но перед тем, как позвать моего спутника, поискала его глазами. Вы не поймете, что произошло, не имея представления о том, как выглядит место действия.

— Вы должны отвести меня туда, — потребовал я.

— Мы можем увидеть это чудо прямо здесь. Там просто негде спрятаться: высокий пологий склон горы — ни нагромождения камней, ни впадины, ни деревца, ни кустика. Лишь в самом низу лежат несколько валунов — они заслонили меня, когда я спустилась, а возвращаясь, я мигом снова вынырнула из-за них.

— Получается, он не мог вас не увидеть.

— Он исчез напрочь, весь без остатка, — как огонь свечи, задутый ветром, — по причинам, ведомым ему одному. Возможно, это случилось в тот момент, когда он почувствовал усталость, — он, знаете ли, уже немолод, — вот почему, едва

он снова ощутил себя в одиночестве, его реакция оказалась столь сильной, а исчезновение — столь полным. Так или иначе, сцена оказалась пуста, что ваша ладонь.

— А он не мог находиться где-то еще?

— Он не мог находиться нигде, кроме того места, на котором я его оставила. И тем не менее оно было совершенно пустым — таким же пустым, как долина, что расстилается перед нами. Он пропал, перестал существовать. Но едва я подала голос, выкрикнув его имя, он возник передо мной, точно восходящее солнце.

— И где именно взошло солнце?

— Там, где и следовало ожидать, — там, где он должен был находиться и где я увидела бы его, будь он подобен другим людям.

Я слушал ее с глубоким интересом, однако долг обязывал меня разрешить все сомнения.

— А сколько времени прошло между тем, как вы убедились в его исчезновении, и тем, как вы его окликнули?

— О, какие-то секунды, — не думаю, что больше.

— Достаточно, чтобы вы смогли убедиться? — продолжал я.

— Убедиться, что его там нет?

— Да, и что вы не ошиблись, не стали жертвой обмана зрения.

— Я *могла* ошибиться — но я уверена, что не ошиблась. Как бы то ни было, именно поэтому я и хочу, чтобы вы заглянули к нему в комнату.

Я на мгновение задумался.

— Как я могу… если даже его жена не осмеливается?

— Она очень *хочет;* предложите ей это — ее не придется долго уговаривать. Она кое-что подозревает.

Я вновь задумался.

— А он знает?

— Что я потеряла его и до крайности удивлена? Мне это тоже пришло в голову, но он, похоже, решил, что появился достаточно быстро. Он вынужден так думать — поневоле.

Меня одолевали сомнения: кто мог утверждать это наверняка?

— Но вы по крайней мере говорили с ним о том, что случилось?

— Боже упаси, у pensez-vous[9]! Мне все это показалось слишком уж странным.

— Да, разумеется. А как он выглядел?

---

[9] Примечания: 9
Да что вы! *(фр.)*

Пытаясь осмыслить происшедшее и восстановить в памяти давешнее чудо, Бланш Эдни раздумчиво окинула взглядом долину. Потом вдруг бросила:

— Точно так же, как выглядит сейчас!

И я увидел лорда Меллифонта, который стоял перед нами с альбомом для зарисовок в руках. Признаться, я не уловил в нем ничего подозрительного или отсутствующего; он просто стоял там, как стоял всегда и везде, — в качестве центральной фигуры сцены. Разумеется, он не мог показать нам рисунка, но то, как он исполнял свою роль, наилучшим образом подтвердило наше новое представление о нем. Перед этим он выбирал вид для этюда — и теперь одним взмахом кисти завладел пейзажем. Он прислонился к скале, а его прелестный ящик с акварелями покоился рядом на береговом уступе — естественном столике, словно бы демонстрировавшем, сколь безоговорочно благоволит к его светлости сама природа. Он рисовал, разговаривая, и разговаривал, рисуя; и рисунки его были так же разнообразны, как темы его речей, а речи могли бы стать украшением любого альбома. Мы оставались на месте все время, покуда длилось представление, а профили горных пиков, словно наделенные со-

знанием, казалось, заинтересованно следили за его успехами. Они потемнели, как и их силуэты на бумаге, и четко выделялись на свинцовом фоне неба, которое, впрочем, не внушало нам никаких опасений, пока лорд Меллифонт был занят своим наброском. Вся природа подчинилась ему, все стихии замерли в ожидании. Бланш Эдни обратила ко мне многозначительный взор, и я прочел в ее глазах: «Ах, если бы *мы* были способны на подобное совершенство! Он заполняет собой всю сцену, без остатка, — куда нам до него!» Мы не могли покинуть его — как не могли бы покинуть театральный зал до завершения спектакля; но вот зрелище окончилось, и мы втроем направились к гостинице, у дверей которой его светлость, бегло глянув на рисунок, вырвал его из альбома и с учтивыми словами вручил нашей приятельнице. Затем он вошел внутрь; а минутой позже, посмотрев наверх, мы обнаружили лорда у окна его гостиной (он занимал лучшие апартаменты) наблюдающим за тем, как меняется погода.

— Ему понадобится отдых после этого, — обронила Бланш, изучая акварель.

— И еще какой! — ответил я, вскинув взгляд к окну. Лорд Меллифонт успел исчезнуть. — Он уже растворился.

— Растворился? — Актриса явно размышляла о чем-то другом.

— В необъятности жизни. Он опять отсутствует. Начался новый антракт.

— Вероятно, он будет долгим. — Она пробежала глазами вдоль террасы и, увидев метрдотеля, который как раз показался в дверях, спросила: — Давно вы видели мистера Водри?

Метрдотель тотчас приблизился к нам.

— Он покинул гостиницу минут пять назад — полагаю, отправился на прогулку. Я заметил, как он шел к перевалу с книгой в руке.

Я взглянул на зловещие облака.

— Лучше бы он взял с собой зонтик.

Метрдотель улыбнулся.

— Я посоветовал ему то же самое.

— Благодарю вас, — сказала Бланш и, когда наш собеседник удалился, внезапно спросила: — Хотите оказать мне услугу?

— Да, если вы окажете услугу *мне.* Можно удостовериться, подписан ли ваш рисунок?

Она посмотрела на акварель перед тем, как передать ее мне.

— Как ни странно, нет.

— Подпись должна быть, иначе работа теряет известную часть своей ценности. Можно, я остав-

лю ее у себя на некоторое время?

— Можно — если выполните мою просьбу. Возьмите зонтик и догоните мистера Водри.

— Вы хотите, чтобы я доставил его миссис Эдни?

— Я хочу, чтобы вы задержали его — так долго, как только получится.

— Пока не кончится дождь?

— Какое мне дело до дождя! — возмутилась моя спутница.

— Вы позволите нам вымокнуть до нитки?

— Без всякого сожаления. — Затем, со странным блеском в глазах, она добавила: — Я собираюсь попробовать…

— Попробовать?..

— Увидеть настоящего. О, если бы только мне удалось застигнуть его! — с жаром воскликнула она.

— Что ж, попытайтесь, — ободрил ее я. — Я задержу нашего друга хоть на целый день.

— Если я доберусь до того, кто пишет… — Она запнулась, глаза ее заблестели. — Если мне удастся сладить с ним и уговорить написать еще один акт — я получу свою роль!

— Я продержу Водри целую вечность! — крикнул я ей вслед, ибо она уже скользнула внутрь.

Захваченный ее решимостью, я взволнованно взглянул на акварель лорда Меллифонта, на надвигавшуюся бурю, на окна его светлости и, наконец, на свои часы. Водри опередил меня столь незначительно, что я без труда мог нагнать его, даже задержавшись минут на пять, чтобы подняться в гостиную лорда Меллифонта, где он всегда так гостеприимно нас принимал, и передать ему, что миссис Эдни просит его освятить рисунок своей благородной подписью. Всмотревшись еще раз в творение лорда, я понял, что в нем и правда чего-то недостает, — чего же, как не великолепного автографа? Сочтя своим долгом без промедления устранить этот изъян, я не мешкая вошел в гостиницу и направился к апартаментам лорда Меллифонта; однако у двери его гостиной я столкнулся с затруднением, о котором в своей поспешности не подумал прежде. Если я постучусь, то все испорчу; но прилично ли будет пренебречь этой церемонией? Я тонул в сомнениях и вертел в руках рисунок, который упорно отказывался их разрешить. Мне хотелось, чтобы он произнес: «Отвори дверь осторожно, очень осторожно, беззвучно, но быстро, — и ты увидишь то, что увидишь». Я даже прикоснулся к дверной ручке, когда заметил (весьма вовре-

мя, надо сказать), как в точно такой же манере — осторожно и беззвучно — открылась дверь напротив. В следующее мгновение я обнаружил, что довольно натянуто улыбаюсь леди Меллифонт, которая при виде меня застыла на пороге своей комнаты. За несколько секунд, пока она там стояла, мы обменялись двумя-тремя мыслями, тем более примечательными, что они остались невысказанными. Мы поймали друг друга на том, что оба боимся заговорить, и в этом смысле отлично друг друга поняли; но едва я сделал шаг ей навстречу (нас разделяла лишь ширина коридора), с ее губ сорвалась почти безмолвная мольба: «Не надо!» В ее глазах я прочел все, что могли бы выразить слова: признание в своем любопытстве и страх перед последствиями моего. *«Не надо!»* — повторила она, когда я замер на месте. Я был готов отказаться от задуманного эксперимента, опасаясь, что она воспримет его как акт насилия; и все же в ее испуганном лице мне почудилось еще более тайное признание — намек на то, что она будет разочарована в случае, если я отступлю. Она как будто говорила мне: «Я буду не против, если вы возьмете всю ответственность на себя. Пусть кто-то другой застанет его врасплох. Но нельзя допустить, чтобы он подумал, что это

была я».

— Мы вскоре повстречали лорда Меллифонта, — сказал я в продолжение нашего с ней разговора часом раньше, — и он был настолько любезен, что подарил миссис Эдни вот этот чудесный этюд. Она отправила меня к нему с просьбой поставить недостающую здесь подпись.

Леди Меллифонт взяла набросок, и, пока она его разглядывала, я гадал, какой сильной внутренней борьбой это сопровождалось. Она хотела заговорить, но вдруг я почувствовал, как вся ее деликатность и гордость, ее всегдашняя робость и почтение к мужу мешают ей воспользоваться великолепным шансом узнать правду. Леди Меллифонт развернулась и с акварелью в руках воротилась в свою комнату. Она отсутствовала минуту-другую, а когда появилась вновь, я понял, что она подавила искушение и, более того, гонит его от себя со всевозрастающим ужасом. Этюд его светлости остался в комнате.

— Если вы будете так любезны и оставите рисунок мне, я позабочусь о том, чтобы просьба миссис Эдни была выполнена, — произнесла она в высшей степени учтиво и мягко, но притом так, что стало ясно: разговор окончен.

Я согласился — с несколько наигранным энту-

зиазмом — и затем, чтобы сгладить неловкость момента, добавил, что ожидается ухудшение погоды.

— В таком случае мы уезжаем — уезжаем немедленно! — ответила бедняжка.

Меня умилила страстность ее заявления, в котором читалось недвусмысленное желание убежать, укрыться, унеся с собой свою угрожающую тайну. И тем сильнее я удивился, когда, уже намереваясь уйти, увидел, как она протягивает мне руку. Ее пожатие — под предлогом прощания — на деле словно бы говорило: «Благодарю вас за помощь, которую вы готовы были предложить мне, но пусть все остается как есть. Если я узнаю правду — кто мне тогда поможет?» Направляясь к себе в комнату за зонтиком, я подумал: «Она уверена, но боится удостовериться».

Спустя четверть часа я догнал Клэра Водри, и вскоре мы уже искали, где бы спрятаться от ненастья. Гроза не только успела собраться — она наконец разразилась во всю мощь. Мы вскарабкались по склону к пустой хижине — невзрачной постройке, вероятнее всего, служившей загоном для скота. Впрочем, это было вполне сносное убежище, и сквозь щели в стенах мы смогли наблюдать за яростным буйством стихий, которое

царило снаружи. Представление длилось целый час — и в течение этого часа я испытал неожиданное разочарование. Покуда молнии заигрывали с громом и потоки дождя обрушивались на наши зонты, я обнаружил, что Клэр Водри решительно не оправдывает моих надежд. Не берусь сказать в точности, что я ожидал услышать от прославленного автора перед лицом разбушевавшейся природы и какую именно Манфредову позу чаял увидеть, — но мне и в голову не могло прийти, что в подобной ситуации он станет потчевать меня бородатыми анекдотами о знаменитой леди Рингроуз. Битый час, пока продолжалось это потрясающее действо, он разглагольствовал о ее светлости, а под занавес перешел к мистеру Чейферу, литературному критику с не менее скандальной репутацией. Я сокрушался при мысли, что такой человек, как Водри, может говорить о критиках. Всполохи молний явственно обнажили истину, о которой я втайне подозревал многие годы и которая самым досадным образом подтвердилась в последние дни: наш высокочтимый гений полагал, что для приватного общения сгодится и второсортный товар. Спору нет, *так* устроено общество — и все же в этом разделении на первый и второй сорт сквозило презрение к

людям, несомненно, оскорбительное для поклонников таланта нашего мэтра. Свет вульгарен и глуп, и нужно быть круглым дураком, чтобы раскрывать перед ним свое настоящее «я», когда можно просто посещать званые ужины и сплетничать, так сказать, через своего заместителя. Однако сердце мое поникло, когда я почувствовал, что он решил сэкономить таким образом и на мне. Даже не знаю, чего именно мне хотелось; полагаю, я надеялся, что он сделает исключение для *меня* — выделит меня, с присущими ему щедростью и чуткостью, из огромной блеклой и безликой толпы. Я был почти уверен, что, знай он, как я восхищаюсь его дарованием, он непременно так бы и поступил. Но мне ни разу не удалось внушить ему это, и он ни разу не изменил своему принципу экономии. Так или иначе, я был как никогда убежден, что его кресло в номере гостинице в этот час не пустовало: *там* были и поза Манфреда, и ответные живые реакции. Мне оставалось лишь завидовать миссис Эдни и тому удовольствию, которое она, вероятно, от этого получала.

Наконец распогодилось и дождь унялся настолько, что мы смогли покинуть свое укрытие и вернуться в гостиницу, где, как выяснилось, наше

продолжительное отсутствие произвело переполох. Судя по всему, друзья сочли, что мы попали в беду. Несколько человек уже высыпали на крыльцо — и были немного обескуражены, увидев, что мы всего-навсего насквозь промокли. Почему-то Клэр Водри вымок сильнее, чем я, и проследовал прямиком к себе в комнату. Бланш Эдни была среди тех, кто вознамерился нас искать, но, когда объект наших размышлений приблизился к ней, она подалась назад, не удостоив его приветствием; демонстративно — я бы даже сказал, почти холодно — она повернулась к нему спиной и быстро прошла в гостиную. Я, хоть и вымок до нитки, двинулся за нею; она тотчас обернулась, и мы очутились лицом к лицу. Первым делом мне пришло на ум, что никогда еще она не была так прекрасна. Бланш переполняло вдохновение, она вся словно светилась — и быстрым шепотом, который вместе с тем был самым громким криком, что мне доводилось слышать, выпалила:

— Я получила свою *роль!*

— Вы поднялись к нему в комнату… я оказался прав?

— Прав? — переспросила она и затем пробормотала: — Ах, друг мой!..

— Он был там… вы его видели?

— Он увидел *меня.* Это был наи лучший час в моей жизни!

— Если вы были хотя бы вполовину так прекрасны, как сейчас, это был наилучший час в *его* жизни.

— Он великолепен, — продолжала она, не слушая меня. — Он тот, кто на *самом деле* все это пишет!

Я слушал ее, не веря своим ушам, а она добавила:

— Мы поняли друг друга.

— При вспышках молнии?

— О, мне не было дела до молнии!

— Как долго вы там оставались? — восхищенно спросил я.

— Достаточно долго, чтобы признаться ему, что я его обожаю.

— Именно это я никогда не решался сказать ему! — Я едва не плакал от досады.

— Я получила свою роль… я получила свою роль! — повторяла она, безразличная в своем триумфе к моему отчаянию, и, словно счастливая девушка, кружилась по комнате, улучив, впрочем, мгновение, чтобы бросить мне: — Пойдите переоденьтесь.

— Вы получите подпись лорда Меллифонта, —

пообещал я.

— О, к черту подпись лорда Меллифонта! Он стократ милее мистера Водри! — бессвязно воскликнула она.

— Лорд Меллифонт? — Я сделал вид, что не понимаю.

— К черту лорда Меллифонта!

И Бланш Эдни, охваченная восторгом, проскользнула мимо меня к распахнутой двери. На пороге она столкнулась с мужем, кинулась ему на шею с чарующим возгласом: «Мы говорили *о тебе,* любовь моя!» — и поцеловала.

Я удалился к себе, переоделся, но просидел в комнате до самого вечера. Неистовство бури улеглось, однако продолжал сеять мелкий дождь. Явившись к ужину, я увидел, что перемена погоды разбила нашу компанию. Меллифонты отбыли в карете, запряженной четверкой, за ними последовали другие, а на утро было заказано еще несколько экипажей. Один из них предназначался для Бланш Эдни, и, сославшись на то, что ей необходимо собираться в путь, она покинула нас сразу после ужина.

Клэр Водри спросил меня, что с ней случилось, — она внезапно как будто невзлюбила его. Не помню, что я ответил, но, чтобы его ободрить,

я поутру выехал из гостиницы вместе с ним. Когда мы спустились к завтраку, Бланш уже успела исчезнуть. Впрочем, в Лондоне они помирились — он закончил свою пьесу, а она ее поставила. Тем не менее она по-прежнему ищет свою великую роль. У меня есть один превосходный замысел, но она не приходит меня вдохновить. Леди Меллифонт при встрече неизменно говорит мне добрые слова, однако это меня не утешает.

1892/1909

Веселый уголок

1

— Все меня спрашивают, что я думаю обо всем, что здесь вижу, — сказал Спенсер Брайдон, — и я отвечаю как могу, то есть либо общим местом, либо совсем увиливаю от ответа, отделываюсь, короче говоря, первой чепухой, какая придет мне в голову. Но для них это невелик убыток. Ведь если б даже, — продолжал он, — можно было вот так, по первому требованию, взять да и выложить все свои мысли на столь обширную тему, так и тогда эти «мысли» почти наверняка во всех случаях были бы о чем-то, что касается меня одного.

Он говорил это Алисе Ставертон, с которой вот уже почти два месяца, пользуясь всяким удобным случаем, вел подчас долгие беседы; и это времяпрепровождение и его склонность к нему, утешение и поддержка, которую, как оказалось, он в нем черпал, быстро заняли первое место среди удивительных неожиданностей, сопровождавших его столь запоздалое возвращение в Америку. Но здесь и все было для него в какой-то мере неожиданностью, что, пожалуй, естествен-

но, — ведь он так долго и так последовательно отворачивался от всего здешнего, тем самым давая простор и время для игры неожиданностей. Он дал им больше тридцати лет — тридцать три года, чтобы быть точным, — и они, как видно, повели свою игру в соответственном масштабе.

Брайдону было двадцать три года, когда он уехал из Нью-Йорка, теперь, стало быть, пятьдесят шесть лет — если только не считать прожитые годы так, как ему часто хотелось это сделать после возвращения на родину, — а тогда получалось, что он давно превысил все сроки, отпущенные человеку. Ибо понадобилась бы добрая сотня лет — как он часто говорил и себе, и Алисе Ставертон, — понадобилось бы еще более долгое отсутствие из родных мест и еще менее загруженное внимание, чтобы охватить все эти различия, все новизны и странности и, главное, все эти огромные перемены к лучшему или худшему, которые сейчас бросались ему в глаза, куда бы он ни посмотрел.

Но самым удивительным во всех этих событиях была полная их непредсказуемость; он-то думал, что долгим — из десятилетия в десятилетие — и всесторонним размышлением он достаточно подготовил себя к восприятию самых

резких перемен. А теперь он видел, что ни к чему не подготовлен, — он не встречал того, чего с уверенностью ожидал, и находил то, чего даже вообразить себе не мог. Соотношения и ценности — все перевернулось вверх ногами. То неприглядное и устарелое, чего он ожидал и что в дни его юности так оскорбляло его рано пробудившееся чувство красоты, теперь приобрело для него даже какое-то обаяние, тогда как все «хваленое», современное, грандиозное, прославленное, с чем он теперь в особенности хотел ознакомиться, как и тысячи ежегодно устремляющихся в Америку простодушных туристов, — именно это становилось для него источником тревоги. Как будто всюду вокруг были расставлены капканы с приманкой, которая, когда ее раскусишь, вызывала крайне неприятное чувство, и даже прямое отталкивание, меж тем как неустанные его шаги продолжали нажимать все новые и новые пружины. Как зрелище это было, конечно, интересно, но могло бы совсем сбить с толку, если бы некая высшая истина не спасала положения. Руководимый с самого начала ее более ровным светом, Брайдон, конечно, не ради одних этих «грандиозностей» сюда приехал, да и главным образом не ради них, но повинуясь побужденью, не

имевшему с ними ничего общего, — и, чтобы это установить, не требовался какой-то глубинный анализ, ответ лежал на поверхности. Если выражаться выспренно, он приехал, чтобы обозреть свои «владенья», к которым за последнюю треть столетия не приближался на расстояние меньше чем в четыре тысячи миль. Если же выражаться не столь скудоумно, он поддался соблазну еще раз повидать свой старый дом на углу, этот «веселый уголок», как он обычно и очень ласково его называл, — дом, где он впервые увидел свет, где жили и умерли многие члены его семьи, где он проводил праздники — эти отдушины в его слишком замкнутом школой детстве, где он собирал редкие цветы дружеского общения в дни его замороженной юности, — дом, который уже так давно стал для него чужим, а теперь, после смерти двух братьев и окончания всех прежних договоренностей, неожиданно целиком перешел в его руки. Ему принадлежал еще и другой дом, не столь, правда, солидный, так как издавна было принято в первую очередь расширять и украшать «веселый уголок», посвящая ему главные заботы. Стоимость этих двух домов и составляла сейчас главный капитал Брайдона, с доходом, который за последние годы слагался из арендной платы

и никогда не падал разорительно ниже (именно в силу превосходного первоначального качества обоих строений). Брайдон мог по-прежнему жить в Европе на то, что приносили ему эти два нью-йоркских арендных договора, жить, как он привык до сих пор и даже лучше, так как выяснилось, что второй дом (для Брайдона просто номер в длинной цепочке домов по улице), за последний год сильно обветшавший, можно на весьма выгодных условиях подвергнуть кардинальной перестройке, которая в будущем значительно повысит его доходность.

И тот дом, и другой были «недвижимая собственность», однако Брайдон заметил, что после своего приезда сюда он больше чем когда-либо делал между ними различие. Дом на улице — два высоко торчащие корпуса в западной ее части — уже перестраивали, перераспределяя его площадь на множество небольших квартир, — несколько времени тому назад Брайдон дал согласие на такое его превращение, в котором он сам, к немалому своему изумлению, оказался способен принять участие, и порой, несмотря на полное отсутствие предшествующего опыта, тут же на месте достаточно толково, а иногда даже авторитетно разобраться в каком-нибудь

практическом вопросе. Всю жизнь он прожил, повернувшись спиной к таким занятиям и обратив лицо к другим, совершенно иного порядка, и теперь он понять не мог, что это у него творится в том отсеке сознания, в который он раньше никогда не проникал, — откуда это внезапное оживление деловых способностей и строительного чутья. Эти достоинства, столь обычные у тех, кто его теперь окружал, в собственном его организме до сих нор дремали — можно даже сказать, спали сном праведников. А теперь при этой великолепной осенней погоде — такая осень поистине была благодеянием в столь непривлекательной обстановке — он бродил по стройке, упрямо преследуя что-то свое и втайне волнуясь; ничуть не смущаясь тем, что кое-кто называл всю эту его затею мелочной и вульгарной; готовый лазить по лестницам, ходить по переброшенным через пустоту доскам, копаться в стройматериалах, делая понимающее лицо; в общем, задавать вопросы, добиваться объяснений, стремясь действительно с толком разобраться в цифрах.

Все это забавляло, даже прямо как-то зачаровывало его и тем самым забавляло также и Алису Ставертон, хотя чаровало ее гораздо меньше. Но она ведь и не ждала, как он, что ее

материальное положение от этих затей улучшится, да еще в таких на удивление больших размерах. Брайдон знал, что ей и не нужно никакого лучшего положения, чем то, в котором она была сейчас, в предзакатные часы своей жизни, — скромный домик на Ирвинг-плейс, которым она давно владела и который ухитрилась с бережной заботой сохранить за собой во все времена своего почти непрерывного пребывания в Нью-Йорке. И если теперь Брайдон знал дорогу к этому домику лучше, чем любой другой адрес в Нью-Йорке среди всех этих чудовищно размноженных нумераций, от которых и весь город как бы превращался в страницу гроссбуха, разросшуюся, фантастическую, всю из прямых и перекрещивающихся под прямым углом линий и цифр, — если он усвоил ради собственного утешения привычку почти каждодневно проходить по этой дороге, то, пожалуй, больше всего потому, что встретил и распознал в дикой пустыне оптовости пробивающуюся сквозь грубую обобщенность богатства, силы и успеха маленькую тихую обитель, где и вещи, и тени (и те и другие одинаково легких очертаний) сохраняли отчетливость музыкальных нот, пропетых высоким, хорошо поставленным голосом, и где все было

проникнуто бережливостью, как ароматом сада. Его старая знакомая жила одна с единственной своей горничной, сама обмахивала пыль со своих реликвий, сама оправляла свои лампы и чистила свое столовое серебро. В страшной современной свалке она, если могла, отходила в сторону, но смело выступала вперед и пускалась в бой, если вызов был брошен «духу», тому самому духу, о котором она потом гордо и чуть застенчиво говорила Брайдону как о духе лучших времен, духе их общего, теперь уже далекого, допотопного социального периода и порядка. Когда было нужно, она пользовалась трамваем, этим кошмарным вместилищем, в которое толпа на улице рвалась с таким же остервенением, с каким на море люди с тонущего корабля в панике рвутся в лодки; когда бывала вынуждена, она с непроницаемым лицом стоически претерпевала все публичные столкновения и испытания; и тем не менее она со своей стройной фигурой и какой-то обманчивой грацией, не дававшей понять, кто это перед вами — то ли молодая и хорошенькая женщина, которая кажется старше из-за пережитых горестей, то ли более пожилая, но хорошо сохранившаяся благодаря счастливо усвоенному ею равнодушию ко всему; она с ее драгоценными упоминаниями о

людях и событиях давних дней, с ее рассказами о прошлом, в которые и он мог кое-что вставить, — со всем этим она казалась ему прелестной, как бледный, засушенный между листами книги редкостный цветок, и даже при отсутствии всяких других радостей она одна — так он чувствовал — уже была достаточной наградой за все его усилия. У них было общее знание — *их* знание (это маленькое притяжательное местоимение постоянно было у нее на языке), знание образов другого времени, на которые у него наслоились жизненный опыт мужчины, свобода бродяги, удовольствия, измены, куски жизни, странные и смутные для Алисы Ставертон, — одним словом, «Европа» в кавычках, — и которые, однако, сейчас опять встали из глубин, незатемненные, отчетливые и любимые, — при одном только беглом прикосновении этого «духа», с которым она никогда не разлучалась.

Как-то раз она пошла вместе с ним поглядеть, как растет его «доходный дом», и он водил ее по доскам над пустотой и объяснял ей свои планы, и случилось, что в ее присутствии у него вышел короткий, но горячий спор с производителем работ — представителем строительной фирмы, взявшейся за перестройку, — из-за невыпол-

нения им какого-то условия, оговоренного в контракте. И Брайдон так решительно встал на защиту своих интересов и так ясно доказал свою правоту, что мисс Ставертон кроме того что во время самой дискуссии очень мило покраснела, радуясь его победе, но и после сказала ему, правда, уже с несколько большей, чем всегда, дозой иронии, что он напрасно столько лет пренебрегал истинным своим талантом. Если бы только *он* не уезжал, он бы вовремя его обнаружил и мог бы опередить создателя небоскребов. Если б только он не уезжал, он, без сомнения, поднял бы с лежки какого-нибудь нового архитектурного зайца и в погоне за ним напал на золотую жилу. В ближайшие дни он часто вспоминал эти слова, их тихий серебряный звон, прозвучавший в лад с самыми странными и глубокими из его нынешних, надежно запрятанных и тщательно заглушенных внутренних колебаний.

Примерно через две недели оно начало появляться, возникло вдруг совершенно неожиданно, это странное и бессмысленное чудо; просто встретилось ему — в таком образе он воспринимал это явление, немало все же заинтересовавшее и взволновавшее его, — как могла бы встретиться какая-нибудь странная фигура, неизвестный ему

квартирант на повороте одного из полутемных коридоров в пустом доме. Причудливое это сравнение не шло у него из ума, а он еще заострил его подробностями — представил себе, как он распахивает дверь, за которой, он знал, никого нет, дверь в пустую и запертую комнату, и вдруг видит, подавляя внезапный испуг, что там на самой середине стоит кто-то, прямой и высокий, и пристально смотрит на него сквозь полумрак.

Посетив строящийся дом, Брайдон со своей спутницей пошли посмотреть также и другой, который всегда считался лучшим из двух и в восточном направлении по той же улице, столь обезображенной и осквернённой в западной ее части, образовал один из углов — действительно «веселый уголок» — с пересекающим ее более консервативным проспектом. Этот проспект, как сказала мисс Ставертон, не оставлял еще претензий на бонтонную внешность, но старые его обитатели большей частью умерли, старых фамилий уже никто не помнил, только кое-где, то тут, то там, проскальзывала иной раз какая-то смутная ассоциация, вроде того как ветхий старик, задержавшийся допоздна на улице, которого можно случайно встретить и за которым хочется по доброте сердечной присмотреть и последить,

пока он не будет снова водворен под надежный домашний кров.

Наши друзья пошли вместе; он открыл дверь своим ключом, так как, по его словам, предпочитал оставлять дом пустым, имея на то свои причины, и только сговорился с одной женщиной, живущей неподалеку, что она будет приходить на час каждый день — растворять окна, подметать и стирать пыль. У Спенсера Брайдона действительно были свои причины, и он все отчетливее их сознавал; каждый раз, когда он сюда приходил, они казались ему все убедительнее, хотя он и не назвал их сейчас своей спутнице, так же как и не стал ей говорить, как часто, как прямо до нелепости часто он приходил сюда. На этот раз он только показал ей, пока они проходили по просторным и голым комнатам, какая абсолютная пустота царит здесь везде, так что, кроме половой щетки миссис Мелдун, прислоненной в углу, нигде во всем доме, сверху донизу, не найдется ничего, способного привлечь грабителя. Миссис Мелдун как раз оказалась в доме — она многоречиво приветствовала посетителей, провожая их из комнаты в комнату, распахивала ставни, поднимала оконные рамы — все для того, как она пояснила, чтобы они сами увидели, как

мало тут есть чего видеть. Да и правда, собственно, нечего было видеть в этой огромной мрачной раковине дома, и, однако, самое расположение комнат и соразмерное тому распределение пространства, весь этот стиль, говоривший о другой эпохе, когда люди более щедро отмеряли себе место для жизни, — все это для хозяина было как бы голосом дома и мольбой о защите и, конечно, трогало его, как в устах старого слуги, всю жизнь ему посвятившего, просьба о рекомендации или даже о пенсии на старости лет. А тут еще замечание миссис Мелдун, сказавшей вдруг, что как она ни рада служить ему любой дневной работой, но есть просьба, с которой, она надеется, он никогда к ней не обратится. Если бы он захотел по какой-либо причине, чтобы она пришла сюда после наступления темноты, она бы ответила: нет уж, извините, об этом попросите кого-нибудь другого.

Тот факт, что здесь нечего было видеть, по мнению миссис Мелдун, вовсе не означал, что здесь так уж никогда и нельзя ничего увидеть, и она откровенно заявила мисс Ставертон, что недопустимо же требовать от порядочной женщины — ведь правда же, недопустимо? — чтобы она лазила по всем тем верхотуркам в недобрые часы

дня. Газ и электричество были в доме выключены, и миссис Мелдун нарисовала действительно устрашающую картину перспективных своих блужданий по большим серым комнатам — да ведь и сколько же их тут! — при свете мерцающего огарка. Мисс Ставертон встретила ее справедливые протесты улыбкой и заверением, что сама она тоже ни в коем случае не пошла бы на такую авантюру. Спенсер Брайдон сперва помалкивал: вопрос о «недобрых часах» в его старом доме успел стать очень серьезным для него. Он и сам недавно начал уже «лазить» тут кое-где и очень хорошо знал, для каких целей три недели тому назад спрятал пачку свечей поглубже в выдвижном ящике красивого старого буфета, издавна стоявшего в глубокой нише в столовой как неотъемлемая ее принадлежность. Теперь он только посмеялся над своими собеседницами, однако тут же переменил тему разговора; во-первых, потому, что его смех даже и сейчас, казалось, будил странное эхо, как бы сознательный человеческий отклик (он даже не знал, как точнее это определить), которым пустота и мрак отвечали на каждый произведенный им шум, когда он бывал в доме один, а во-вторых, потому, что ему показалось, что Алиса Ставертон вот-вот

спросит его, осененная каким-то прозрением, не случалось ли ему уже раньше бродить здесь в ночную нору. К некоторым прозрениям он еще не был готов и, во всяком случае, сейчас успешно предотвратил дальнейшие расспросы до тех пор, пока миссис Мелдун не покинула дом, проследовав куда-то далее по своим делам.

К счастью, в этом столь освященном воспоминаниями месте у Брайдона с мисс Ставертон нашлось много такого, о чем можно было свободно и откровенно поговорить, так что сразу был высказан целый ворох соображений, чему положила начало она сама, проговорившая, оглядевшись с тоской вокруг:

— Но надеюсь, вы не хотите сказать, что от вас ждут, чтобы вы и этот дом развалили на куски?

Он быстро ответил с вновь вспыхнувшим гневом: конечно, они именно этого и ждут и пристают к нему каждый день с назойливостью людей, решительно не способных понять, что человек должен иногда совершать и бескорыстные поступки. Этот дом, вот такой как он есть, пробуждает в нем интерес и радость — он даже не может выразить, до какой степени! Ведь есть же все-таки еще и другие ценности, кроме этой окаянной арендной платы, ну и, короче говоря,

короче говоря…

Тут его перебила мисс Ставертон.

— Короче говоря, — подхватила она, — вы так хорошо заработали на вашем небоскребе, что теперь, живя в роскоши на это неправедно добытое богатство, можете позволить себе иногда и проявить чувствительность. — В ее улыбке, обращенной к нему, и в словах была все та же особенная мягкая ирония, ощутимая в доброй половине всех ее высказываний и происходящая именно от богатства ее воображения, а не так, как у многих людей из «общества», которые тщатся завоевать репутацию остроумцев с помощью дешевых сарказмов, свидетельствующих лишь о полном отсутствии у них остроумия. Ему было приятно знать, что в эту самую минуту, когда он после короткого колебания ответил: «Да, вы правы; точно так это и можно выразить!» — ее воображение все-таки отдаст ему справедливость. Он объяснил, что, если бы даже он ни доллара не получил с того, другого дома, он все же любил бы этот, и рассказал — кстати, более подробно — пока они еще медлили в доме, бродя по комнатам, как здесь всех озадачивает его поведение, настолько, что кажется им какой-то нарочитой мистификацией.

Он говорил, как ценно для него оказалось то, что он вычитал здесь просто из вида стен, из формы комнат, из тех звуков, которыми пол отзывался на шаги, из ощущения в ладони отделанных серебром шаровидных ручек на дверях из красного дерева, — ведь точно так же совсем недавно их сжимали руки умерших; короче говоря, перед ним встали семьдесят лет жизни, представленные всеми этими вещами, летопись почти трех поколений, считая дедушку, который умер здесь, и, наконец, неосязаемый пепел его, Спенсера Брайдона, давно угасшей юности, еще парящий в этом самом воздухе, как микроскопические мошки. Она слушала молча, будучи из тех женщин, которые умеют дать иногда проникновенный ответ, но совершенно не способны болтать. Поэтому она не выпускала в воздух тучи слов; соглашаться, одобрять и в особенности поддерживать она умела и без этого. Только под конец она чуть забежала вперед, сказала капельку больше, чем он сам выговорил:

— Да и почем знать? В конце концов, может быть, вы сами захотите в нем пожить…

Это его разом одернуло, так как было, собственно, не то, что он думал, во всяком случае, не в том смысле, какой она вкладывала в эти слова.

— Вы считаете, я мог бы ради всего этого совсем остаться здесь?

— Ну, имея такой дом… — Но у нее хватило такта не докончить свою мысль, в этом как раз и сказалась ее неспособность просто болтать. Да и как мог бы кто-нибудь с каплей разума в голове требовать, чтобы кому-то другому вдруг ни с того ни с сего захотелось жить в Нью-Йорке?

— Да нет, отчего же, — сказал он, — я мог бы жить здесь (в юности была же у меня такая возможность), мог бы все эти годы провести здесь. Тогда все было бы иначе и, наверно, достаточно «забавно». Впрочем, это уже другое дело. А знаете, что самое забавное во всем этом — я хочу сказать, в моей извращенности, в моем отказе согласиться на выгодную сделку? Это то, что у меня для такой позиции нет никаких разумных оснований. Да, никаких резонов. Разве вы не видите, что, будь у меня в этом деле хоть какой-нибудь резон, он бы непременно толкал меня в противоположную сторону и неизбежно был бы нацелен на доллары? Здесь вообще не существует иных резонов, кроме доллара. Так пусть же у нас не будет совсем никаких резонов — даже призрака их.

Они к этому времени уже спустились в холл, готовые к уходу, но с того места, где они стояли,

через открытую дверь видно было далеко — в большой и квадратный главный зал с его почти античной прелестью широких простенков между окнами. Ее взгляд, устремленный туда, снова обратился к более близким предметам и на мгновение встретился с его взглядом.

— А вы уверены, что чей-то призрак не послужит скорее всего?..

Он прямо кожей почувствовал, что бледнеет. Но дальше у них на этот раз не пошло. Он ответил чем-то средним между свирепым взглядом и усмешкой.

— А, призраки! Их, конечно, в доме должно быть полным-полно! Я бы стыдился, если б было не так. Бедная миссис Мелдун права, поэтому я и не просил ее ни о чем больше, как только заходить.

Взгляд мисс Ставертон опять ускользнул, и было ясно, что мысли, которых она не произнесла, все же проходят в ее мозгу. Даже в ту минуту, когда она глядела вдаль, в ту прекрасную большую комнату, она, может быть, представляла себе, как там что-то густело и уплотнялось. Упрощенное, как посмертная маска, снятая с красивого лица, оно производило на мисс Ставертон странное впечатление — как если бы на этом гипсовом

слепке, в навеки неподвижных чертах, шевельнулось вдруг какое-то выражение. Но каковы бы ни были ее мысли, вместо всего этого она изрекла расплывчатую банальность:

— Еще если б он хоть был обставлен и в нем жили!.. — Казалось, она подразумевала, что, если бы дом был обставлен, Брайдон не так отрицательно отнесся бы к мысли о возвращении. Но, сказав, она тотчас быстро прошла в переднюю, как будто хотела оставить эти слова позади себя, а в следующую минуту Брайдон открыл парадную дверь, и вот они уже стояли вместе на ступеньках. Затем он запер дверь, и, пока он прятал ключ обратно в карман, поглядывая направо и налево по улице, у них было время приспособиться к натиску более жесткой реальности проспекта — это напомнило ему, как в пустыне солнце набрасывалось на путника в тот миг, когда он выходил из какой-нибудь египетской гробницы. Но прежде чем сойти с крыльца, он все же рискнул произнести свою уже заготовленную реплику на ее последние слова.

— Для меня в нем и сейчас живут. Для меня он и сейчас обставлен.

И ей легко было сочувственно и деликатно вздохнуть в ответ.

— Ах да! Конечно…

Ведь его родители и любимая сестра, не говоря уже о других многочисленных родственниках, прожили в этом доме свой земной срок и встретили свой конец, — это, разумеется, была неизгладимая жизнь в его стенах.

Именно через несколько дней после этого, во время очередной почти часовой беседы с мисс Ставертон, Брайдон и жаловался ей на слишком лестное любопытство окружающих относительно его мнения о Нью-Йорке. А он еще не составил себе никакого мнения, которое было бы прилично высказать; что же касается того, что он «думает» — доброе или недоброе — обо всем, что здесь видит, то сейчас у него есть только одна тема для размышлений. И это, конечно, чистейший эгоизм, а кроме того, если ей угодно, даже какая-то извращенная одержимость. Оказалось, что, с чего бы он ни начал, в конце концов непременно возвращался к вопросу, чем он сам лично мог бы здесь стать, какую бы вел жизнь и что бы из него вышло, если б он не бросил все в самом начале. И, признаваясь впервые в своей поглощенности этими нелепыми рассуждениями — что, конечно, тоже указывало на привычку слишком много думать о себе, — он тем самым подтверждал свою неспособность заинтересоваться чем-либо

другим, ответить на призыв какой-либо объективной реальности.

— Что она, эта здешняя жизнь, сделала бы из меня, что она сделала бы из меня? — твержу я все время по-идиотски. Как будто это можно знать! Я вижу, что она сделала с десятками людей, с которыми я встречаюсь, и что-то прямо болит у меня внутри, прямо нестерпимо меня мучит при мысли, что из меня тоже могли что-то сделать. Только я не знаю *что,* и тревога и маленькая ярость от любопытства, которое ничем нельзя утишить, опять приводят мне на память то, что я испытал раз или два, когда решал — по разным причинам — сжечь важное письмо нераспечатанным. Как я потом жалел, как ненавидел себя — да, и я так никогда и не узнал, что было в письме. Вы можете, конечно, сказать, что это мелочь…

— Я не считаю, что это мелочь, — очень серьезно перебила его мисс Ставертон.

Она сидела у камина, а он беспокойно шагал перед ней взад и вперед, деля внимание между рассказом об интенсивности своих переживаний и рассеянным разглядыванием сквозь монокль милых маленьких вещиц у нее на камине. Ее вмешательство заставило его на миг остановить на ней более пристальный взгляд.

— Не беда, если бы и считали! — Он все-таки рассмеялся. — Это же, в конце концов, только сравненье, чтобы пояснить, что я сейчас чувствую. Ведь если бы я не настоял тогда с юношеским упрямством на своем, по общему мнению, противоестественном выборе — и это, можно сказать, почти что под угрозой отцовского проклятия, — если бы я там, за океаном, не продолжал идти по своему пути изо дня в день без сомнений, без колебаний, а главное, если бы все это не было мне так по душе и я это так не любил и не гордился собой с таким бездонным юношеским самомнением, — так вот, представьте себе, если бы все это, что я сейчас описал, вовсе бы не осуществилось, а осуществилось что-то совсем другое, ведь должно же было оно как-то совсем иначе повлиять на мою жизнь и даже на мою личность. Мне надо было оставаться здесь, если возможно, а я был слишком молод и в двадцать три года не мог рассудить, pour deux sous[10], возможно ли это. Если бы я подождал, то, может быть, увидел бы, что возможно, и тогда, живя здесь, стал бы со временем более похож на этих молодцов, которых здешняя жизнь так крепко

---

[10] Примечания: 10
Хотя бы совсем попросту *(фр.)*.

ковала, что они стали весьма остры. Не то чтобы я так уж ими восхищался, нет, их привлекательность для меня или привлекательность для них чего-либо, кроме голой наживы, сейчас не идет к делу. Мне только важно понять, не упустил ли я со всем этим какого-то другого — фантастического, однако вполне возможного развития моей личности. Мне все чудится, что тогда где-то глубоко во мне таилось какое-то мое alter ego[11], как расцветший цветок таится в тугом бутоне, и что я избрал такой путь, перенес его в такой климат, который загубил его раз и навсегда.

— И вы все гадаете, каков он был бы, этот цветок, — сказала мисс Ставертон. — И я тоже, если хотите знать. Я верю в ваш цветок. Я чувствую, что он был бы великолепный, большой, грандиозный.

— Вот-вот, именно грандиозный, — откликнулся ее гость. — А заодно уродливый и отвратительный.

— Вы сами в это не верите, — возразила она. — Если б верили, не гадали бы о нем все время. Просто знали бы, и все. Нет, вы чувствуете другое — это что тогда у вас была бы сила. И я тоже это

---

[11] Примечания: 11
Второе «я» (*лат.).*

чувствую.

— Я бы нравился вам такой?

Она чуть помедлила с ответом.

— Как вы могли бы мне не нравиться?

— Понимаю. Я нравился бы вам такой. Вы предпочли бы меня в обличье миллиардера.

Она просто повторила свой первый ответ:

— Как вы могли бы мне не нравиться?

Он все еще стоял перед ней — эти слова как будто удерживали его на месте. Он понял их, понял все, что было в них заключено, — это подтверждалось уже тем, что он никак иначе на них не реагировал.

— По крайней мере, я теперь понял, что я собой представляю, — продолжал он так же просто, — обратная сторона медали достаточно ясна. Примером я ни для кого служить не мог; боюсь, что во многих кругах мне и в звании порядочного человека готовы отказать. Я бродил по странным тропам и поклонялся странным богам, и вы, наверно, часто думали, да ведь вы мне в этом сами признались, что все эти тридцать лет я вел эгоистическую, легкомысленную, недостойную жизнь. И вот видите, что она из меня сделала.

Она помедлила, улыбнулась ему.

— А вы видите, что она сделала из меня.

— О, вы из тех людей, которых ничто не может изменить. Вы родились, чтобы стать тем, что вы есть, — в любом месте, при любых условиях; вы — то совершенство, которого ничто не может запятнать. И разве вы не понимаете, что, не будь моего изгнания, я не ждал бы так долго?.. — Он запнулся от какого-то внутреннего укола в сердце.

— По-моему, главное, что надо понять, — проговорила она после паузы, — это то, что все это ничему не помешало. Это не помешало вам в конце концов оказаться здесь. Это не помешало всему, что сейчас происходит. Это не помешало вам сказать… — Тут и она запнулась.

Но ему хотелось разобраться во всем, что могло таиться в ее сдержанном волненье.

— Может быть, вы считаете — это ужасно! — что я уж лучше и быть не могу, чем был до сих пор?

— Нет-нет! Совсем вы не такой. — Она встала со стула и подошла поближе. — Но мне все равно! — Она улыбнулась.

— То есть, по-вашему, я не так уж дурен?

Она подумала.

— Если я это скажу, вы мне поверите? То есть будет ли это для вас решением того вопроса, который вас так мучит? — Но, как бы прочитав в его лице, что он с чем-то не согласен, что у него, види-

мо, есть какая-то идея, может быть абсурдная, но от которой он сейчас не склонен отказаться, она закончила: — Ах, вам тоже все равно, но совсем по-иному — вам все равно, потому что вас ничто не интересует, кроме вашей собственной особы.

С этим Спенсер Брайдон согласился — да это же и было то, что он постоянно твердил. Но он внес существенную поправку:

— Только *он* — это не я. Он до такой степени другой человек. Но я хочу его увидеть. И я могу. И увижу.

Их глаза встретились на минуту, и что-то в ее взгляде подсказало ему, что она разгадала странный смысл его слов. Но ни он, ни она больше никак этого не выразили, и ее очевидное понимание — без возмущенного протеста, без дешевой иронии — тронуло его глубже, чем что-либо другое до сих пор, так как тут же на месте создавало для его придушенной извращенности что-то вроде воздуха, которым уже можно было дышать. Однако вслед за этим она сказала такое, чего он уж никак не ожидал:

— Ну да, я же его видела.

— Вы?..

— Я видела его во сне.

— Ах во сне!.. — Это как-то принижало все, что

он говорил раньше.

— Но два раза подряд, — продолжала она. — Я видела его, как сейчас вижу вас.

— Вам снился тот же самый сон?..

— Дважды, — повторила она. — Ну в точности тот же самый.

Это уже больше ему понравилось, потому что отчасти ему льстило.

— Вы так часто видите меня во сне?

— Да не вас — *его!* — Она улыбнулась.

Он опять обратил на нее испытующий взгляд.

— Так вы должны все о нем знать. — И, видя, что она не отвечает, добавил: — Ну и на что же он похож, этот негодяй?

Она колебалась, но он так сильно напирал на нее, что она, не желая уступать по каким-то своим собственным причинам, вынуждена была в конце концов прибегнуть к уловке.

— Я вам скажу как-нибудь в другой раз, — проговорила она.

2

Именно с этих пор он начал обретать для себя источник силы и тонкого наслаждения и даже каких-то, казалось бы, несоразмерных со здравым смыслом, тайных и потрясающих волнений в той

особой форме подчинения своей одержимости, которая у него к этому времени сложилась; и, соответственно, он, чем дальше, тем чаще, стал прибегать к этой своей способности, считая ее теперь огромным преимуществом.

В эти последние недели он, собственно, только ради того и жил, ибо настоящая жизнь в его восприятии начиналась лишь после того, как миссис Мелдун удалялась со сцены и он, обойдя весь просторный дом от чердака до подвала и убедившись, что он здесь один, чувствовал себя наконец полным хозяином; и тогда, по собственному его молчаливому определению, он отпускал поводья. Ему случалось иногда приходить и два раза в день. Из всех дневных часов он предпочитал тот, когда по углам уже копится темнота — короткие осенние сумерки; это было то время, на которое он больше всего — опять и опять — возлагал надежды. Тогда он мог, как ему казалось, более дружественно бродить и ждать, медлить и слушать, чувствовать свое сторожкое внимание — никогда еще оно не было таким сторожким! — на пульсе огромного, уже темнеющего дома; он любил этот час, когда еще не зажигают ламп, и жалел только, что ему не дана власть сколько-нибудь продлить эти тускло-сумеречные минуты.

Позже, обычно ближе к двенадцати, он приходил опять, но на этот раз для довольно долгого бдения. Он совершал обход со своим мерцающим светильником, шел медленно, держал его высоко, чтобы свет падал как можно дальше, и больше всего радовался, когда открывалась какая-нибудь далекая перспектива — анфилада комнат или переходы и коридоры, — длинная прямая дорожка, удобный случай показать себя для тех, кого он как будто приглашал явиться. Оказалось, что он мог свободно предаваться этим занятиям, не вызывая ничьего любопытства; никто о них даже не догадывался. Даже Алиса Ставертон, которая к тому же была идеалом такта, полностью их себе не представляла.

Он входил и выходил со спокойной уверенностью хозяина, и случайность до сих пор ему благоприятствовала, так как если толстый постовой с Проспекта и видел иной раз, как он приходил в половине двенадцатого, то, во всяком случае, насколько Брайдону было известно, никогда еще не видел, как он уходил в два часа ночи. В ноябрьской ночной прохладе он совершал свой путь пешком и регулярно появлялся здесь к концу вечера, и это ему так же нетрудно было осуществить, как после обеда в гостях или в

ресторане пойти в свой клуб или в гостиницу, где он остановился. А если он обедал в клубе и уходил попозже вечером, то всякому было ясно, что он идет к себе в гостиницу; если же он выходил, проведя большую часть вечера у себя в гостинице, то, совершенно очевидно, только для того, чтобы пойти в свой клуб. Одним словом, все было легко — все было в заговоре с ним, все помогало и способствовало; даже в напряженности его ночных бдений было, видимо, что-то такое, что смазывало, сглаживало, упрощало всю остальную жизнь его сознания. Он встречался с людьми, разговаривал, возобновлял, любезно и непринужденно, старые знакомства, даже старался, насколько мог, оправдать новые ожидания и, в общем, как будто приходил к выводу, что — независимо от его карьеры и всех этих разнообразных связей, о которых он говорил мисс Ставертон, что они нимало ему не помогают, — тем своим новым знакомцам, что наблюдали за ним, возможно, поучения ради, он, во всяком случае, скорее нравился, чем наоборот. Он положительно имел успех в свете — неяркий и второстепенный — и преимущественно у людей, которые о нем прежде и понятия не имели. Все это были поверхностные звуки — этот гомон приветствий, эти хлопки их

пробок, так же как его ответные жесты, были всего лишь причудливые тени, тем более выразительные, чем меньше значимые, — в игре des ombres chinoises[12]. В мыслях он весь день то и дело перемахивал через этот частокол деревянных тупых голов в ту другую, реальную жизнь, жизнь ожиданья, которая, чуть только щелкал за ним замок парадной двери, начиналась для него в «веселом уголке» столь же обольстительно, как медленные вступительные такты какой-то дивной музыки начинают звучать тотчас же после удара о пюпитр дирижерской палочки.

Он всегда ловил первый звук, встречавший его в доме, — цоканье металлического наконечника его трости о старый мраморный пол в холле — эти огромные черно-белые квадраты, которые, он помнил, так восхищали его в детстве и так помогли тогда, теперь он это понимал, раннему развитию у него чувства стиля. В этом цоканье ему мерещился тусклый отзвук какого-то иного звона, дальний голос колокольца, подвешенного — кто скажет где? в глубине дома, в глубинах прошлого, в том мистическом другом мире, который мог бы расцвести и для него, если бы он — к добру

[12] Примечания: 12
Китайских теней *(фр.).*

или к худу — сам его не покинул. И тут он делал всегда одно и то же: бесшумно отставлял трость в угол и весь отдавался ощущению дома как огромной хрустальной чаши — огромного вогнутого кристалла, который полнится тихим гулом, если провести мокрым пальцем по его краю. В этом вогнутом кристалле был, так сказать, заключен весь тот мистический другой мир, и для настороженного слуха Брайдона тончайший гул его краев — это был вздох, пришедший оттуда, едва слышный горестный плач отринутых, несбывшихся возможностей. И теперь он своим безмолвным присутствием обращал к ним призыв, пытаясь пробудить их к жизни, к той степени призрачной жизни, какая еще могла быть им доступна.

Они были робкие, может быть неизбывно робкие, но, в сущности, совсем не страшные — во всяком случае, он до сих пор такими их не чувствовал, — пока они еще не принимали форму — ту форму, которую он так жаждал, чтобы они приняли, и которую он в какие-то мгновенья как будто уже и сам видел, когда гнался за ними на цыпочках — на носках своих элегантных вечерних туфель — из комнаты в комнату и с одного этажа на другой.

Такова была сущность его видений — все,

конечно, чистейший бред, — с чем он и сам бы согласился, если бы находился где-нибудь в другом месте и был чем-нибудь занят. Но все становилось правдоподобным, как только он оказывался в доме и на посту. Он знал, что он обо всем этом думает и чего добивается, — это было ясно, как цифра на чеке, представленном к оплате. Суть его мыслей сводилась к убеждению, что его второе «я» «является» здесь в доме как заправский призрак, а суть всех его собственных, Спенсера Брайдона, странных поступков — к стремлению выследить это второе «я» и с ним встретиться. Он бродил по всему дому, по всем уголкам, медленно, осторожно, но неустанно, — да, он все это делал, и миссис Мелдун была совершенно права, найдя для характеристики подобных действий столь удачный глагол — «лазить». И тот, кого он выслеживал, будет тоже бродить, так же неустанно. Но он будет очень, очень осторожен и не менее того увертлив. Уверенность в его очевидном, собственно, уже вполне ощутимом, уже слышном для уха бегстве от преследования все больше укреплялась в сознании Брайдона, пока наконец не приобрела над ним власть, с которой ничто до тех пор им пережитое не могло сравниться. Брайдон знал — многие из тех, кто

обо всем судит поверхностно, считали, что он зря тратит жизнь, предаваясь ощущениям. Но он никогда не испытывал удовольствия столь острого, как эта его нынешняя напряженность, не занимался спортом, который требовал бы одновременно столько терпенья и столько смелости, как это скрадывание существа более тонкого, но когда его затравят, то, может быть, даже более опасного, чем любой лесной зверь. Термины, сравнения, даже простые охотничьи повадки теперь все чаще приходили ему на ум; были даже минуты, когда какой-нибудь случай из его небогатого охотничьего опыта вдруг будил еще более давние воспоминания — о юных его годах, о болотах, горах, пустыне, что тоже еще усиливало остроту нынешних его чувств, — воспоминания почти уже забытые, а теперь вновь оживленные для него мощной силой аналогии. В какие-то мгновенья он ловил себя на том, что, поставив свой одинокий светоч где-нибудь на камине или в нише, сам спешил отступить в тень или какое-либо укрытие, прячась за дверью или в проеме окна — точь-в-точь так же, как в те давние годы старался занять выгодную позицию под защитой скалы или за деревом, — и точно так же стоял там, затаив дыханье, весь отдаваясь ликованью

этой минуты, тому высочайшему напряженью, какое познаешь только во время охоты на крупную дичь.

Страха он не испытывал (хотя все же задумывался над этим, памятуя, что, как говорит молва, многие джентльмены, по собственному их признанию, во время охоты на бенгальских тигров или при близком соприкосновении с большим медведем Скалистых гор тоже задавали себе этот вопрос); его самого освобождало от страха одно обстоятельство, — тут по крайней мере можно быть откровенным! — именно сложившееся у него впечатление, такое непосредственное и такое странное, что пока что он сам внушал кое-кому страх, во всяком случае, опасения куда более сильные, чем все, что он, Брайдон, мог бы в этом смысле испытать в будущем. Они уже распадались для него на категории, уже стали совсем привычными, эти знаки, по которым он определял степень тревоги, вызванной его бдительностью и его присутствием, хотя и позволяли ему каждый раз с важностью отметить, что он, по-видимому, установил такую связь, овладел такой формой сознания, какой до сих пор еще не знало человечество. Сколько было людей, которые спокон веков и до наших дней боялись

привидений, но кому удавалось так поменяться ролями и самому стать пугалом в привиденческом мире? Он бы, пожалуй, возгордился, если бы решился поглубже в это вдуматься, но, по правде сказать, он не слишком настаивал на этой теоретической стороне своего открытия. Привычка и повторение помогли ему в высокой степени овладеть способностью проницать сумрак расстояний и темноту углов, сводить обратно к исходной их невинности все предательские обманы неверного света, все зловещего вида формы, которые в полумраке порождаются обыкновенными тенями, колебаниями воздуха, изменчивым влиянием перспективы; так что, поставив где-либо свой одинокий светоч, он уже мог продолжать путь и без него, переходить в другие комнаты, и, подкрепленный лишь сознанием, что там сзади есть свет на случай, если он понадобится, Брайдон и в самом деле видел, как будто он и правда зримо отбрасывал перед собой сравнительно более светлую полосу. С этой новой своей способностью он чувствовал себя как огромная крадущаяся кошка и думал иногда, уж не светятся ли в эту минуту у него огромные круглые желтые глаза и каково его злополучному второму «я» встретиться вдруг с этакой тварью.

Однако он любил открытые ставни; всюду открывал те, что закрыла миссис Мелдун, а потом столь же аккуратно закрывал их, чтобы она не заметила; он любил — о, вот это он действительно любил, и больше всего в верхних комнатах! — ощущение твердого серебра осенних звезд сквозь оконные стекла; и пожалуй, не меньше радовали его огни фонарей внизу, разлитое белое электрическое сияние, настолько яркое, что понадобились бы плотные занавески, чтобы не допустить его в комнаты. Это уже было нечто человеческое, реальное, общее у него с другими людьми; это принадлежало тому миру, в котором он жил до сих пор. И конечно, его как-то успокаивала та моральная поддержка, холодно-общая и безличная, которую он, как казалось ему, находил в этом стойком и ровном свете, несмотря на все свое отчуждение. Эту поддержку он яснее всего чувствовал в комнатах, расположенных по широкому фасаду дома и вдоль его удлиненных боковых стен, гораздо слабее — среди внутренних теней и в задней его части. И если иногда во время своих обходов он радовался вдруг открывшемуся простору для глаза, то не менее часто помещения в тылу дома манили его к себе, как те самые джунгли, в которых укрывалась намеченная его

жертва. Здесь подразделения были гораздо мельче; в частности, большая пристройка, вмещавшая в себе множество маленьких комнат для слуг, изобиловала сверх того углами и закоулками, чуланами и переходами, особенно в разветвлениях пространной задней лестницы, над которой Брайдон нередко склонялся, опершись о перила и заглядывая куда-то глубоко вниз, не утрачивая серьезности даже в те минуты, когда — как он догадывался — для стороннего наблюдателя он, пожалуй, больше всего походил на великовозрастного простачка, играющего с кем-то в прятки. Где-нибудь в другом месте он, возможно, и сам бы сделал такое ироническое rapprochement[13], но тут, в этих стенах, и невзирая на освещенные окна, его верность своей задаче была неуязвима даже для цинического света Нью-Йорка.

Именно эта идея Брайдона о раздраженности сознанья его жертвы стала для него пробным камнем — ведь с самого начала он убедил себя — о, так твердо! — что он может еще больше развить, так сказать, «воспитать» свою восприимчивость. Он даже самым важным ее свойством считал эту способность поддаваться «воспитанию» — что,

---

[13] Примечания: 13
Сближение *(фр.)*.

в сущности, было лишь другим названием для его тогдашнего способа проводить время. И он всячески будил ее, доводил до совершенства упражненьем, и в результате она стала столь тонкой, что теперь он уже улавливал впечатления, подтверждавшие его общий постулат, но которые раньше до него не доходили. Это в особенности касалось одного чувства, которое за последнее время нередко посещало его в верхних комнатах; то была уверенность, совершенно безошибочная и возникшая в определенный момент, именно когда Брайдон возобновил свою кампанию после некоего дипломатического перерыва в виде трех ночей нарочитого отсутствия дома, — уверенность, что за ним идут по пятам, что его выслеживают с определенного, тщательно продуманного расстояния и со специальной целью — чтобы он не воображал столь заносчиво и самонадеянно, будто только он один может здесь кого-то преследовать. Это встревожило его, под конец даже совсем расстроило, так как из всех мыслимых впечатлений это было для него наименее желательным. Его держали на глазах, тогда как сам он, по крайней мере в отношении того, что составляло суть его здешней задачи, был все равно что слеп, и единственное, к чему он мог

сейчас прибегнуть, — это внезапный поворот и быстрый ход назад на сближение. Он так и поступал: мгновенно поворачивался и делал несколько стремительных шагов обратно, как будто надеясь хоть ощутить на лице дуновение воздуха от чьего-то другого столь же быстрого поворота. По правде сказать, его порой отрывавшаяся от местных обстоятельств мысль по поводу этих маневров приводила ему на память Панталоне в рождественском фарсе, когда его бьет по спине и еще всячески потешается над ним вездесущий Арлекин; но влияние самих этих обстоятельств, всякий раз как Брайдон ему подвергался, оставалось неизменным, так что и эта ассоциация, если бы он позволил ей стать постоянной, возможно, с какой-то стороны только способствовала бы укреплению его серьезности. Я уже сказал, что он, для того чтобы создать в доме обманчивое ощущение передышки, отсутствовал три ночи подряд; и результат этого третьего отсутствия только подтвердил то, что уже назревало после второго.

По своем возвращении в ту ночь — следующую за последним перерывом — он стоял в холле и смотрел вверх по лестнице с такой инстинктивной уверенностью, какой до сих пор еще не

испытывал. «Он *там*, наверху, ждет, — не так, как бывало, готовый отступить и исчезнуть. Нет, сейчас он не хочет сдавать свои позиции — и это в первый раз, а ведь это и доказывает — не правда ли? — что с ним что-то случилось, — так Брайдон рассуждал, стоя там с рукой на перилах и ногой на самой нижней ступеньке, в каковой позиции он чувствовал, как никогда раньше, что даже самый воздух охлажден его неотразимой логикой. Да его и самого пробрал холодок, когда он вдруг представил себе, какие все это должно повлечь за собой последствия. — Что, туго ему приходится? Да, теперь он разобрался в положении, уразумел, что я пришел сюда, как говорится, «насовсем». И ему это окончательно не нравится, он не может это вынести, то есть, я хочу сказать, в том смысле, что его гнев, угроза его интересам сейчас начинает перевешивать его страх. Я охотился за ним, пока он не «восстал»; и теперь там, наверху, меня ждет то, что произошло, — он сейчас как вооруженный клыками или рогами и наконец загнанный на охоте зверь». В ту минуту Брайдоном владела уже помянутая мною — но обусловленная неизвестными мне влияниями! — точная уверенность во всем описанном как в непреложном факте; однако, хотя в следующий

момент она и заставила его облиться потом, он не соглашался ни приписать это страху, ни перейти немедля к решительным действиям. И все же его пронизал в ту минуту какой-то необычайный трепет, в котором был, конечно, и внезапный испуг, и вместе с тем, в одном и том же ударе сердца, самое странное, ликующее, а в следующий миг, может быть, даже горделивое ощущение удвоенности своего сознания.

Он увертывался, отступал, прятался, но теперь, доведенный до гнева, он будет биться! В этом чувстве слились, как в одном глотке, и страх, и восхищение. Но чудеснее всего то, что это восхищение было таким живым, так радовало самого Брайдона, потому что ведь если там, наверху, загнанный в нору и готовый к бою, ждет не кто иной, как его второе «я», то, значит, это непостижимое создание не оказалось в конечном счете недостойным его. Вот он восстал там — где-то очень близко, хотя еще невидимый, как и должно в конце концов восстать любое преследуемое существо, даже тот червяк из ходячей поговорки, когда на него наступят; и Брайдон в ту минуту, вероятно, испытал такое сложное чувство, какое едва ли когда совмещалось со здравым рассудком. С одной стороны, ему было бы стыдно, если

бы действующее лицо, так интимно связанное с ним, одержало верх только путем уверток и до конца не решилось бы пойти в открытую; так что та капля опасности, которая сейчас возникла, как-то возвышала всю ситуацию. И вместе с тем каким-то иным поворотом той же тонкой восприимчивости он уже взвешивал, насколько теперь повысилась для него вероятность самому поддаться страху; таким образом, радуясь тому, что он мог в другой своей форме активно внушить страх, он одновременно трепетал за ту свою форму, в которой ему, возможно, пришлось бы пассивно испытывать страх.

Эти опасения немного погодя, вероятно, разрослись в нем, ибо самым странным моментом в его приключениях, самым памятным и интересным в последующем кризисе были, безусловно, те несколько мгновений сосредоточенного и сознательного combat[14], когда он почувствовал вдруг необходимость за что-то держаться, почти как человек, который скользит и скользит вниз по какому-то гибельному склону, — острое побуждение двигаться, действовать, нападать как-нибудь и на что-нибудь — одним словом, показать себе

---

[14] Примечания: 14
Сражения *(фр.).*

самому, что он не боится. В этом состоянии ему ничего и не оставалось, как только «держаться»; если бы в огромной пустоте, окружавшей его, нашлось за что ухватиться, он, вероятно, ощутил бы, что стискивает что-то изо всех сил, точно так же как дома человек при внезапном испуге машинально стискивает спинку ближайшего стула. Во всяком случае, он сделал странную вещь, неожиданно для самого себя и в первый раз с тех пор, как стал осваивать этот дом, — и это свое действие он ясно ощутил и запомнил, — он вдруг закрыл глаза, крепко зажмурился на целую долгую минуту, как бы повинуясь все тому же предчувствию опасности и страху что-то увидеть. Когда он их открыл, ему показалось, что в комнате и в прилежащих других комнатах стало светлее — настолько светлее, что он в первое мгновенье даже подумал, не начался ли уже рассвет. Но что бы это ни было, он твердо стоял на том самом месте, где остановился; сопротивленье помогло, у него теперь было чувство, что он что-то преодолел и оно миновало; немного погодя он понял, что это такое было: ему угрожала прямая опасность обратиться в бегство. Он напряг всю свою волю, чтобы не двинуться; без этого он устремился бы к лестнице и, как сейчас

ему казалось, даже с закрытыми по-прежнему глазами сумел бы сбежать по ступенькам прямо и быстро до самого низу.

Ладно, он выдержал, вот он здесь, все еще наверху, в самом запутанном лабиринте верхних комнат, и придется еще продираться сквозь остальные, сквозь весь остальной дом, когда придет время уходить. Он уйдет в свое время, только в свое время, разве он не уходил каждую ночь примерно в один и тот же час? Он вынул часы — посмотреть, для этого было достаточно светло, — всего четверть второго, он никогда не уходил так рано. К себе в отель он добирался примерно в два, а ходьбы туда четверть часа. Вот он и дождется последней четверти, а до этого не тронется с места. И он держал часы перед глазами, размышляя о том, что это ожиданье, которое, надо признаться, стоит ему усилий, как раз и послужит желательным ему доказательством. Оно докажет его мужество, хотя бог весть, не понадобится ли еще большее мужество для того, чтобы наконец тронуться с места? Главное, что он сейчас чувствовал, — это что если уж он вначале не улепетнул, то теперь должен соблюдать свое достоинство, — никогда еще за всю свою жизнь он не воспринимал так осязаемо это достоинство,

которое нужно постоянно хранить и нести, как знамя. Оно представлялось ему почти в материальном образе, присущем более романтической эпохе. Эта мысль только блеснула в его уме и тотчас осветилась более трезвым светом: да какая же романтическая эпоха могла бы предложить ему что-нибудь более сложное, чем его нынешнее состояние духа, или, если судить, как говорится, объективно, что-нибудь более удивительное, чем его теперешнее положение? Единственная разница могла быть в том, что в те героические времена он, потрясая над головой своим достоинством, как пергаментным свитком, проследовал бы на лестницу с обнаженной шпагой в другой руке.

А сейчас тот светильник, что он поставил на камине в соседней комнате, будет изображать у него шпагу, для овладения каковой принадлежностью он и сделал в ближайшую минуту требуемое число шагов. Дверь между комнатами была открыта, а из второй комнаты еще дверь открывалась в третью. Все эти три комнаты, как он хорошо помнил, кроме того, имели каждая отдельный выход в общий коридор, но за ними тремя находилась еще четвертая, без такого выхода; это был тупичок с единственной дверью из третьей комнаты, через которую только и мож-

но было в него проникнуть. Двинуться, вновь услышать звук своих шагов — и то уже было существенной поддержкой, хотя Брайдон, даже признавая это, все же опять немного помедлил возле каминной доски, на которой горела его свечка. Когда же он опять двинулся, еще нерешительно, не зная, куда повернуть, он внезапно столкнулся с одним обстоятельством, которое после кое-каких первоначальных и довольно вялых предчувствий теперь вдруг подействовало на него как удар в сердце, как это бывает иногда при нежданно вспыхнувшем воспоминании, когда на миг становится ясно, что дальше уже нельзя счастливо забывать. Перед ним была дверь, которой заканчивалась эта коротенькая четырехкомнатная анфилада и которую он теперь наблюдал с ближайшего порога, не находившегося с ней на прямой линии. Этой дверью, отнесенной немного влево, Брайдон, стоило ему только ее открыть, мог бы проникнуть в последнюю комнату из четырех, ту самую комнату безо всякого другого входа и выхода; да, конечно, мог бы, если бы только, по глубочайшему его убеждению, она, эта дверь, не была закрыта уже *после* последнего его посещения, примерно с четверть часа назад. Он смотрел во все глаза на это чудо,

опять застыв на месте и опять затаив дыханье, мысленно проверяя, что это может значить. Да, это точно, дверь была закрыта *после*, потому что во время первого его обхода она, вне всяких сомнений, была открыта!

Он был полностью убежден, что что-то случилось между этими двумя моментами, потому что, случись это раньше (то есть до его первого обхода всех комнат в этот вечер), он не мог бы не заметить, что на его пути совсем необычно возникла эта преграда. А вот уже после первого обхода он пережил такие исключительные волнения, которые вполне могли смазать в его памяти то, что им непосредственно предшествовало; и он попытался уверить себя, что он, может быть, заходил в эту комнату, а выходя, нечаянно, машинально потянул дверь за собой. Беда только в том, что это было именно то, чего он никогда не делал; это было бы, можно сказать, против всей его системы, сутью которой было сохранить свободными все далекие перспективы, какие имелись в доме. Брайдону с самого начала мерещилась одна и та же картина (он сам это прекрасно сознавал): в дальнем конце одной из этих длинных прямых дорожек странное появление его сбитой с толку жертвы (какая ирония заключалась теперь в этом уже столь

мало подходящем определении) — вот та форма успеха, которую облюбовало его воображение, каждый раз внося в нее, кроме того, какие-нибудь изящные подробности. Сто раз он испытывал волнение победы, которое затем сникало; сто раз он мысленно восклицал: «Вот он!» — поддаваясь какой-то мимолетной галлюцинации. Самый дом весьма благоприятствовал именно таким представлениям; Брайдон мог только дивиться вкусу и архитектурной моде того давнего времени, столь пристрастной к умножению дверей и в этом прямо противоположной теперешней тенденции чуть ли не вовсе их упразднить; во всяком случае, такая архитектурная его особенность в какой-то мере, возможно, даже и породила это наваждение — уверенность, что он вот-вот увидит то, что искал, как в подзорную трубу, где его можно будет сфокусировать и изучать в этой уменьшающей перспективе с полным удобством и даже с опорой для локтя.

Такими мыслями было загружено тогда его внимание, и этого вполне хватало, чтобы придать недоброе значение тому, что он видел. Раз он не мог, ни по какой своей оплошности, сам закрыть эту дверь, раз он этого не сделал, и это было немыслимо, что же оставалось думать, как

не то, что тут участвовал еще другой фактор. Минуту назад Брайдон, как ему казалось, почти уловил на своем лице его дыханье, — но когда же он был, этот фактор, так близок ему, так реален, как сейчас, в этом простом, логическом, вполне человеческом действии? То есть оно было так логично, что казалось вполне человеческим, а вот каким оно представлялось сейчас Брайдону, когда он, слегка задыхаясь, чувствовал, что глаза у него чуть не выходят из орбит? Ах, на этот раз они наконец обе здесь, эти две противоположные его проекции, и на этот раз, острее, чем когда-либо, вставал вопрос об опасности. И с ним — тоже острее, чем когда-либо, — вопрос о мужестве. Плоское лицо двери как будто говорило ему: «Ну-ка, покажи, сколько его у тебя есть!» Оно пялилось на него, таращилось, бросало вызов, торопило избрать одно из двух — или он распахнет сейчас эту дверь, или нет. Ах, переживать все это — значило *думать*, а думать, как хорошо понимал Брайдон, стоя здесь, пока секунды скользят мимо, — значит не действовать, значит, что он уже не действовал до сих пор и, главное, в чем была наигоршая боль и обида, что он и не будет действовать, что придется все это воспринять совсем иначе, в каком-то новом и грозном свете.

Долго ли он вот так медлил, долго ли рассуждал? Не было средств это измерить, так как его собственный внутренний ритм уже изменился, может быть, вследствие именно своей напряженности. И сейчас, когда *тот* был уже заперт там, затравленный, хотя и непокоренный, когда чудесным образом все уже было явно и ощутимо доказано, когда об этом уже возвещалось словно кричащей вывеской, — именно теперь эта перестановка ударения в корне меняла всю ситуацию, и Брайдон под конец отчетливо понял, в чем состояла эта перемена.

Она состояла в том, что он теперь как бы получил иное указание, как бы намек свыше на ценность для него Благоразумия! Оно, конечно, давно уже назревало, это откровение; что ж, оно могло не торопиться, могло точно выбрать время — тот самый миг, когда Брайдон еще колебался на пороге, еще не сделал шага ни вперед, ни назад. И вот с ним происходило самое странное на свете: сейчас, когда сделай он только десяток шагов и нажми рукой на щеколду или, если надо, просто плечом или коленом на филенку двери, и весь его первоначальный голод был бы утолен, все его великое любопытство удовлетворено, вся тревога успокоена — да, это было поразительно, — но

было также и нечто утонченное и благородное в том, что вся его яростная настойчивость вдруг развеялась от одного прикосновения. Благоразумие — да, он ухватился за это, но не столько потому, что это сберегало его нервы или даже, может быть, жизнь, как по более важной причине — это спасало ситуацию. Когда я здесь говорю «ухватился», я чувствую созвучие этого выражения с тем фактом, что Брайдон сейчас опять, как и несколько времени назад, обрел опору как бы в чем-то вне его лежащем, и немного погодя он уже смог, как и в тот раз, опять двинуться и пересек комнату прямо к закрытой двери. Он не дотронулся до нее, хотя теперь ему казалось, что он мог бы, если б захотел; но он хотел только подождать там немного, чтобы дать понять, чтобы доказать, что он не хочет ее трогать. Теперь он занимал отличную от всех прежних позицию — вплотную к тонкой перегородке, которая одна только и препятствовала раскрытию тайны, но стоял он опустив глаза и разведя руки, весь застывший в нарочитой неподвижности. Он слушал так, как если бы там было что услышать, но эта поза, пока он ее сохранял, сама по себе уже была его ясным ответом: «Раз ты не хочешь, хорошо; я пощажу тебя, я уступлю. Ты тронул меня как мольбой о

пощаде; ты убедил меня, что по каким-то высшим и непоколебимым причинам — что я о них знаю? — мы оба пострадали бы. Но я отнесусь к ним с уважением, и, хотя мне выпало такое преимущество, какое, я думаю, никогда еще не было доступно человеку, я ухожу и больше никогда, честью в том клянусь, не буду снова пробовать. Так что покойся в мире и дай покой и мне!»

Таков был для Брайдона внутренний смысл этой последней его демонстрации — торжественной, размеренной и целенаправленной, какой он и хотел ее сделать. Он мысленно закончил свою речь и отвернулся — и только теперь почувствовал, как глубоко он был взволнован. Он прошел обратно в соседнюю комнату, взял свою свечу, которая, как он заметил, догорела почти до самого подсвечника, и, попутно отметив также, как резок звук его шагов, хоть он и старался ступать легко, он в одну минуту, сам не приметив как, уже очутился на другой стороне дома. Тут он сделал то, чего до сих пор никогда не делал в такие часы, — наполовину открыл окно, из тех, что выходили на фасад, и впустил ночной воздух; раньше он побоялся бы этим разрушить колдовство, царившее в доме. Но теперь это было не важно, колдовство все равно уже было разру-

шено — разрушено тем, что он уступил и признал себя побежденным, так что впредь и приходить в дом уже не было смысла. Пустая улица — ее иная, чуждая жизнь, так еще подчеркнутая этой огромной, залитой светом пустотой, — была рядом — доступная для зова, для прикосновения, и Брайдон уже чувствовал себя там, в ней, даже еще не сходя со своего столь высокого насеста; и он высматривал что-нибудь утешительно-заурядное, какую-нибудь вульгарно-человеческую черточку: появление мусорщика или вора, какой-либо ночной птицы самого низшего разряда. Он был бы рад и такому признаку жизни, приветствовал бы даже медлительную поступь своего друга-полисмена, которого до сих пор всегда старался избегать, даже не был уверен, что ему не захотелось бы, появись тот сейчас на улице, вступить с ним в какой-то контакт, окликнуть его под каким-нибудь предлогом со своего четвертого этажа.

Но какой предлог был бы не слишком нелеп и не слишком для него унизителен, какое объяснение помогло бы ему сохранить достоинство и его имени не попасть в газеты — это ему самому было неясно. Он был так занят мыслью о том, как высказать свое новоявленное Благоразумие,

выполняя тем клятву, которую только что дал своему противнику, что эта задача заслоняла все остальное, с тем ироническим результатом, что Брайдон на время как бы утратил всякое чувство меры. Если бы он сейчас заметил прислоненную к фасаду стремянку — одну из тех головокружительных вертикалей, которыми пользуются маляры и кровельщики и, случается, оставляют до утра на месте, уж он как-нибудь ухитрился бы, сидя верхом на окне, зацепить ее рукой и ногой и одолеть этот способ спуска. Если бы ему сейчас попалось под руку такое нехитрое приспособление на случай пожара, какие он, ночуя в гостиницах, иногда находил у себя в номере — вроде каната с узлами или спасательного полотнища, — он немедля бы им воспользовался в доказательство своей нынешней, ну, скажем, деликатности. Но он напрасно так пестовал в себе это чувство; при отсутствии всякого отклика на него из внешнего мира оно спустя время — долгое или короткое, Брайдон не мог бы сказать — снова сникло до уровня лишь смутной боли. Брайдону чудилось, что он уже целую вечность дожидается хоть какого-нибудь движения в этой огромной угрюмой тишине; казалось, самая жизнь города была заколдована — так противоестественно в

обе стороны вдоль хорошо знакомых и довольно-таки невзрачных домов длилось без конца это безлюдье и молчанье. Неужели, спросил он сам себя, неужели эти дома с их жестокими лицами, уже просвечивающими серой бледностью сквозь редеющий сумрак, всегда так же мало, как сейчас, отвечали любой потребности его духа? Огромные, людскими руками построенные пустоты, огромные, набитые людьми безмолвия, они часто в самом сердце города в глухие ночные часы надевали своего рода зловещую маску — именно это огромное всеобщее отрицание и дошло теперь наконец до сознания Брайдона, тем более что, как ни странно, почти невероятно, но вдруг оказалось, что ночь уже кончилась и, по-видимому, вся была им истрачена на его переживания.

Он снова посмотрел на часы, увидел, что произошло с его чувством времени (он принимал часы за минуты, а не так, как бывает в иных трудных положениях, — минуты за часы), и странный вид улицы зависел не от чего другого, как от слабых, печальных проблесков раннего рассвета, который, конечно, и держал еще все в плену. Оставшийся без ответа призыв Брайдона из собственного открытого окна был единственной ноткой жизни на всей улице, и ему теперь

оставалось только прекратить пока всякие попытки, как дело совсем безнадежное. Но даже и в такой глубокой подавленности он оказался способен на действие, доказывавшее — во всяком случае, по теперешней его мерке — необычайную решимость; он вернулся на то самое место, где так еще недавно похолодел от страха, когда исчезла последняя капля сомнения в том, что в доме присутствует еще некто, кроме него самого. Для этого потребовалось усилие, чуть не доведшее его до обморока, но у него на то имелась своя причина, и она на минуту победила все. А еще предстояло пройти через все остальные комнаты — что будет с ним, если дверь, которая, как он видел, была закрыта, теперь вдруг окажется опять открытой? Он мог согласиться с мыслью, что эта закрытая дверь по отношению к нему была, в сущности, актом милосердия, дарованной ему возможностью спокойно сойти вниз, удалиться, покинуть дом и никогда больше его не осквернять. Это была логичная мысль, она работала; но чем все это могло реально обернуться для него, теперь, очевидно, целиком зависело от степени той снисходительности, которую его недавние действия или, вернее, его недавнее бездействие могло снискать у его незримого противника.

Образ этого противника, поджидающего, пока он, Брайдон, двинется, никогда еще не был так непосредственно ощутим для его нервов, как сейчас, когда он только что поколебался на самой грани, за которой мог уже обрести полную уверенность. Ибо при всей своей решимости или, точнее, при всем своем страхе он действительно поколебался, он не осмелился увидеть. Риск был слишком велик, и страх слишком отчетлив — в эту минуту он принял особо зловещий характер.

Брайдон знал — и так твердо он еще ничего не знал в жизни, — что, увидь он сейчас эту дверь открытой, тут бы и пришел ему постыдный конец. Это значило бы, что виновник его стыда — ибо, конечно, постыдным было его малодушие — опять на свободе и владеет всем домом; и Брайдон с неотвратимой ясностью предвидел тот поступок, к которому все это его вынудит. Это прогонит его прямо к тому окну, которое он оставил открытым, и через это окно — пусть даже и нет там ни длинной стремянки, ни болтающегося каната — он неизбежно, гибельно, обреченно устремится на улицу. Этот мерзкий конец он мог все же предотвратить, но предотвратить только ценой своевременного отказа от уверенности. Ему еще предстояло пробираться

чуть не сквозь весь дом — в этом смысле положение не изменилось, — но теперь он знал, что только отсутствие уверенности могло его на это подвигнуть. Он тихонько отступил туда, где раньше было приостановился, — сделать это и то уж казалось ему спасением, — и слепо заторопился к большой лестнице, оставляя позади зияющие двери комнат и гулкие коридоры. Теперь он находился на самом верху лестницы, а перед ним был широкий, слабо освещенный спуск и последовательно три просторные площадки по числу этажей. Он старался делать все как можно мягче, но каблуки его громко стучали об пол, и когда через минуту-другую он это заметил, то и это почему-то засчитал себе за поддержку. Говорить он не решался, звук голоса его бы испугал, а такой ходячий прием или развлечение, как «посвистать для бодрости» (в прямом смысле или в переносном), он считал вульгарным; тем не менее ему приятно было слышать свои шаги, и, когда он достиг первой площадки — без спешки, но и без заминок, — эта начальная стадия успеха вызвала у него вздох облегчения.

Дом к тому же казался огромным, все масштабы его чрезмерными; открытые комнаты — взгляд Брайдона не пропускал ни одной из

них, — забранные изнутри ставнями, чернели, как горловины пещер, и только стеклянная крыша, венчавшая этот глубокий колодец, наполняла его светом, в котором удобно было двигаться, но который своей странной окраской напоминал какой-то подводный мир. Брайдон попытался думать о чем-нибудь благородном, о том, например, какой у него замечательный дом, великолепное владенье, но все это благородство тут же перешло в чистую радость при мысли, что теперь-то уж он скоро с ним разделается. Приходите вы, строители, вы, разрушители, — приходите, как только будет охота. В конце двух маршей он словно попал в другую зону, а начиная с середины третьего, после чего оставался еще один, Брайдон отметил уже влияние нижних окон, полузадернутых штор, случайных отблесков уличных фонарей и лощеных пространств вестибюля. Это было уже дно моря со своим собственным освещением, а когда Брайдон приподнялся и бросил долгий взгляд через перила, то даже увидел, что оно вымощено знакомыми ему с детства мраморными квадратами. К этому времени он, бесспорно, уже чувствовал себя повольготнее — как он мог бы выразиться в менее необычном случае, — что, собственно, и позволило ему остановиться и

перевести дух, и вольготность эта еще возросла при виде старых черно-белых плит. Но главное, что он чувствовал сейчас, когда предвкушение безнаказанности влекло его словно твердыми крепкими руками, — это что сейчас уж можно было точно сказать, какая картина предстала бы ему там, наверху, если бы у него хватило мужества еще раз глянуть. Запертая дверь, теперь уже, слава богу, далекая, конечно, была по-прежнему заперта, а ему теперь нужна была только дверь из дома.

Он еще немного спустился, пересек коридор, по которому был доступ со всего этажа к последнему маршу, и если он здесь остановился еще на миг, то больше всего потому, что слишком уж острой была радость близкого и верного освобождения. Он даже зажмурился от счастья, а когда вновь открыл глаза, перед ним лежал всего лишь коротенький прямой спуск, последний отрезок лестницы. Тут тоже царила безнаказанность, но безнаказанность почти чрезмерная, так как боковые фонари и высокий, из ребристого стекла свод над входом бросали свой мерцающий свет прямо в холл, что происходило, как Брайдон тут же разглядел, оттого, что вестибюль сейчас не был ничем отделен от холла, — внутренняя

дверь, в него ведущая, была распахнута настежь, обе ее створки откинуты к самым стенам. И тут перед Брайдоном опять встал *вопрос,* от которого он почувствовал, что глаза у него лезут на лоб, как это уже было сегодня там, наверху, перед той, другой дверью. И если про ту он твердо знал, что при первом своем обходе он оставил ее открытой, то про эту он знал не хуже, что ее-то он оставил тогда закрытой, и не значило ли это, что именно сейчас он оказался в особенно тесной близости к какому-то непостижимому оккультному явлению? Этот вопрос подействовал на него как удар ножом в бок, но ответ еще медлил и даже как будто терялся в смутном сумраке, где скупо пропущенный в дом рассвет создавал вокруг всей наружной двери чуть мерцающую арку, полукруглое обрамление, холодный серебряный нимб, который словно бы слегка пульсировал на глазах у Брайдона, то сдвигаясь в сторону, то расширяясь и сжимаясь опять.

И там, внутри, казалось, еще что-то было, скрытое какой-то неясностью и совпадающее по размеру с непрозрачной задней поверхностью — крашенными масляной краской филенками этого последнего барьера на пути к спасенью, ключ от которого был у Брайдона в кармане. Эта

неясность не прояснялась даже под пристальным его взглядом, она дразнила его, затуманивая и подвергая сомнению то, что он считал несомненным, так что, поколебавшись еще миг перед новым шагом, он дал себе волю и двинулся вперед, рассудив, что тут по крайней мере хоть есть что-то такое, что можно встретить, тронуть, взять, распознать, — что-то совсем неестественное и страшное, но борьба с чем была для него необходимым условием либо освобождения, либо окончательной неудачи. Краевая полутень, довольно еще густая и темная, была надежным заслоном для этой фигуры, стоявшей в ней так неподвижно, как статуя в нише или какой-нибудь часовой под черным забралом, сторожащий сокровище. Впоследствии Брайдон припомнил, разобрал и понял то странное явление, которое он, как ему казалось, наблюдал, пока спускался по этим последним ступенькам. Он увидел, как эта срединная неясность стала мало-помалу сжиматься в своем широком сером мерцающем обрамлении, и почувствовал, что она стремится принять ту самую форму, которую вот уже столько дней жаждало узреть его ненасытное любопытство. Она маячила, темная и угрюмая, она угрожала — это было что-то, это был кто-то,

чудо личного присутствия.

Застылый, но одушевленный, призрачный и вместе с тем реальный — мужчина того же состава и той же стати, что и он сам, ждал его внизу, чтобы насмерть помериться с ним силами. Так считал Брайдон, но только до тех пор, пока, еще приблизившись, не разглядел, что дразнившая его неясность происходила от поднятых к голове рук его противника — вместо того чтобы воинственно выдвинуть лицо вперед, он робко прятал его в ладонях как бы с мольбой о пощаде. Так получилось, что Брайдон, стоя перед ним, мог вдоволь его разглядывать; теперь стало уже светлее, и каждая его особенность выделялась четко и жестко — его нарочитая неподвижность, его живая реальность, седеющая склоненная голова и белые руки, закрывающие лицо, гротескная в данном случае банальность безупречного вечернего костюма — фрак, пенсне на шнурке, блеск шелковых отворотов и белейшей манишки, жемчужная булавка в галстуке, золотая цепочка при часах, лакированные туфли. Ни один портрет, написанный кем-либо из современных известных художников, не мог бы так отчетливо его изобразить, с большим искусством вывести его из рамы: он словно весь был подвергнут какой-то

утонченной обработке, каждая его черточка, каждая тень и каждый рельеф.

Внезапный поворот чувств, который наш друг испытал прежде даже, чем осмыслил, был, конечно, огромен; такой перепад — от прежних опасений вдруг к этому, совсем уж непостижимому маневру противника. По крайней мере, такой смысл Брайдон склонен был, дивясь, вложить в происшедшее, ибо он мог только дивиться на свое другое «я» в его новой позиции… Разве не доказывало все это, что ему, Брайдону, символизирующему здесь полноценную жизнь с ее достижениями и удовольствиями, жизнь торжествующую, тот, другой, не в силах был смотреть в лицо в час ее торжества? Разве не были доказательством эти великолепные руки, закрывающие лицо, сильные и плотно к лицу прижатые? Так решительно и так плотно прижатые, что, несмотря даже на одну особую истину, одну маленькую реальность, погашающую все остальное, — именно на тот факт, что на одной из этих рук не хватало двух пальцев, как бы случайно отстреленных и тем сведенных всего лишь к коротеньким обрубкам, — несмотря даже на это, лицо было все же надежно укрыто и спасено.

Спасено ли, однако? Брайдон сомневался

молча, пока самая безнаказанность его позы и настойчивость взглядов не вызвали, как он почувствовал, какого-то ответного движения, ставшего в следующий же миг, пока голова только еще поднималась, предвестием более глубокой перемены, отречением от более смелого замысла. Руки дрогнули, стали медленно раздвигаться, потом, словно вдруг решившись, соскользнули с лица, оставив его незакрытым и доступным взгляду. Ужас и отвращенье стиснули горло Брайдону, задушив тот звук, который он не в силах был издать; это обнаженное лицо было слишком мерзостным, чтобы он согласился признать его своим, и горящий взор Брайдона выражал всю страстность его протеста. Чтобы это лицо — вот это лицо — было лицом Спенсера Брайдона? Он еще всматривался в него, но уже наполовину отвернувшись, страшась и отказываясь верить, падая стремглав с высот своих прежних переживаний. Это было неслыханно, непостижимо, ужасно, лишено всякой связи с действительностью. Над ним надсмеялись, втянув его в эту игру; то видение, за которым он столько гонялся, было сейчас перед его глазами, и страх еще лежал на сердце, но смехотворными представлялись ему теперь все эти зря растраченные ночи и горькой

иронией его наконец достигнутое торжество. Этот облик, который он сейчас видел, не совпадал с его собственным ни в единой точке; тождество с ним было бы чудовищным.

Да, тысячу раз да, — он видел это ясно, когда лицо приблизилось, — это было лицо совсем чужого человека. Оно надвинулось на него еще ближе — точь-в-точь как те расширяющиеся фантастические изображения, проецируемые волшебным фонарем его детства, — ибо этот чужак, кто бы он ни был, злобный, отвратительный, грубый, вульгарный, перешел в наступление, и Брайдон понимал, что не выстоит. А затем, под еще более сильным нажимом, уже почти в дурноте от самой резкости столкновения, откачнувшись назад, словно от жаркого дыхания и пробужденного гнева более крупного, чем он сам, животного, яростно кипучей силы, перед которой собственная его сила пасовала, он почувствовал, что все эти видения отступают куда-то во тьму и ноги у него подкашиваются. Голова у него закружилась; все стало гаснуть; все погасло.

3

Его привел в сознание — это он ясно расслышал — голос миссис Мелдун, прозвучавший где-то

очень близко, так близко, что ему тут же почудилось, что он видит ее, как она стоит на полу на коленях перед ним, а он сам лежит и смотрит на нее снизу вверх. Но он лежал не просто растянувшись на полу, его приподняли и поддерживали, и он ощущал всю нежность этой поддержки, а в особенности ту необычайную мягкость, на которой покоилась его голова, а вокруг веяло легкое освежающее благоухание. Он дивился, он пытался сообразить, разум еще плохо служил ему; потом возникло другое лицо, не сбоку, а склоненное прямо над ним, и он наконец понял, что Алиса Ставертон устроила ему у себя на коленях просторную, идеально удобную подушку и ради этого уселась на самой нижней ступеньке лестницы, а остальное его длинное тело вытянулось на его любимых черно-белых плитах. Они были холодные, эти мраморные квадраты его юности, но сам он холоден не был в этот момент возврата его сознания, в самый чудесный час из всех им пережитых, который оставил его таким благодарным, таким бездонно покорным и вместе с тем хозяином всех рассыпанных кругом сокровищ интеллекта, только и ждущих, чтобы он мирно ими завладел, растворенных (как ему хотелось бы сказать) в самом воздухе этого дома и

порождающих золотое сиянье этого уже к вечеру клонящегося осеннего дня. Он вернулся, да, вернулся из такой дали, до какой ни один человек, кроме него, еще не достигал, но странно, что, понимая это, он тем не менее воспринимал то, к чему он вернулся, как самое главное, самое важное, как будто только ради него он и совершал все свои изумительные путешествия. Медленно, но верно его сознанье расширялось, представление о том, что с ним произошло, пополнялось подробностями; он уже помнил, что его чудесным образом *принесли* назад — подняли и бережно несли с того места, где подобрали, в самом дальнем углу нескончаемого серого коридора. И все это время он был в забытьи, пробудил его только перерыв в долгом плавном движении.

Это вернуло его к сознанию, к трезвой оценке вещей — да, в том и заключалась прелесть его положения, все больше и больше напоминавшего положение человека, который заснул после того, как получил известие о доставшемся ему богатом наследстве, а во сне увидел, что никакого наследства нет, что все это результат какой-то гадостной путаницы с вовсе не идущими к делу вещами, но, проснувшись, опять обрел безмятежную уверенность в правде случившегося, и ему оставалось

только лежать и следить, как она растет. Таков был смысл его терпения: только не мешать, пусть все прояснится. К тому же его, вероятно, еще не раз, с перерывами, поднимали и опять несли — иначе *как* и *почему* он оказался бы несколько позже и при более ярком закатном свете уже не у подножья лестницы — она-то осталась где-то в дальнем темном конце его туннеля, — а в одной из оконных ниш его высокого зала, на диванчике, покрытом мантильей из какой-то мягкой материи, отороченной серым мехом, который по виду был ему почему-то знаком и который он все время любовно поглаживал одной рукой как залог истинности происходящего. Лицо миссис Мелдун куда-то исчезло, но другое лицо — то, второе, которое он узнал, — склонилось над ним в таком повороте, что легко было понять, как именно он и сейчас еще приподнят и как устроен на подушках. Брайдон все это разглядел, и чем дольше он разглядывал, тем большее испытывал удовлетворение: ему было так мирно на душе и так хорошо, как будто он только что вкусил как следует и еды, и питья. Эти две женщины нашли его, потому что миссис Мелдун появилась в свой положенный час на крыльце и отперла дверь своим ключом, но, главное, потому, что, к сча-

стью, это произошло тогда, когда мисс Ставертон еще медлила возле дома. Она уже хотела уходить, очень обеспокоенная, так как перед тем долго и совершенно напрасно дергала ручку звонка, — она приблизительно рассчитала время прихода уборщицы. Но та, к счастью, пришла, пока мисс Ставертон еще была здесь, они вместе вошли в дом. Брайдон лежал тогда там, на пороге вестибюля, почти так же, как лежал сейчас, то есть как будто упал со всего размаха, но, удивительно, не получив ни единой раны или царапины, только в глубоком обмороке. Впрочем, сейчас, с уже прояснившейся головой, он был больше всего потрясен тем, что на какие-то страшные несколько секунд Алиса Ставертон не сомневалась в том, что он умер.

— А это, наверно, так и было, — размышлял он вслух. — Да, конечно, иначе и быть не могло. Вы буквально вернули меня к жизни. Только, — его полные удивленья глаза поднялись к ней, — во имя всего святого, как?

Ей понадобилось лишь мгновенье, чтобы склониться и поцеловать его, и что-то в том, как она это сделала, и в том, как ее ладони охватили и сжали его голову, пока он впивал спокойное милосердие и нежную властность ее губ, — что-то во

всем этом блаженстве каким-то образом давало ответ на все.

— А теперь я вас никому не отдам, — сказала она.

— Ах, не отдавайте, не отдавайте меня!.. — попросил он, глядя в ее лицо, все еще склоненное над ним, в ответ на что оно склонилось еще ниже, совсем низко, вплотную прижалось к его щеке. Это была печать, положенная на их судьбы, и он еще долгий блаженный миг молча прислушивался к этому новому ощущенью. Потом все же вернулся к прежнему ходу мыслей. — Но как вы догадались?

— Я беспокоилась. Вы ведь хотели прийти, помните? И не прислали сказать, что не можете.

— Да, помню. Я должен был прийти к вам сегодня в час. — Это связывало его со «старой» их жизнью и отношениями — такими еще близкими и такими уже далекими. — А вместо того я был тогда в этой странной тьме… где это было, что это такое было? Я, наверно, очень долго там был. — Он мог только гадать о глубине и длительности своего обморока.

— С прошлой ночи? — спросила она нерешительно, страшась показаться нескромной.

— Вернее, с сегодняшнего утра — там был

такой холодный тусклый рассвет… Но где я-то был? — жалобно протянул он. — Где я был?.. — Он почувствовал, что она крепче прижала его к себе, и это помогло ему уже бестревожно, с ощущением полной безопасности продлить свою тягучую жалобу: — Какой долгий и темный день!

Полная нежности, она подождала минуту.

— В холодном тусклом рассвете? — выговорила она дрожащим голосом.

Но он уже был занят тем, что пытался связать воедино все отдельные части этого фантастического происшествия.

— А когда я не пришел, вы, значит, прямо отправились…

Но она не хотела разбрасываться.

— Сперва я пошла в вашу гостиницу, там мне сказали, что вас нет. Что вы накануне обедали в городе и с тех пор не возвращались. Но они как будто знали, что вы были в вашем клубе.

— Тогда вы подумали об *этом*?

— О чем? — спросила она, помолчав.

— Ну, о том, что случилось.

— Я была уверена, что вы здесь были. Я ведь все время знала, — пояснила она, — что вы сюда ходите.

— Знали?

— Ну, во всяком случае, я так думала. Я ничего вам не сказала после того разговора, который у нас был месяц назад, но я была уверена. Я знала, что вы добьетесь, — закончила она.

— То есть что я не угомонюсь?

— Что вы его увидите.

— Так ведь нет же! — воскликнул Брайдон опять со своим длинным жалобным полустоном. — Там было появился кто-то — ужасная, в общем, скотина, которого я, на горе себе, затравил. Но это был не я.

Опять она еще ниже склонилась и глубоко заглянула ему в глаза.

— Нет, конечно не вы. — И пока ее лицо висело над ним, ему почудилось, что он почти уже уловил в нем какое-то особенное выражение, затуманенное улыбкой. — Нет, благодарение Богу, — продолжала она, — это были не вы. Да этого и быть не могло.

— Но ведь было, — почти с кротким упорством повторил он, глядя прямо перед собой в одну точку, как уже не раз с ним бывало за последние недели. — Я должен был познать самого себя.

— Вы не могли, — сказала она ему в утешение. И затем, возвращаясь к прежнему и как будто стремясь отчитаться в том, что сама она тогда

делала, она продолжала: — Но не в том важность, что вы еще не возвращались домой. Я дождалась того часа, когда мы с вами застали миссис Мелдун в доме, помните, когда мы с вами вместе сюда приходили, и она пришла, как я вам уже сказала, как раз в ту минуту, когда я, потеряв всякую надежду, что мне откроют, в отчаянии еще стояла на крыльце. Впрочем, если бы даже и не было такого счастья, что она тут появилась, я бы все равно немного погодя уж как-нибудь придумала, где ее отыскать. Но это не все, — сказала Алиса Ставертон, словно возвращаясь к какому-то своему прежнему намерению, — дело не только в этом.

Лежа, он обратил глаза назад и вверх, чтобы ее увидеть.

— А в чем же еще?

Она прочитала в его глазах расшевеленное ею удивление.

— Вы сказали, в холодном тусклом рассвете? Ну так вот что: сегодня утром в холодном тусклом рассвете я тоже увидела вас.

— Меня?..

— Его, — сказала Алиса Ставертон. — Это, наверно, происходило в один и тот же миг.

Он полежал минуту, сосредоточившись, как

будто хотел быть очень рассудительным.

— В тот же самый миг?

— Да, и опять во сне, как в тот раз, о котором я вам уже рассказывала. Он опять пришел ко мне. Тогда я поняла, что это знак. Что он пришел к вам тоже.

Тут Брайдон приподнялся; он хотел получше ее разглядеть. Она помогла ему, как только поняла, чего он хочет, и он теперь устойчиво сидел рядом с ней на приоконном диванчике и правой рукой сжимал ее левую.

— Он не пришел ко мне.

— Но вы обрели себя. — Она улыбнулась чудесной улыбкой.

— Да, теперь-то я обрел себя, это верно, благодаря вам, моя дорогая. Но тот скот с его жуткой физиономией — он мне совершенно чужой. В нем нет ничего от меня, даже от такого меня, каким я мог стать, — воинственно заявил Брайдон.

Но она сохраняла ту ясность, которая была для него как дыхание непогрешимости.

— Но разве не в том весь вопрос, что вы сами тогда были бы другим?

Он бросил на нее сердитый взгляд.

— До такой степени другим?

Ее ответный взгляд опять показался ему чудес-

ней всего на свете.

— Разве вам не хотелось бы узнать, насколько другим? Так вот сегодня утром, — сказала она, — вы явились мне…

— В его образе?

— Как совершенный незнакомец.

— Так почему же вы узнали, что это я?

— Потому что, как я вам уже говорила много недель назад, мой ум и мое воображение столько трудились над этим вопросом — чем вы могли и чем не могли быть, — все, понимаете? — чтобы показать, как я о вас думаю. И тут среди всех этих волнений вы вдруг пришли ко мне, чтобы меня успокоить. Тогда я поняла, — продолжала она, — что раз этот вопрос вас тоже не меньше волнует, то к вам тоже само собой придет решение. И когда сегодня утром я вас опять увидела во сне, я уже знала, что, значит, оно к вам пришло; и, кроме того, я с первой же минуты почувствовала, что я почему-то вам нужна. Как будто он мне об этом сказал. Так отчего бы, — она странно усмехнулась, — отчего бы мне не любить его?

Это даже подняло Спенсера Брайдона на ноги.

— Вы любите это страшилище?

— Я могла бы любить его. И для меня, — сказала она, — он не был страшилищем. Я приняла его.

— Приняли? — совсем уже растерянно прозвучал голос Брайдона.

— Да. Сперва потому, что заинтересовалась его отличием от вас. И так как я не отвергла его, и так как я поняла его — в чем вы, мой дорогой, даже в последний момент, когда уже выяснились все различия, так жестоко ему отказали, — так вот, по всем этим причинам мне он не казался таким уж страшным. А ему, может быть, было приятно, что я его пожалела.

Она уже стояла рядом с ним, все еще держа его за руку, а другой рукой обнимая и поддерживая его. И хотя все это затеплило перед ним какой-то неясный свет, — «Вы пожалели его?» — нехотя и обиженно проговорил он.

— Он был несчастлив, он весь какой-то опустошенный, — сказала она.

— А я не был несчастным? Я — посмотрите только на меня! — я-то не опустошенный?

— Так я ведь не говорю, что он мне милее, чем вы, — согласилась она, подумав. — Но он такой мрачный, такой измученный. Он не сумел бы так изящно, как вы, поигрывать вашим прелестным моноклем.

— Да-а! — Эта мысль вдруг поразила Брайдона. — В деловые кварталы мне с моноклем нельзя

было бы показаться. Они бы там меня совсем осмеяли.

— А его большое пенсне с очень выпуклыми стеклами — я заметила, я уже видела такие, — ведь это значит, что у него совсем загубленное зрение… А его бедная правая рука!..

— Ах! — Брайдона передернуло — то ли из-за доказанного теперь их тождества, то ли от сокрушенья о потерянных пальцах. Затем: — У него есть миллион в год, — добавил он просветленно. — Но у него нет *вас.*

— И он не вы, нет-нет, он все-таки *не вы*! — прошептала она, когда он прижал ее к груди.

1908/1909

Джон Кендрик Бангз
1862–1922

Рождественская история Терлоу

1

(Сообщение, отправленное Генри Терлоу, писателем,

Джорджу Каррьеру, редактору популярного еженедельника «Лентяй»)

Мой дорогой Каррьер, я всегда полагал, что тому, кто желает слыть человеком здравомыслящим и хоть сколько-то дорожит своей репутацией рассказчика, достойного доверия, следует помнить: если столкнешься в жизни с каким-то странным, необъяснимым феноменом, лучше о нем помалкивать. Со мной тоже происходило подобное, и неоднократно, однако я обычно избегал хотя бы в общих чертах делиться этим опытом с окружающими, так как знаю, что даже самые преданные друзья примут его либо за плод разнузданного и безответственного воображения, либо за свидетельство постепенной деградации ума, ставшего жертвой галлюцинаций. Мне-то понятно, что пережитое случилось на самом деле, но, покуда мистер Эдисон или кто-то еще из современных кудесников не изобретет лучи

настолько сильные, чтобы осветить все тайные закоулки человеческой души, как я докажу, что не привираю или по крайней мере не поддался болезненным фантазиям? Вот, к примеру, простой и неоспоримый факт, которому, однако, никто не поверит: как-то в прошлом месяце, в начале первого ночи я, не употребив ни курева, ни спиртного, поднимался по лестнице к себе в спальню, луна светила в окно у меня за спиной, и в ее лучах передо мной возникла фигура, до мельчайших деталей совпадавшая с моим собственным обликом. Я мог бы описать, как, пораженный леденящим кровь ужасом, пошатнулся и едва не свалился с лестницы, когда в лице своего визави узрел отображение всех пороков, какие за собой знаю, всех дурных устремлений, какие до сих пор с немалым трудом в себе подавлял; как осознал, что это *существо,* по всей видимости, никоим образом не связано с моим истинным «я», которое, надеюсь, всегда честно сопротивлялось диктату аморальности. Я мог бы, повторяю, описать свой ужас так живо, словно испытываю его в эту самую минуту, но не возьмусь, ведь, сколь бы ни был достоверен мой рассказ, ни один читатель не поверит в реальность случившегося; а между тем речь идет о самом что ни на есть истинном про-

исшествии, которое затем повторялось десяток раз — и, убежден, будет повторяться впредь, хотя я отдал бы все, что угодно, лишь бы никогда больше не встречать на своем пути этот тревожащий образ, материальный или воображаемый — все равно. С тех пор я боюсь оставаться один; более того, я не раз ловил себя на том, что с беспокойством и испугом всматриваюсь в свое отражение в зеркалах и даже в витринах на оживленных городских улицах: а не проявятся ли в нем следы порока, которые мне до сих пор, ценой больших усилий, удавалось скрывать; не выдаст ли меня мое лицо всему миру, всему *моему* миру, знавшему Генри Терлоу как человека праведного и в поступках, и в душе? Не раз мне ночью приходила убийственная мысль: что будет, если этот образ — мой, но вмещающий лишь часть меня, лишь мое необузданное низменное начало, — увидят окружающие и примут его за Генри Терлоу?

И, кроме того, я хранил молчание относительно странных обстоятельств, омрачавших в последние полтора года мои сны; лишь мне одному до настоящей поры, когда я это пишу, было известно, что все это время я вел в своих сновидениях еще одно, связное и последовательное, существование — столь живое, столь жутко

реальное, что иногда бывало трудно понять, какая из моих жизней проходит наяву, а какая во сне; существование страшное и постыдное, в котором главенствующая роль принадлежала моему второму, порочному «я»; существование, перетекавшее из каждого предыдущего сна в последующий, — и вот теперь я опасаюсь засыпать в чужом присутствии, ведь во сне у меня могут сорваться с уст слова, намекающие на какие-то позорные тайны. Не имело бы никакого смысла с кем-то этим делиться. Отчет об этих тягостных подробностях только причинил бы беспокойство моим родным и друзьям, поэтому я держал язык за зубами. Впервые в жизни — и вам одному — решился я намекнуть на свои продлившиеся уже много дней злоключения, да и то лишь потому, что вы потребовали объяснить, какого рода необычайные сложности возникли у меня в связи с рождественской историей, посланной вам на прошлой неделе. Вы знаете меня как человека серьезного, не склонного к ребячеству и глупым шуткам. Учитывая все это, вы могли бы, по крайней мере как мой друг, дважды подумать, прежде чем в своем письме от среды бросить мне обвинение в дичайшем, неуместном и крайне для вас несвоевременном розыгрыше — обвинение,

которое я, будучи чересчур подавлен, вовремя не опроверг; и повторить его в письме, направленном в четверг, присовокупив требование, чтобы я либо удовлетворительным образом объяснил свои поступки, либо немедленно отказался от дальнейшего сотрудничества с «Лентяем». Это ставит меня в затруднительное положение, так как я понимаю, что моему рассказу нелегко поверить, но я все же должен объясниться. Прекратить сотрудничество с вашим журналом — значит поставить под удар не только собственное благополучие, но и благополучие моих детей, которых я содержу; лишившись этого заработка, я потеряю все. Мне страшно даже подумать об отставке, ибо я отнюдь не уверен, что способен удовлетворить запросам какого-либо другого издания, но если бы даже питал такую надежду, надобно еще, чтобы моим талантам нашлось применение немедленно, а нынче на литературном поприще конкуренция велика как никогда.

И вот передо мной стоит задача — сколь бы невыполнимой она ни казалась — убедить вас в том, что я и не думал над вами шутить; и, чтобы объясниться как можно подробней, позвольте мне начать с самого начала.

В августе вы сообщили мне, что, как обычно,

будете ждать от меня очередной рассказ для рождественского номера «Лентяя»; что для него в журнале предусмотрено необходимое место и вы уже готовитесь напечатать соответствующий анонс. Я согласился выполнить этот заказ и целых семь раз принимался за дело, однако повествование никак не складывалось. По какой-то непонятной причине мне не удавалось сосредоточиться. Стоило приступить к одной истории, как на ум приходила другая, казавшаяся более интересной, на проделанной работе я ставил крест и начинал все заново. Идеи плодились в изобилии, но должным образом предать их бумаге было выше моих сил. Правда, один рассказ я все же закончил, но, получив его от машинистки, с ужасом убедился, что держу перед глазами кучу галиматьи, ничего не говорящей уму; писал я связную историю, читал же совершенно бессвязную, лишенную и формы, и мыслей — бред да и только. Тогда, как вы помните, я сообщил вам при личной встрече, что устал и нуждаюсь в месячном отпуске, который и был мне предоставлен. Полностью забросив дела, я уехал в глушь, где ничто не будет напоминать о работе и откуда меня не вытребуют в город. Я проводил время за рыбалкой и охотой. Вволю спал и хотя, как

уже было сказано, в снах вел жизнь, не только не отвечавшую моим вкусам, но и во многих отношениях мне отвратительную, однако к концу отпуска почувствовал прилив сил и готовность с головой уйти в работу. Два-три дня после возвращения в город ушли на другие дела. На четвертый день меня посетили вы и сказали, что рассказ нужно закончить самое позднее к 15 октября, и я заверил, что справлюсь вовремя. В тот же вечер я сел сочинять. Наметил план, эпизод за эпизодом, и, до того как отойти ко сну, написал почти полторы тысячи слов, часть первой главы — всего глав предполагалось четыре. Тут я ощутил, что вот-вот меня одолеет привычная нервная дрожь, и, сверившись с часами, убедился, что оно и немудрено: время перевалило за полночь и я просто устал. Записи я сложил на столе, чтобы утром сразу приняться за работу. Запер окна и двери, выключил свет и стал подниматься по лестнице в спальню.

Именно тогда я впервые столкнулся лицом к лицу с самим собой — своим вторым «я», в котором узрел в их полном, предельном развитии все до единого мои дурные склонности.

Оцените, по возможности, создавшееся положение. Вообразите этот ужас и задайтесь вопросом,

в силах ли я был на следующее утро усадить себя за стол и состряпать что-то, хоть сколько-нибудь пригодное для публикации в «Лентяе». Я пытался. Умоляю вас поверить, что я со всей серьезностью отнесся к ответственности, которую вы на меня возложили. Да будет вам известно, что я, как никто из ваших авторов, понимаю, какими терниями усыпана редакторская стезя, поскольку сам когда-то занимал этот пост и, соответственно, стремлюсь к тому, чтобы никоим образом эти трудности не умножать. Поверьте, я честно пытался выполнить данное вам обещание. Но попытки ни к чему не привели, после этого происшествия я неделю не мог работать. Под конец недели я почувствовал себя лучше, вновь взялся за рассказ, и все шло хорошо, пока… пока *это* не повторилось. Мне снова явилось мое подобие, в чьих чертах, подобных моим, отражался порок, и это зрелище заново повергло меня в отчаяние.

Так продолжалось до 14 октября, когда от вас пришло письмо с категорическим требованием на следующий день прислать текст. Нет смысла говорить, что этого не случилось, но я должен вам поведать кое-что, чего вы еще не знаете. Вечером 15 октября со мной приключилось нечто странное, и мой рассказ о происшедшем, которому вы

почти наверняка не поверите, послужит объяснением того, что обнаружилось 16-го, — в день, когда мое дальнейшее сотрудничество с вашим изданием оказалось под угрозой.

Вечером 15 октября в половине восьмого я находился у себя в библиотеке и пытался писать. Я был один. Жена с детьми уехала на неделю погостить в Массачусетс. Я докурил сигару и взялся за перо, и тут раздался звонок в дверь. Обычно на звонки откликается горничная, но в этот раз она, похоже, не услышала колокольчик и не подошла. Колокольчик зазвонил снова, но горничная и в этот раз не появилась. После третьего звонка я направился к двери сам. Передо мной оказался незнакомец чуть старше пятидесяти, высокий, худощавый, с бледным лицом, весь в черном. Я никогда в жизни его не видел, но всем своим обликом он так к себе располагал, что я, не зная ни кто он, ни что его привело, невольно обрадовался его появлению.

— Здесь живет мистер Терлоу? — спросил он.

Простите, что, как может показаться, я вдаюсь в мелкие подробности, однако лишь предельно обстоятельное описание всего, что случилось в тот вечер, надеюсь, сможет придать правдоподобие моему рассказу, а то, что от меня требуется

правдивый отчет, я осознаю с такой же болью, как и вы.

— Мистер Терлоу — это я.

— Генри Терлоу, писатель? — уточнил незнакомец, окидывая меня изумленным взглядом.

— Да, — подтвердил я и, видя его непонятное удивление, добавил: — Я не похож на писателя?

Рассмеявшись, он честно признался, что по моим книгам составил себе совсем другое представление о том, как я должен выглядеть. Я пригласил его в дом, и он вошел. В библиотеке я предложил посетителю сесть и спросил о цели его прихода.

Полученный ответ доставил во всяком случае удовольствие. Гость уже не первый год следил за моим творчеством и давно хочет — чтобы не сказать «любопытствует» — познакомиться со мной и поведать, как ему нравятся некоторые мои рассказы.

— Я большой любитель чтения, мистер Терлоу, — сказал он, — а вашими стихами и юмористическими очерками я просто упиваюсь. Скажу больше: ваши сочинения не раз помогали мне справляться с жизненными трудностями. Временами, когда меня одолевала усталость или тревожили проблемы в делах, я брал наугад

какую-нибудь из ваших книг и находил в ней поддержку и успокоение. Ваши книги избавляли меня от усталости и тревог, и нынче, оказавшись в этом городе, я решился вечером явиться сюда и поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали.

У нас завязалась дискуссия о писателях и книгах, и я убедился, что посетитель в самом деле хорошо разбирается в произведениях современных авторов. Меня очень расположили к нему его простота и непринужденность, а также лестные отзывы о моих сочинениях, и я развлекал его чем только мог, показывая литературные сокровища из своей скромной коллекции: собственноручные письма, фотографии, нашумевшие книги, подаренные авторами. Разговор легко и плавно перешел на приемы, используемые в писательском труде. Посетитель задавал много вопросов о моих методах, и я обрисовал вкратце свой образ жизни, рассказал, что работаю дома, вдали от конторской рутины, чем, похоже, произвел на него большое впечатление. Пожалуй, я чересчур нахваливал свое житье-бытье, и под конец посетитель спокойно заметил, что, по всей видимости, жизнь у меня идеальная и благополучие мое ничто не омрачает.

Это замечание вернуло меня к пугающей действительности, и я вспомнил о странной прихоти судьбы, сделавшей меня жертвой потусторонних посещений, которые поставили под угрозу мою профессиональную пригодность и мой единственный источник дохода.

— Нет, — ответил я, обращаясь мыслями к своим злосчастьям, — похвастаться ничем не омраченным благополучием я не могу. Собственно, его очень многое омрачает. В настоящую минуту меня приводит в отчаяние моя полная неспособность исполнить обязательство, срок по которому подошел утром. Сегодня я должен был отправить в журнал рождественский рассказ. Заказчик ждет, но дело никак не сдвигается с места.

Выслушав это признание, посетитель заметно взволновался. Я надеялся, по правде говоря, что он тактично поторопится с уходом и я смогу вновь взяться за перо. Однако его сочувствие проявилось иначе. Вместо того чтобы попрощаться, он высказал надежду мне помочь.

— Какого рода история от вас требуется? — спросил он.

— О, обычная история о привидениях, с добавлением легкого рождественского колорита, как

того требует повод.

— Ага, — кивнул посетитель. — А вы обнаружили, что жила фантазии истощилась?

Вопрос был поставлен прямо и, пожалуй, несколько дерзко, но я решил, что лучше будет дать ответ, ничем не выдавая, однако же, настоящую причину. Я не собирался настолько доверяться первому встречному, чтобы описывать ему свои невероятные встречи с жутким двойником. Правде он бы не поверил, поэтому я сказал неправду, согласившись с его предположением.

— Да, — подтвердил я, — жила истощилась. Уже не первый год я пишу истории о привидениях, серьезные и шуточные, и вот дошел до точки: и нужно, и не можется.

— Теперь все понятно, — кивнул посетитель. — Впервые увидев вас вечером у дверей, я не мог поверить, что автор, подаривший мне столько веселья, выглядит таким бледным, осунувшимся и безрадостным. Простите, мистер Терлоу, за вырвавшееся у меня признание, что ваш вид меня поразил.

Я улыбнулся в знак прощения, и он продолжил.

— Возможно, — сказал он с несколько нере-

шительным видом, — возможно, мой приход окажется кстати. Не исключено, что я сумею вам помочь.

— Был бы вам очень признателен, — снова улыбнулся я.

— Но вы сомневаетесь, что это в моих силах? А… ну да… конечно, вы не верите, как же иначе? И все же вот что я заметил: временами, когда я заходил в тупик в своей работе, мне помогали выйти из затруднения случайные несколько слов, оброненных кем-то, кто не имел о ней ни малейшего понятия. Я прочитал почти все ваши сочинения, много размышлял о некоторых из них и даже придумал несколько сюжетов, которые, как мне представляется, вам бы подошли. Я досадовал, что не обладаю вашим литературным талантом, чтобы воплотить эти идеи так, как сумели бы сделать вы, приди они вам в голову.

Пока пожилой джентльмен говорил это, его бледное лицо залилось румянцем, и я, не надеясь извлечь что-то полезное из предлагаемых идей, все же поддался искушению выслушать его, поскольку держался он подкупающе бесхитростно и явно всей душой желал мне помочь. Полчаса он излагал свои задумки. Среди них попадались неплохие, но не было новых. Иные вызывали

неудержимый смех, и это пошло мне на пользу — ведь я не смеялся от души уже так долго, что при воспоминании об этом меня пробирала дрожь и я боялся, что вообще разучусь веселиться. Наконец я устал от его настойчивости и, едва скрывая нетерпение, напрямик объявил, что не смогу воспользоваться его идеями, хотя и очень признателен ему за доброту. Он вроде бы немного обиделся, но тут же замолк и, когда пробило девять, встал и пошел к двери. Было заметно, что в нем происходит какая-то внутренняя борьба, и вот, внезапно, успев уже взять шляпу и трость и надеть пальто, он сдался, повернулся ко мне и проговорил:

— Мистер Терлоу, я не хочу вас обидеть. Напротив, я от всей души желаю вам помочь. Вы мне раньше помогли, я вам рассказывал. Так почему бы мне не вернуть долг?

— Уверяю вас, сэр… — начал я, но он меня перебил:

— Прошу вас, одну минутку. — Посетитель извлек из внутреннего кармана своего черного пальто адресованный мне конверт. — Позвольте мне договорить: это прихоть человека, который вам симпатизирует. Десять лет я сам втайне писал рассказ. Он короткий, но, как мне кажется,

неплохой. Я шел к вам сегодня, имея в виду две цели. Мне хотелось не только познакомиться с вами, но и прочитать вам этот рассказ. О том, что я его писал, не знает никто: я собирался устроить сюрприз своим… своим друзьям. Надеялся где-нибудь его опубликовать и направлялся сюда, рассчитывая на ваш совет. Как уже было сказано, писал я десять лет, вновь и вновь переписывая на досуге. Не думаю, что напишу еще что-либо. Я горжусь своей работой, но гордился бы еще больше, если бы вы… тем или иным образом употребили ее себе на пользу. Оставляю рассказ вам, сэр; хотите — публикуйте, хотите — выбрасывайте. Если решите печатать, меня порадует одно то, что он издан; я буду горд, увидев под ним ваше имя. Никто ничего не узнает: говорю же, никто ведать не ведает, что я писал рассказ; и впредь обещаю не обмолвиться ни словом, если вы поступите так, как я предлагаю — а вернее, прошу. Даже если бы мне вздумалось нарушить обещание и после публикации рассказа под *вашим* именем заявить о своем авторстве — кто бы мне поверил? Берите же рассказ. Он ваш. Это будет лишь частичная плата за то добро, что вы для меня сделали.

Вложив мне в руки манускрипт и не дав времени на ответ, посетитель открыл дверь и исчез

в темноте за порогом. Я выбежал на тротуар и стал призывать своего гостя вернуться, но только напрасно напрягал глотку и тревожил соседей: ответа не последовало. С рассказом в руках я вернулся в библиотеку, где, сидя в кресле и вспоминая этот примечательный разговор, впервые осознал, что не спросил ни имени, ни адреса посетителя.

Я надеялся обнаружить то и другое внутри конверта, но ничего не нашел. В конверте лежали только тридцать с лишним исписанных мелким почерком страниц, автор обозначен не был.

Я начал читать. Сперва с усмешкой, чувствуя, что зря трачу время. Но усмешка вскоре растаяла, а после первого же абзаца стало понятно, что о бесполезной трате времени речь не идет. У меня в руках был шедевр. Нет смысла оговаривать, что к избыточной восторженности я не склонен. Меня трудно привести в восторг, но в данном случае я был вынужден уступить мощной силе этого чувства. Я читал повести Гофмана и По, дивные романы де ла Мотт Фуке, малоизвестные, к сожалению, рассказы покойного Фиц-Джеймса О'Брайена, мрачные истории со всего мира, изученные мною от корки до корки, и говорю вам: за всю жизнь мне не встречалось рассказа,

абзаца, строчки, которые можно было бы хоть отдаленно сравнить с сочинением, доставшимся мне при вышеописанных обстоятельствах; сочинением, превосходным и живостью описаний, и таинственностью интриги, и всеми другими качествами, характеризующими истинный шедевр жанра. Я прочел его и ощутил изумление. Прочел вторично и ощутил… соблазн. Оно было мое. Сам автор уполномочил меня считать этот текст своим; добровольно отказался от авторства, чтобы выручить меня из крайне затруднительного положения. Более того, он намекнул, что, подписав рассказ своим именем, я окажу ему услугу. Почему бы не поступить так, как он пожелал, спросил я себя, но тут же против этой идеи взбунтовалось мое лучшее «я». Смогу ли я и далее уважать себя, если присвою чужой труд? Я решился поступить более достойно: послать вам этот рассказ вместо своего, описав, каким образом он ко мне попал, — но тут рядом со мной вырос, словно из-под земли, знакомый демон, еще более порочный обликом и державшийся еще более властно, чем прежде. Со стоном откинувшись на спинку кресла, я провел руками по векам, пытаясь навсегда стереть ненавистный образ, но тщетно. Жуткое существо приблизилось

— хотите верьте, хотите нет, — село на краешек кушетки и впервые обратило ко мне речь.

— Дурень! — сказал гость. — Над чем тут раздумывать? Смотри, в каком ты положении: взял на себя обязательство, которое должно быть исполнено, срок уже сорвал, в голове безнадежная сумятица. Предположим, до завтрашнего утра ты успеешь заполнить отведенные тебе в журнале страницы нужным количеством знаков, — но что это будет за текст? Бред, наподобие твоего августовского творения. Публика, если, паче чаяния, его увидит, решит, что ты окончательно выжил из ума; репутация будет погублена. С другой стороны, если завтра рассказ не отослать, с «Лентяем» придется распрощаться. У них вышел анонс, среди их известных авторов фигурируют твое имя и портрет. Думаешь, редактор и владелец журнала посмотрят сквозь пальцы на твой провал?

— С учетом моих прежних заслуг, почему бы и нет, — возразил я. — Я еще ни разу их не подводил.

— Именно поэтому они не станут с тобой церемониться. Ты числился среди немногих, кому можно поручить чуть ли не любую работу, о ком говорили: «У него голова отлично варит», — и

после этого *тебя* отпустят с миром? Ха! Неужели непонятно: именно потому, что ты всегда был безотказен, тем больше вопросов вызовет твой нынешний отказ!

— Но где же выход? — спросил я. — Чего не могу, того не могу, вот и все дела.

— Можешь. У тебя в руках рассказ. Подумай, что он тебе принесет. Это вещь из разряда нетленных…

— Так ты прочитал?

— А ты нет?

— Да, но…

— Это одно и то же. — Он ухмыльнулся и глумливо передернул плечами. — Мы с тобой неразделимы. Разве ты не рад? — добавил он со смехом, на который откликнулись болью все мои нервы. Я был слишком ошеломлен, чтобы ответить, и демон продолжил: — Рассказ из разряда нетленных. Мы оба это понимаем. Опубликуешь под своим именем — и оно будет жить в веках. Собственные произведения дают тебе лишь прижизненную славу, через десяток лет после твоей смерти тебя никто даже не вспомнит, разве что ты полностью подчинишься мне — и тогда место в истории тебе будет обеспечено, но только едва ли в истории литературы.

Вновь раздался его язвящий нервы смех, и я, отгораживаясь от страшного видения, зарылся лицом в подушки.

— Странно, — заметил гость. — То, что ты называешь своим добропорядочным «я», боится посмотреть мне в глаза! Как же ошибаются те, кто говорит: не доверяй человеку, который избегает твоего взгляда! Они принимают наглость за признак честности; вообще, ничего на свете нет смешнее, чем человеческие понятия о порядочности. Но торопись, времени мало. Завладей этим рассказом. Автор сам его тебе отдал. Умолял использовать по своему усмотрению. Он твой. Он сделает тебе репутацию и спасет положение. И ты еще колеблешься?

— Нет, это невозможно! — в отчаянии выкрикнул я.

— Ты должен — подумай о своих детях. А если ты потеряешь работу в журнале?

— Но ведь это преступление.

— Ничего подобного. Кого ты ограбишь? Человек пришел добровольно и сам отдал тебе рассказ. Подумай трезво… и действуй, но только поскорее. Уже полночь.

Искуситель поднялся и отошел в дальний конец комнаты, где стал делать вид, будто рас-

сматривает книги и картины, но на самом деле исподтишка сверлил меня взглядом, в котором сквозила воля, вынуждавшая совершить ненавистный мне поступок. А я… я слабо сопротивлялся, но мало-помалу стал терять решимость и наконец сдался окончательно. Вскочив с кресла, я кинулся к столу, схватил ручку и подписал рассказ своим именем.

— Ну вот, — вздохнул я. — Дело сделано. Работа при мне, слава при мне, и теперь я вор!

— И к тому же дурак, — хладнокровно заключил мой собеседник. — Ты что, собираешься послать рукопись как есть?

— Боже правый! Какую еще работенку ты для меня приготовил на последние полчаса?

— Веди себя как разумный человек, — призвал демон. — Если ты отошлешь эту рукопись Карьеру, он сразу поймет, что она не твоя. Почерк не твой, а секретаря, который писал бы под диктовку, у тебя нет. Сделай копию.

— Верно! — осознал я. — У меня сегодня мозги не на месте. Последую твоему совету.

И я последовал. Достал блок бумаги, ручку, чернила и три часа усердно переписывал. Закончив работу, тщательно ее проверил, внес несколько мелких поправок, поставил подпись, положил

рукопись в конверт, написал ваш адрес, наклеил марку, пошел к почтовому ящику на углу, сунул конверт в прорезь и вернулся домой. Гость по-прежнему находился в библиотеке.

— Послушай, — сказал он, — мне бы хотелось, чтобы ты поскорей закончил это дело. Я устал и хочу распрощаться.

— Рад бы хоть сейчас, — ответил я, складывая листы оригинала, чтобы спрятать их в стол.

— Не похоже, — ухмыльнулся демон. — Я тоже рад бы, но ты еще не уничтожил рукопись. Пока она цела, сохраняется свидетельство того, что ты присвоил себе чужой труд. Неужели не понятно? Сожги ее!

— Ну да, преступник из меня никакой! — огрызнулся я. — В этом деле опыт надобен.

И все же, должным образом оценив его совет, я сунул листы, один за другим, в камин с тлеющими поленьями и следил за пламенем, пока вся рукопись не превратилась в золу. Когда последний лист исчез среди угольков, пропал и демон. Я остался один, прилег на кушетку, чтобы немного поразмыслить, и вскоре забылся сном.

Открыл глаза я только в полдень, а через десять минут от вас поступила телеграмма.

«Приезжайте немедленно» — значилось там, и

я поехал; затем последовала страшная развязка, которой я все же был рад, потому что она очистила мою совесть. Вы дали мне в руки конверт с рассказом.

— Это прислали вы? — прозвучал вопрос.

— Я… прошлой ночью, а скорее ранним утром. Опустил в почтовый ящик около трех.

— Я требую, чтобы вы объяснили свое поведение, — сказали вы.

— Что именно? — удивился я.

— А вы полюбуйтесь на этот так называемый рассказ. Если это розыгрыш, Терлоу, то очень скверный.

Открыв конверт, я вынул оттуда посланные листы — все двадцать четыре.

Все они были такими чистыми, словно только что покинули бумажную фабрику!

Остальное вам известно. Вы знаете, что я пытался говорить, но голос изменил мне; что, утратив власть над собой, я повернулся и опрометью кинулся за порог, а тайна осталась тайной. Вы знаете, что направили мне письмо с требованием либо дать удовлетворительное объяснение, либо отказаться от сотрудничества с журналом.

И вот, Каррьер, перед вами мое объяснение. Другого у меня нет. Тут все правда, до едино-

го слова. Умоляю мне поверить, ведь, если вы откажетесь, я утрачу последнюю надежду. Вы, наверное, потребуете от меня краткий пересказ истории, которую я, как мне представлялось, вам послал.

Но, в довершение моих несчастий, в голове у меня абсолютная пустота. Я не помню ни формы, ни содержания. Я всячески старался восстановить в памяти хоть какую-то деталь, которая придала бы правдоподобие моим словам, но увы, все было бесполезно. Захоти я схитрить, можно было бы выдумать что-то взамен, но я не хочу. Я едва не совершил бесчестный поступок; собственно, я его совершил, но благодаря загадочному повороту судьбы это пятно снято с моей совести.

Поймите меня, Каррьер, а если не сможете, то по крайней мере проявите в этот раз снисхождение. *Верьте мне,* Каррьер, прошу вас, *верьте.* Пожалуйста, не медлите с ответом.

(Подпись) ГЕНРИ ТЕРЛОУ

2

(Записка Джорджа Каррьера, редактора «Лентяя», адресованная Генри Терлоу, писателю)

Ваше письмо получено. Как объяснение оно не стоит бумаги, на которой написано, но мы

все здесь сошлись на том, что как рассказ это лучше всего, что вы до сих пор сочинили. Берем эту историю в рождественский номер. В конверт вложен чек на сто долларов.

Доусон предлагает отправить вас еще на месяц в горы Адирондак. Вы могли бы тем временем сочинить еще что-нибудь про упомянутый вами сон… что там такого происходило. Мне кажется, это плодотворная идея. Все затраты окупятся. Что вы на это скажете?

(Подпись) Неизменно ваш Дж. К.

Брэм Стокер
1847–1912
Крукенские пески

Мистер Артур Фернли Маркем, лондонский коммерсант, тот самый, что снял так называемый Красный дом близ деревушки Мэйнс-оф-Крукен, был кокни до мозга костей, а потому счел необходимым, раз он едет на лето отдыхать в Шотландию, запастись полным нарядом вождя шотландских горцев, точь-в-точь как на хромолитографиях и на сцене варьете. Как-то раз в мюзик-холле «Империя» он видел, как актер, выступавший под псевдонимом Великий Князь, — тот самый, что играл в «Короле-Буяне», — сорвал бурные аплодисменты зала в «Макслогане из Слогана» знаменитой шотландской песенкой «После хаггиса у всех пересохло в горле!». С тех пор яркий образ настоящего горского воина навеки запечатлелся в сердце мистера Маркема. И в самом деле, если бы удалось заглянуть в глубины души мистера Маркема, оказалось бы, что среди причин, по которым он решил поехать на лето в Абердиншир, на первом месте высится

колоритная фигура Макслогана из Слогана. Так или иначе, судьба была к нему в высшей степени благосклонна — по крайней мере, в вопросах, касавшихся красоты внешней, — и подсказала ему остановить свой выбор на Крукенской бухте. Это очаровательное местечко между Абердином и Питерхедом, у подножия скалистого мыса, где в Северное море вклинивается цепочка высоких опасных рифов, которые здесь называют Шпоры. Между Шпорами и Мэйнс-оф-Крукен — деревушкой, с севера укрытой от ветра утесами, — лежит глубокая бухта в окружении множества поросших травой дюн, где кишмя кишат кролики. По обе стороны от бухты высятся скалы, и, когда на красную сиенитовую породу падают рассветные или закатные лучи, выходит очень красиво. Дно у бухты песчаное, ровное, вода в отлив отступает далеко, оставляя по себе гладкий плотный песок, на котором повсюду виднеются рыбацкие снасти на опорах: в бухте промышляют лосося. В одном конце бухты громоздятся несколько валунов, которые не заливает даже во время прилива — разве что в шторм, когда через них перекатываются зеленые волны. В отлив они оголяются донизу, и рядом с ними открывается, наверное, единственный в этой части восточного

побережья участок зыбучих песков. Это полоса песка между валунами, которые покоятся на расстоянии футов пятьдесят друг от друга, но она, как и мели Гудвина, опасна только в часы прилива. Зыбун тянется в одну сторону до самого моря, а в другую — до высокого песчаного берега. На склоне холма, что вздымается за дюнами на полпути между Шпорами и Крукенским портом, и стоит Красный дом. Его кровля возвышается над пихтовым бором, окружающим дом с трех сторон, а обращенный к морю фасад полностью открыт. До самой подъездной дороги простирается ухоженный старомодный сад, а от нее в направлении берега вьется среди песчаных холмов заросший травой проселок, по которому вполне можно проехать в легком экипаже.

Промучившись тридцать шесть часов от морской болезни на абердинском пароходе «Бан Рай», шедшем из Блэкуолла, а потом еще в поезде до Йеллона и десяток миль в экипаже, члены семейства Маркем сошлись во мнении, что в жизни не видели такого прелестного уголка. Общее удовольствие было тем примечательнее, что никто из них по ряду причин не рассчитывал найти хоть что-нибудь приятное по ту сторону шотландской границы. Семья была большая,

однако торговые дела шли прекрасно, так что можно было позволить себе различные удобства, и в том числе роскошный гардероб. Новые платья у девочек Маркем появлялись с невероятной частотой — к вящей зависти их подружек и вящей радости их самих.

Артур Фернли Маркем ничего не говорил родным о своем новом костюме. Он сомневался, что у них хватит деликатности избавить его от насмешек или по крайней мере от обидных намеков, а такое Маркем воспринимал болезненно и поэтому предпочел дождаться подходящего момента, чтобы предстать перед домочадцами во всем великолепии. Он потратил немало сил на изучение всех тонкостей костюма горцев. Для этого он не раз и не два посетил магазин «Шотландка. Чистая шерсть. Опт и розница», недавно открытый в Коптхолл-корте господами Маккалумом Мором и Родериком Макду. Мистер Маркем так волновался, что неоднократно совещался с главой фирмы, — тот просил называть его просто Маккалумом, безо всяких там «мистер» и «эсквайр». Он критически осмотрел все запасы пряжек, пуговиц, брошей, ремней и украшений, обнаружил в конце концов орлиное перо достаточно величественных пропорций

и только после этого счел, что образ завершен. Но лишь когда он увидел костюм целиком — яркие краски шотландской клетки казались относительно скромными благодаря обилию серебра, — увидел брошь с самоцветами, и килт, и дирк, и спорран, — лишь тогда мистер Маркем окончательно уверился, что сделал правильный выбор. Поначалу он подумывал о тартане «Ройал Стюарт», однако отверг эту мысль, после того как Маккалум дал понять, что эта расцветка может привести к осложнениям, случись Маркему оказаться в окрестностях Балморала. Маккалум, который, кстати, говорил с заметным акцентом кокни, предложил взамен другие тартаны; но теперь, раз уж возник этот вопрос, мистер Маркем опасался, что точное воспроизведение цветовой гаммы может создать трудности, если он попадется на глаза членам клана, чьи цвета позаимствовал. В результате Маккалум согласился заказать — за счет Маркема — клетчатую ткань особой расцветки, которая не совпадала бы с уже существовавшими, но сочетала бы в себе черты разных тартанов. В основу рисунка лег «Ройал Стюарт», но в нем присутствовали намеки и на простоту узора кланов Макалистер и Оджилви, и на сдержанность цветовой гаммы кланов Бьюка-

нан, Макбет, Маклеод и Чиф-оф-Макинтош. Когда Маркему показали образчик ткани, он поначалу испугался, как бы его семейство не нашло расцветку излишне броской; однако Родерик Макду так восторгался ее красотой, что Маркем не стал возражать, и костюм отдали в пошив. Маркем решил — вполне благоразумно, — что если ткань понравилась Макду, настоящему шотландцу, значит выбор сделан правильно, тем более что младший партнер фирмы и сам был мужчина видный и любил приодеться.

Когда Маккалум получил чек — кстати, на кругленькую сумму, — то заметил:

— Я взял на себя смелость заказать ткани с запасом — вдруг вы или ваши друзья захотите пошить себе еще что-нибудь.

Маркем был очень доволен и сказал, что будет только рад, если красивая ткань, которую они создали вместе, войдет в моду, — а так, несомненно, со временем и случится. Пусть Маккалум заказывает и продает как можно больше.

Как-то вечером, когда все клерки разошлись по домам, Маркем примерил обновку у себя в конторе. Результат ему понравился, хотя и несколько напугал. Маккалум поработал на славу и не пропустил ни одной мелочи, способной подчеркнуть

грозное достоинство настоящего воина — обладателя костюма.

— Клеймор и пистолеты я, конечно, буду носить только по особым случаям, — сказал себе Маркем, раздеваясь. Он решил, что в первый раз облачится в костюм по приезде в Шотландию, — и поэтому в то утро, когда «Бан Рай» бросил якорь у маяка Гирдл-Несс, дожидаясь прилива, чтобы войти в порт Абердин, вышел из каюты во всем многоцветном великолепии нового наряда. Первое, что он услышал, была реплика одного из сыновей, который не сразу узнал отца:

— Ничего себе! Вот это да! Это же наш папаша!

Мальчишка ринулся в салон и сунул голову под диванную подушку, стараясь подавить хохот. Маркем был бывалый моряк, и качка ему не досаждала, поэтому его лицо, румяное от природы, еще больше порозовело от смущения — на него в очередной раз оказались устремлены все взоры. Он пожалел о своем отважном порыве — ведь по холодку он почувствовал, что из-под лихо нахлобученной набекрень шапочки-гленгарри виднеется плешь. Тем не менее мистер Маркем смело встретил взгляды компании незнакомцев. А услышав их замечания, не подал виду, что они его задели.

— Ох, чердак-то протекает у бедняги, — заметил кокни в пледе в огромную клетку.

— Совсем чокнутый, — сказал высокий тощий янки, бледный от качки, который дал себе слово поселиться как можно ближе к воротам Балморала.

— У меня идея! Давайте-ка выпьем по этому случаю! — воскликнул юный студент Оксфорда, направлявшийся домой в Инвернесс.

И тут до мистера Маркема донесся голос его старшей дочери:

— Где он? Где он?

И она побежала к нему по палубе — от спешки с ее головы даже слетела шляпка и болталась за спиной на лентах. Девушка была страшно взволнована, поскольку мать только что сообщила ей о состоянии отца, но, едва увидев его, она рассмеялась — да так, что смех перешел в истерику. Что-то подобное произошло и с остальными детьми. Когда все по очереди отсмеялись, мистер Маркем удалился к себе в каюту и отправил служанку жены передать всем членам семьи, что он незамедлительно хочет их видеть. Все явились, по мере сил скрывая свои чувства. Он сказал им — очень кротко:

— Дорогие мои, разве я не даю вам вдоволь

денег на расходы?

— Да, отец! — серьезно отвечали они. — Нет на свете никого щедрее!

— Разве я не разрешаю вам наряжаться как душа пожелает?

— Да, отец! — На сей раз они были несколько смущены.

— Тогда, дорогие мои, не кажется ли вам, что с вашей стороны было бы добрее и милее сдержаться и не ставить меня в неловкое положение, даже если я и впрямь выбрал наряд, с вашей точки зрения, нелепый, хотя и вполне привычный в той стране, где мы намереваемся погостить?

Ответа не было, если не считать ответом то, что дети разом понурились. Мистер Маркем был хорошим отцом, и они это знали. Довольный, он продолжал:

— Ну, теперь бегите развлекайтесь! А об этом больше ни слова.

Затем он вернулся на палубу и выстоял под шквальным огнем насмешек, как подобает воину, — нет, больше при нем никто ничего не говорил, но он чувствовал на себе ехидные взгляды.

Однако фурор, который произвел наряд мистера Маркема на борту «Бан Рай», не шел ни в какое

сравнение с тем, как его встретили в Абердине. Мальчишки, бродяги, матери с младенцами, ожидавшие под навесом на причале, так и хлынули следом, когда семейство Маркем двинулось на железнодорожный вокзал, и даже носильщики со своими старомодными узлами и новомодными тележками, ожидающие путешественника у сходней, поспешили за ним, охваченные изумлением и восторгом. К счастью, поезд на Питерхед отходил совсем скоро, так что мучение не слишком затянулось. В вагоне никто роскошного горского костюма не видел, а на станции в Йеллоне почти никого не было, так что там все прошло гладко. Но когда экипаж прибыл в Мэйнс-оф-Крукен и рыбаки с чадами и домочадцами высыпали из домов, чтобы поглядеть, кто это едет, волнению не было предела. Дети, все как один, с визгом ринулись вослед экипажу, размахивая шапками и чепчиками, мужчины побросали сети и приманку и присоединились к детям, женщины прижали к груди младенцев и тоже помчались их догонять. Лошади устали после долгого пути в Йеллон и обратно, дорога шла в гору, так что у толпы было вдоволь времени, чтобы окружить экипаж и даже забежать спереди.

Миссис Маркем и старшие дочери и рады были

бы заявить протест или как-то еще выразить досаду, охватившую их при виде издевки на лицах окружающих, однако во взгляде мнимого горца читалась такая сосредоточенная решимость, что они слегка оробели и придержали язычки. Не исключено, что орлиное перо, горделиво реявшее над лысой головой, и брошь из дымчатого топаза на пухлом плече, и клеймор, дирк и пистолеты — пусть даже они висели на поясе, охватывавшем солидное брюшко, и оттопыривали чулок, обтягивавший толстую икру, — вдруг сделались в их глазах символами грозной воинственности. Когда путешественники подъехали к воротам Красного дома, их уже поджидала целая толпа сельчан, с непокрытыми головами и в почтительном молчании, меж тем как остальные местные жители, пыхтя, взбирались на холм. Тишину нарушил лишь один голос — мужской и гулкий:

— Умереть не встать! А где же волынка?

Слуги прибыли заблаговременно, так что к приезду Маркемов все было готово. За плотным обедом забылись и все неурядицы, произошедшие в пути, и досада на прием, оказанный злосчастному костюму.

После обеда Маркем, по-прежнему в полном облачении, прогулялся по Мэйнс-оф-Крукен. Гулял

он в гордом одиночестве — по странному стечению обстоятельств, его супругу и обеих дочерей постигла тяжкая мигрень, и они, как ему сообщили, прилегли отдохнуть, утомленные дорогой. Старший сын, уже совсем взрослый юноша, ушел разведать окрестности, а один из младших как сквозь землю провалился. Третий сын, узнав, что отец зовет его пройтись, умудрился — само собой, совершенно случайно — свалиться в бочку для дождевой воды, и теперь его нужно было высушить и переодеть. А вся его одежда была еще не распакована, и на переоблачение потребовалось время.

Прогулка не принесла мистеру Маркему особого удовольствия. Ни с кем из соседей он не познакомился. Не то чтобы на улицах было мало народу — похоже, все до единого дома и домишки были обитаемы, — просто все, кого он видел, либо стояли на пороге где-то позади, либо удалялись по улице. Проходя мимо домов, Маркем различал в окнах и за приоткрытыми дверями макушки и блестящие глаза. Единственный разговор, который ему удалось завязать, никак нельзя было назвать приятным. Это был странный обмен репликами с дряхлым стариком, от которого редко слышали хоть слово, кроме разве что «аминь»

в молитвенном доме. Единственным его занятием было, похоже, сидеть с восьми утра у окошка почтового отделения и ждать прибытия почты в час дня, после чего он тащил сумку с письмами и газетами в замок местного барона. Остальное время старик проводил, сидя в порту на самом ветру, там, куда сваливали рыбьи потроха, неиспользованную наживку и кухонные отбросы и где было раздолье уткам.

Когда дурачок Тамми увидел приближавшегося мистера Маркема, он поднял глаза, которые обычно были устремлены в какую-то точку на дороге, проходившей мимо того места, где он сидел, протер их, словно бы ослепленный ярким солнцем, и прикрыл ладонью. А затем воздел руку и гневно возгласил:

— «Суета сует, сказал Екклезиаст, все — суета!» Да будет человек предостережен вовремя! «Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Человек! Человек! Суетность твоя — что зыбучие пески, которые поглотят все, что ступает на них. Остерегайся суеты! Остерегайся зыбучих песков, которые алчут тебя и в конце концов поглотят! Взгляни на себя! Узри суетность

свою! Встреться с самим собою лицом к лицу — и в тот же миг ты поймешь, как пагубна суетность твоя! Узри ее, познай ее — и покайся, покуда не поглотили тебя зыбучие пески!

После чего умолк, снова уселся и замер, как прежде, неподвижный и бесстрастный.

Как ни пытался мистер Маркем выбросить из головы вышеприведенную тираду, она его все-таки огорчила. Если бы эти слова произнес не старик, явно выживший из ума, их можно было бы списать на некое эксцентричное проявление шотландского юмора или счесть случившееся хулиганской выходкой; однако суровость услышанной им проповеди (а это была именно проповедь) делала такое толкование невозможным. Как бы то ни было, мистер Маркем твердо решил не уступать насмешникам и подумал, что, хотя он еще ни разу не видел здесь ничего похожего на килт, нужно и дальше одеваться по-горски. Вернувшись домой — меньше чем через полчаса, — он обнаружил, что все члены его семейства, невзирая на мигрень, отправились прогуляться. Мистер Маркем воспользовался их отсутствием, заперся в своей гардеробной, снял горский наряд и, надев обычный костюм из шерстяной фланели, зажег сигару и задремал. Проснулся он от звуков

шагов и голосов домочадцев, воротившихся с прогулки, и тут же снова облачился в шотландский наряд и вышел в гостиную к чаю.

До самого вечера мистер Маркем из дому больше не выходил, но после ужина (во время которого он, разумеется, был одет как обычно) опять облачился в горский костюм и отправился прогуляться к морю. К этому времени он сказал себе, что будет привыкать к новому наряду постепенно, а уж потом станет носить его везде и всюду. Взошла луна, и мистер Маркем без труда различал тропинку, вившуюся среди дюн, и вскоре очутился на берегу. Стоял час отлива, песок был твердый как камень, поэтому мистер Маркем двинулся на юг и дошел почти до края бухты. Там его внимание привлекли два огромных валуна, высившихся неподалеку от границы дюн. Дойдя до ближайшего из них, он взобрался на него и оттуда, с высоты пятнадцати-двадцати футов над песчаным простором, стал любоваться прелестным и мирным видом. За мысом Пеннифолд поднималась луна, и ее серебристый свет как раз коснулся вершины самой дальней из Шпор — до нее было три четверти мили, — а остальные скалы пребывали в густой тени. Но чем выше луна всходила над мысом, тем ярче ее свет зали-

вал остальные Шпоры, а потом мало-помалу и побережье.

Довольно долго мистер Маркем наблюдал за восходящей луной и за тем, как ее свет постепенно растекается по берегу. Затем он повернулся к востоку и стал смотреть на море, подперев подбородок рукой и наслаждаясь покоем, красотой и привольем местности. Городской шум Лондона, темень, гомон и утомительность столичной жизни остались далеко-далеко, и мистера Маркема на миг охватило ощущение высшей свободы. Он смотрел на мерцающую водную гладь, понемногу надвигавшуюся на плоское песчаное дно; вода все приближалась и приближалась — начался прилив. Но вдруг откуда-то издалека, с берега, до него донесся крик.

«Это рыбаки перекликаются», — подумал мистер Маркем и огляделся. И тут его ожидало страшное потрясение: хотя именно в этот миг на луну набежало облако, в наступившей темноте он различил на соседнем валуне самого себя — точное свое подобие. На миг его взору предстали лысая макушка и шапочка-гленгарри с огромным орлиным пером. Мистер Маркем отпрянул, оступился — и начал соскальзывать на песок между валунами. Падение его не страшило, поскольку

до песка было всего несколько футов; все мысли мистера Маркема вертелись вокруг его собственного двойника, который, впрочем, уже исчез. Он решил, что проще всего добраться до твердой земли, если просто спрыгнуть. Все это заняло не более секунды, однако мозг работает быстро, и едва мистер Маркем изготовился к прыжку, как заметил, что песок под ним, казавшийся мраморно-твердым, отчего-то всколыхнулся и подернулся рябью. От внезапного ужаса колени у него ослабели, и он самым жалким образом съехал с валуна, ободрав голые ноги. Башмаки его коснулись песка — и погрузились в него, словно в воду, и, лишь увязнув по колено, мистер Маркем сообразил, что это зыбучие пески. Он судорожно вцепился в валун, чтобы не утонуть: к счастью, там был удобный выступ, ухватившись за который он застыл в мрачном отчаянии. Мистер Маркем попытался было кричать, но у него перехватило дыхание; однако, собравшись с силами, он все же испустил громкий вопль. И снова закричал — и звук собственного голоса словно вселял в него отвагу, поскольку хватка его, как ни странно, не слабела довольно долго, хотя удерживал его на валуне исключительно слепой ужас. Но вскоре пальцы мистера Маркема начали

разжиматься, и тогда — о радость! — на его крики ответил сиплый голос откуда-то сверху.

— Ну, слава богу, вроде я не опоздал! — И на вершину валуна выбрался какой-то рыбак в огромных, до бедра, сапогах. Миг — и он понял всю опасность положения мистера Маркема и ободряюще воскликнул: «Держись, старина, я сейчас!» — пошарил и нашел выступ, в который можно было уверенно упереться ногой. Затем, ухватившись за камень сильной рукой, он наклонился, крепко взял мистера Маркема за запястье и крикнул:

— Держись за меня, старина! Держись за меня другой рукой!

Потом поднатужился как следует — и тащил, и налегал, пока мало-помалу не выволок мистера Маркема из алчной пасти зыбучих песков и не водворил благополучно на валун. Не дав ему толком отдышаться, он снова налег и, не отпуская мистера Маркема ни на миг, стащил его на слежавшийся песок по другую сторону валуна, а там уж вывел несчастного, все еще дрожавшего после пережитой страшной опасности, далеко на берег. И только там заговорил:

— Ох ты, ох ты! Насилу поспел. Если бы я не заметил тебя, дурака, да не пустился бежать, как

только тебя увидел, ты бы уже по брюхо увяз, чтоб мне пусто было! Вилли Бигри думал, ты привидение какое, а Том Макфейл клялся, что ты просто гоблин, навроде жабы; да только я им говорю — не-е, это просто тот дурачок-англичанин без царя в голове, который будто из музея восковых фигур сбежал! Я сразу решил, что ты как-то диковинно себя ведешь, по-глупому, точно не в себе, а потом сообразил: ты ж не знаешь про зыбучие пески! Кричал, чтобы предупредить тебя, а потом понял, что надо тебя вытаскивать, и прибежал. Слава богу, поспел, а уж совсем ты от тщеславия умом поехал или только наполовину — не знаю! — И при этих словах он набожно обнажил голову.

Мистер Маркем был глубоко тронут и благодарен ему за спасение от лютой смерти, но ощутил укол обиды при очередном упреке в тщеславии, и это поколебало его кротость. Он уже хотел сердито возразить, но тут его охватил священный ужас — он вспомнил предостережение того полоумного письмоносца: «Встреться с самим собою лицом к лицу — и покайся, покуда не поглотили тебя зыбучие пески!»

Тут он вспомнил и про своего двойника, и как сразу после этого он едва не ушел с головой в смертоносный зыбун. И после долгого молчания

проронил:

— Мой добрый друг, я обязан вам жизнью!

Суровый рыболов ответил со всем благочестием:

— Не-е! Не-е! Все в руках Божиих, но, как по мне, я только рад быть смиренным орудием милости Его.

— Но вы же позволите мне отблагодарить вас? — спросил мистер Маркем, схватив огромные ручищи своего избавителя и сжав их. — Сейчас мое сердце слишком переполнено, а нервы слишком потрясены, чтобы найти нужные слова, но поверьте мне — я вам очень, очень благодарен!

Было ясно, что бедняга глубоко тронут — по щекам у него текли слезы.

Рыбак ответил — с неловкой, но искренней учтивостью:

— Да, сэр! Поблагодарите меня — если это будет на пользу вашему бедному сердцу. Сдается мне, на вашем месте меня тоже потянуло бы на благодарности. Но, сэр, как по мне — так благодарности мне и ни к чему. Я и сам так рад, так рад!

Искренняя благодарность Артура Фернли Маркема впоследствии нашла и практическое выражение. Не прошло и недели, как в Крукен-

ский порт привели самый лучший рыболовецкий смэк, какой когда-либо видели в Питерхедской гавани. Смэк был оснащен всеми парусами и такелажем, не говоря уже про самые лучшие рыболовные сети. Затем капитан и команда уехали сушей, оставив жене рыбака все бумаги, подтверждавшие право собственности на судно.

Следуя с рыболовом по берегу, мистер Маркем попросил своего спутника не распространяться о том, какая страшная опасность ему грозила, ведь это лишь расстроило бы его любимую жену и детей. Он сказал, что сам предупредит семейство о зыбучих песках, и с этой целью тут же принялся расспрашивать о них. Получив в конце концов исчерпывающие, как ему казалось, сведения, он напоследок поинтересовался у своего спасителя, не видел ли тот, когда спешил к нему на помощь, на соседнем валуне вторую фигуру в точно таком же одеянии.

— Не-е, не-е! — был ответ. — Другого такого обалдуя в здешних краях нету. Да и не было со времен Джеми Флимена — того, который служил шутом у лэрда Удни. Ух, дружище, да такое бусурманское одеяние, как на тебе, в наших краях на моей памяти не видывали. И сдается мне, не для того оно, чтобы на холодных камнях рассижи-

вать, как ты там сидел. Ох, неужто ты не боишься, что схватит тебя ревматизм какой или прострел от сидения голышом на холодном камне? Я еще утром, в порту, как увидел тебя, так подумал, что мозгов-то у тебя не хватает, что ты, наверное, полудурошный какой или едиот!

Мистер Маркем не стал спорить, а поскольку они уже были близко к его дому, он пригласил рыбака выпить с ним стаканчик виски, что тот и сделал, а затем они пожелали друг другу спокойной ночи. Мистер Маркем обстоятельно рассказал домашним о зыбучих песках и упомянул, что и сам едва там не увяз.

Ночью он не мог сомкнуть глаз. Он слышал, как часы отбивают час за часом, но уснуть не сумел, как ни старался. Снова и снова вспоминался ему страшный эпизод в зыбучих песках, начиная с того момента, как дурачок Тамми нарушил свое привычное молчание, чтобы прочесть мистеру Маркему проповедь о грехе суетности и предостеречь его. Один вопрос никак не шел у него из головы: «Неужели я так тщеславен, что меня впору счесть дураком?» — и ответом на этот вопрос были слова безумного пророка: «Суета сует! Все суета! Встреться с самим собою лицом к лицу — и покайся, покуда не поглотили тебя зыбучие

пески!» Иногда ему невольно приходила в голову мысль о судьбе, — может быть, он еще погибнет в этих зыбучих песках, ведь там он уже встретился с самим собою лицом к лицу.

Лишь в предрассветных сумерках он задремал, но было ясно, что и во сне он размышлял о том же, поскольку разбудила его жена:

— Прошу тебя, спи поспокойнее! Ни о чем думать не можешь, кроме этого горского костюма, будь он неладен. Будь любезен, прекрати разговаривать во сне!

Мистер Маркем поймал себя на том, что смутно рад чему-то, как будто с него сняли какое-то тяжкое бремя, но в чем дело, он не понимал. Спросил жену, что именно он говорил во сне, и та ответила:

— Ты столько раз это повторял — святые угодники! — я наизусть затвердила: «Не лицом к лицу! Я видел орлиное перо над лысой головой! Еще есть надежда! Не лицом к лицу!» Спи, прошу тебя! Спи!

И тогда он и вправду заснул, поскольку ему подумалось, что пророчество безумного старика пока не сбылось. Он не встретился с собою лицом к лицу — по крайней мере, пока.

Рано утром его разбудила служанка: она при-

шла сказать, что у дверей его дожидается какой-то рыбак. Мистер Маркем наскоро оделся — как мог, поскольку еще не свыкся с горским костюмом, — и поспешил вниз, не желая заставлять рыболова ждать. Он был удивлен и не слишком доволен, когда обнаружил, что это не кто иной, как дурачок Тамми, который тут же открыл по нему шквальный огонь:

— Я думал сразу на почту пойти, а потом решил, что могу потратить часок, заскочить к тебе и поглядеть, как ты тут — все так же вырядился или тщеславие за ночь прошло. Вижу, урок не пошел тебе впрок. Ну что ж, твое время приближается, будь уверен! Хотя утром я обычно на работе, я буду поглядывать за тобой и дождусь, когда ты провалишься в зыбучие пески, к дьяволу в пасть! Ну, я пошел, мне работать пора!

И он зашагал прочь, оставив мистера Маркема в сильном огорчении, поскольку до него донеслось хихиканье служанок неподалеку. Он уже решил было одеться нынче как обычно, однако визит дурачка Тамми заставил его передумать. Нет, мистер Маркем всем покажет, что он не трус и от своего не отступится, а там уж будь что будет. Когда он вышел к завтраку в полном облачении воина, дети разом опустили головы, а шеи у них

изрядно покраснели. Впрочем, никто не смеялся, кроме Титуса, самого младшего из сыновей, который зашелся в безудержном кашле и был тут же выставлен за порог. Мистер Маркем не упрекал их, однако принялся разбивать яйцо с видом суровым и решительным. К несчастью, когда жена передавала ему чашку чаю, пуговица на его обшлаге зацепилась за кружевные оборки ее утреннего халата, в результате чего горячий напиток пролился бедняге прямо на голые колени. Мистер Маркем вполне естественным образом не сдержал крепкого словца, на что его жена не без раздражения заметила:

— Чего же еще ты ожидал, Артур, если вырядился в этот нелепый костюм и выставляешь себя таким идиотом? Ты к нему не привык и никогда не привыкнешь!

В ответ мистер Маркем начал было возмущенную речь: «Мадам!..» — однако продолжить не смог, поскольку теперь, раз тема была затронута, миссис Маркем вознамерилась высказать все, что накипело у нее внутри. Монолог ее был не из приятных. Жены редко следят за приятностью манер, когда хотят донести до мужей так называемые прописные истины. В итоге Артур Фернли Маркем тут же, не сходя с места, поклялся все вре-

мя пребывания в Шотландии не носить другой одежды, кроме ненавистного жене костюма. Как и подобает женщине, миссис Маркем оставила за собой последнее слово — на сей раз сопровождавшееся слезами:

— Прекрасно, Артур! Что ж, поступай как хочешь. Не стесняйся, выставляй меня на посмешище, лиши наших бедных девочек всякой возможности сделать приличную партию. Молодые люди обычно предпочитают, чтобы тесть был в своем уме! Однако я предупреждаю: рано или поздно ты дорого заплатишь за свое тщеславие, если, разумеется, не окажешься к тому времени в сумасшедшем доме или в могиле!

Не прошло и нескольких дней, как стало очевидно, что мистеру Маркему придется совершать моцион по большей части в одиночестве. Правда, дочери иногда все же выходили с ним на прогулку, в основном рано утром или поздно вечером либо в дождливую погоду, когда на улице никого не встретишь; они утверждали, что готовы гулять с отцом когда угодно, однако днем у них почему-то всегда находились причины остаться дома. Мальчиков в таких случаях было вовсе не доискаться, а что касается миссис Маркем, то она наотрез отказалась выходить с мужем из дому

зачем бы то ни было, пока он не прекратит вести себя как идиот. В воскресенье мистер Маркем оделся в обычный черный суконный костюм, справедливо рассудив, что гневу в церкви не место, однако утром в понедельник вернулся к горскому платью. К этому времени он уже горько сожалел, что мысль о подобном наряде вообще взбрела ему в голову, однако не мог сдержать британского упрямства и потому не уступал. Дурачок Тамми навещал его ежеутренне, а когда не удавалось увидеть самого хозяина или передать ему весточку, заходил еще и днем, после того как доставлял почту, и поджидал, когда тот покажется. И ни разу не упускал случая предостеречь мистера Маркема от проявлений тщеславия, в тех же словах, что и в первую их встречу. Довольно скоро мистер Маркем начал считать его сущим бедствием.

К концу недели вынужденное одиночество, постоянная обида и беспрестанные размышления, ими вызванные, несколько подорвали здоровье мистера Маркема. Из гордости он не говорил об этом домашним, поскольку они, как ему казалось, обращались с ним очень скверно. Кроме того, по ночам он не мог уснуть, а если удавалось задремать, видел дурные сны. Чтобы убедиться,

что мужество его не оставило, он взял себе за правило ежедневно наведываться к зыбучим пескам и бывал там почти каждый вечер перед сном. Возможно, именно из-за этой привычки зыбучие пески и пережитые в них опасности так часто появлялись в его снах. А сны становились все ярче — и вот уже временами, пробуждаясь, мистер Маркем сомневался, не ходил ли он и в самом деле на то роковое место. Иногда он опасался, что стал лунатиком.

Как-то ночью он увидел настолько яркий сон, что, проснувшись, не мог поверить в его нереальность. Он закрывал глаза снова и снова, и каждый раз ему представало видение, если то было видение, или явь, если то была явь. Он приближался к зыбуну, сияла полная желтая луна, было видно полосу света, неверного, колеблющегося, полного черных теней, — это жидкие пески, как им и положено, колыхались, дрожали, подергивались рябью, вздымались и опадали, потом опять замирали неподвижно, словно мрамор. Мистер Маркем приблизился — и ему навстречу точно такой же поступью вышла с противоположной стороны другая фигура. Мистер Маркем увидел, что эта фигура — точное его подобие, он сам, и, онемев от ужаса, влекомый неведомой силой,

двинулся к своему второму «я», как будто под воздействием гипноза или месмеризма, зачарованный, словно птичка под взглядом змеи. А когда ощутил, как смыкаются над ним вязкие пески, проснулся в смертной муке, дрожа от страха, и, как ни странно, в ушах у него гремело пророчество местного дурачка: «Суета сует! Все суета! Встреться с самим собою лицом к лицу — и покайся, покуда не поглотили тебя зыбучие пески!»

Он был настолько уверен, что это не сон, что, невзирая на ранний час, встал и, потихоньку одевшись, дабы не потревожить жену, отправился на берег. Сердце у него упало, когда он увидел на песке цепочку следов — несомненно, его собственных. Знакомый широкий каблук, знакомый квадратный носок… Теперь он точно знал, что и в самом деле побывал здесь, и наполовину в ужасе, наполовину в сонном оцепенении двинулся по следам и обнаружил, что они теряются на краю коварных зыбучих песков. Это до глубины души потрясло мистера Маркема, поскольку никаких других следов на песке не было, обратно никто не прошел, и он почувствовал, что здесь таится какая-то ужасная тайна, разгадать которую ему не под силу, — более того, он опасался, что раз-

гадка погубит его.

В этих обстоятельствах он совершил две ошибки. Во-первых, он ни с кем не стал делиться своей бедой, и, поскольку никто из домашних ни о чем не подозревал, самые невинные слова и случайные обмолвки лишь подливали масла в беспощадный огонь его разыгравшегося воображения. Во-вторых, он взялся за книги, посвященные загадкам снов и других психических феноменов, а в результате каждый плод неуемной фантазии каждого шарлатана или полубезумного философа превращался в живого червя тревоги в плодородной почве его расстроенного рассудка. И вот недостаток одного и избыток другого привели к общему результату. Не в последнюю очередь виноват в этом был дурачок Тамми, который неизменно появлялся у ворот Красного дома в определенные часы. Через некоторое время мистеру Маркему стало интересно, кем был раньше этот странный человек, он начал осторожно расспрашивать о нем — и вот что выяснилось.

Местные жители считали, что дурачок Тамми — сын лэрда из какого-то графства на побережье Ферт-оф-Форта. Первоначально его прочили в священники и даже успели дать ему начатки соответствующего образования, однако по никому

не известной причине он внезапно отказался от духовной стези, отправился в Петерхед, где в те годы процветал китобойный промысел, и нанялся китобоем. Там он и оставался почти неотлучно несколько лет, делаясь с течением времени все более молчаливым и скрытным, так что в конце концов прочие моряки невзлюбили слишком замкнутого товарища и ему пришлось искать место на других рыболовецких смэках северного флота. Он прослужил рыболовом много лет, пользуясь репутацией человека «с придурью», однако со временем осел в Крукене, где местный лэрд, несомненно осведомленный о его семейной истории, дал ему работу, превратившую его, по сути дела, в пенсионера.

Обо всем этом мистеру Маркему рассказал священник, напоследок добавив:

— Очень странно, конечно, но у этого человека, похоже, какой-то необыкновенный дар. То ли «второе зрение», в которое так склонны верить мы, шотландцы, то ли какая-то другая оккультная форма знания — судить не берусь, но в наших краях, когда случается беда, местные жители всегда припоминают, что он ее так или иначе предсказал. Едва запахнет смертью, он становится просто сам не свой, места себе не находит

— как будто просыпается, право слово!

Это ничуть не умерило опасений мистера Маркема, напротив, пророчество старика еще основательнее засело у него в памяти. Из всех прочитанных книг, посвященных новому предмету изысканий мистера Маркема, сильнее всего его заинтересовал немецкий труд под названием «Die Doppelganger»[15] доктора Генриха фон Ашенберга, в прошлом жителя Бонна. Из этого сочинения мистер Маркем впервые узнал о случаях, когда человек вел двойную жизнь и две его личности никак не зависели друг от друга: одна часть души всегда населяла реальное тело, вторая — его подобие. Нечего и говорить, что мистер Маркем сразу решил: эта теория в точности описывает его случай. Он видел собственную спину в ночь спасения из зыбуна, видел собственные следы, уходившие туда без возврата, а дурачок Тамми предрек, что он встретит самого себя и погибнет в зыбучих песках, — все это лишь подкрепляло убежденность мистера Маркема в том, что он — наглядный пример такого двойника. Теперь, узнав, что ведет двойную жизнь, он предпринял попытку доказать свою удивительную природу

[15] Примечания: 15
«Двойник»(нем.).

хотя бы самому себе. С этой целью он однажды вечером перед отходом ко сну написал свое имя мелом на подметках башмаков. Той ночью ему снова привиделись зыбучие пески, приснилось, как он туда ходил, да так живо и ярко, что, пробудившись на заре, он не мог поверить, что не был там на самом деле. Он встал, не потревожив жену, и нашарил башмаки.

Надписи мелом не стерлись! Мистер Маркем оделся и тихонько прокрался наружу. На сей раз был отлив, поэтому он миновал дюны и вышел на берег по ту сторону зыбучих песков. И — о ужас! — обнаружил там собственные следы, безвозвратно уходившие в бездну!

Домой он вернулся в печали и унынии. Просто в голове не укладывалось, как это он, немолодой коммерсант, проживший долгую, не слишком бурную жизнь, посвященную решению деловых вопросов в шумном, прагматичном Лондоне, очутился в самой гуще ужасных тайн и обнаружил, что ведет двойное существование. О своей беде он не мог рассказать даже собственной жене, поскольку прекрасно знал, что она тут же потребует полного отчета о второй, неведомой ей жизни и перво-наперво не только навыдумывает себе всевозможных историй о его изменах, но и обви-

нит его в них. Поэтому он все глубже погружался в молчаливые размышления. Как-то вечером — был отлив, сияла полная луна — мистер Маркем сидел в ожидании ужина, когда служанка доложила, что дурачок Тамми шумит на крыльце, поскольку его не пускают к хозяину. Мистер Маркем возмутился до глубины души, но, не желая, чтобы у служанки создалось впечатление, будто все это хоть сколько-нибудь его пугает, велел позвать Тамми. Тот вошел — его поступь была тверже обычного, голова гордо поднята, в глазах, обычно опущенных, — пламенная решимость. И с порога заговорил:

— Вот зашел повидать тебя еще разок — еще разок, а ты тут рассиживаешь, что твой попугай на жердочке. Что ж, я тебя прощаю! Запомни — я тебя прощаю!

И, не проронив больше ни слова, повернулся и вышел за дверь, оставив хозяина в безмолвном возмущении.

После ужина мистер Маркем решил нанести очередной визит к зыбучим пескам — он и самому себе не признался бы, что идти ему страшно. И вот около девяти вечера он в полном облачении зашагал к берегу и, миновав пески, присел на выступ у подножия ближнего валуна. За спиной

у него была полная луна, и ее свет заливал бухту, подчеркивая все детали — и пенную кайму, и черный силуэт мыса, и опоры с неводами. В ослепительном желтом сиянии окна в Крукенском порту и в далеком замке лэрда мерцали, будто звезды в небесах. Довольно долго мистер Маркем сидел и упивался красотой местности, и душу его объял покой, какого он не знал уже много дней. Все мелочные обиды, все глупые страхи последних недель словно испарились, и на смену им пришло невиданное неземное спокойствие. В таком настроении — благостном и серьезном — мистер Маркем трезво взглянул на свои недавние поступки, и ему стало стыдно за собственное тщеславие и последующее упрямство. И он тут же дал себе слово, что это последний раз, когда он надел наряд, отдаливший его от родных и близких и принесший ему столько огорчений и мук.

Но едва он пришел к этому выводу как внутри него заговорил другой голос — и с насмешкой спросил, представится ли ему еще когда-либо случай снова надеть это платье: быть может, уже поздно, он избрал свой путь и теперь должен дойти до конца.

— Нет, не поздно! — тут же ответило его лучшее «я», и в глубокой задумчивости мистер Маркем

поднялся, чтобы вернуться домой и поскорее сорвать с себя ставший ненавистным наряд. Напоследок он еще раз окинул взглядом прелестный вид. Лунный свет был прозрачен и нежен, смягчал контуры скал, деревьев и крыш, делал тени бархатисто-черными и точно белым пламенем высвечивал приливные волны, которые, наползая со всех сторон, окаймляли гладь песка. Затем мистер Маркем ступил с камня на берег.

Но тут он содрогнулся от ужаса, кровь бросилась ему в голову, и свет полной луны на миг померк перед его глазами. Он снова увидел своего рокового двойника — тот двигался за полосой зыбучих песков к берегу от валуна напротив. Потрясение было тем сильнее, что за миг до того мистер Маркем наслаждался миром и покоем, и теперь, едва не лишившись чувств и оцепенев от страха, он стоял и смотрел на свое роковое подобие и на рябь, пробежавшую по поверхности зыбуна, который словно заворочался и потянулся к чему-то между валунами. На сей раз ошибки быть не могло: хотя луна находилась позади двойника и его лицо оставалось в тени, мистер Маркем смог разглядеть те же гладко выбритые щеки, что и у него самого, и маленькие колючие усики, которые он отпустил несколько недель

назад. Яркое сияние заливало и великолепный тартан, и орлиное перо. Поблескивали даже проплешина сбоку от шапочки-гленгарри, топазовая брошь на плече и серебряные пуговицы. Мистер Маркем глядел на все это и вдруг почувствовал, как ноги у него тонут в песке, — ведь он еще не отошел от края коварной полосы — и поспешно отступил. В тот же миг его двойник сделал шаг вперед — и расстояние между ними осталось прежним.

И вот они стояли друг против друга, словно под властью какого-то жуткого наваждения, и сквозь биение крови в ушах до мистера Маркема словно бы донеслись слова пророчества: «Встреться с самим собою лицом к лицу — и покайся, покуда не поглотили тебя зыбучие пески!» Теперь мистер Маркем встретился с собою лицом к лицу, покаялся — но тонет в зыбучих песках! Сбылись и предостережение, и пророчество!

Над головой у него закричали чайки, кружившие над кромкой приливной волны, и этот крик, такой земной, заставил мистера Маркема опомниться. В мягкий песок ушли лишь подошвы, и потому он смог отбежать на несколько шагов назад. Но при этом его двойник шагнул вперед — и, угодив в смертоносную пасть зыбуна, начал

тонуть. Мистеру Маркему казалось, что это его самого настигла десница судьбы, и, охваченный мукой, он испустил страшный вопль. И тотчас такой же страшный вопль испустил и его двойник — а когда мистер Маркем воздел кверху руки, то же самое сделала и фигура напротив. Глазами, полными ужаса, смотрел мистер Маркем, как его второе «я» вязнет в зыбучих песках, а затем, сам не зная почему, тоже шагнул вперед, навстречу судьбе. Но когда ногу уже начало засасывать, он снова услышал крики чаек, и это избавило его от оцепенения и вернуло способность думать и чувствовать. Поднатужившись, мистер Маркем вытащил ногу из песка, который словно вцепился в нее — башмак увяз, и его пришлось бросить, — а потом в полном ужасе бросился бежать подальше от этого места и не останавливался, покуда совсем не запыхался и силы не оставили его, после чего в полуобмороке рухнул на заросший травой проселок среди дюн.

Артур Маркем решил не рассказывать близким об этом кошмарном приключении, по крайней мере до тех пор, пока окончательно не придет в себя. Теперь, когда его рокового двойника, его второе «я», поглотили зыбучие пески, к нему понемногу возвращался прежний душевный

покой.

В ту ночь он прекрасно выспался и никаких снов не видел, а наутро снова стал самим собой, таким, каким был раньше. И вправду казалось, что его новое, худшее «я» исчезло навсегда, — к тому же, как ни странно, и дурачка Тамми не было утром на посту, и больше он не приходил, а сидел себе на старом месте, глядя, как прежде, в никуда тусклыми глазами. Следуя принятому решению, мистер Маркем больше не надевал шотландского платья, а однажды вечером связал его в узелок вместе с килтом, клеймором, дирком и всем прочим и, тайком принеся на берег, забросил в зыбучие пески. С превеликим наслаждением он наблюдал, как узелок засасывает в пучину и как песок смыкается над ним и снова становится гладким, словно мрамор. Затем мистер Маркем вернулся домой и весело объявил домочадцам, собравшимся к вечерней молитве:

— Ну, дорогие мои, спешу вас обрадовать: я отказался от мысли носить горское платье. Теперь я вижу, каким я был тщеславным старым дураком и в какое нелепое положение себя поставил! Больше вы его не увидите!

— А где оно, отец? — спросила одна из дочерей. Нужно сказать хоть что-то, сообразила она,

дабы самоотверженное признание отца не было встречено полным молчанием. Ответ мистера Маркема был так чудесен, что девушка вскочила с места, подбежала и расцеловала его. Вот что он сказал:

— В зыбучих песках, моя радость! Надеюсь, вместе с ним туда кануло и мое худшее «я» — на веки вечные.

Остаток лета, которое семейство провело в Крукене, прошел в высшей степени чудесно, а по возвращении в Лондон мистер Маркем совсем забыл об этом случае и обо всем, что было с ним связано. Но в один прекрасный день ему пришло письмо от Маккалума Мора, заставившее его о многом задуматься, хотя он ничего не стал говорить домашним, а на письмо, по некоторым причинам, не ответил. Вот что говорилось в письме:

«Маккалум Мор и Родерик Макду
Шотландка.
Чистая шерсть. Опт и розница
Коптхолл-корт, Истерн-Сентрал,
30 сентября 1892 года
Дорогой сэр!

Надеюсь, Вы простите мне эту вольность, но я пишу к Вам, чтобы навести некоторые справки.

Насколько я знаю, это лето Вы провели в Абердиншире (Шотландия, Северная Британия). Мой компаньон мистер Родерик Макду (так он значится в наших документах и рекламе исходя из деловых соображений, настоящее же его имя Эммануэль Мозес Маркс из Лондона) в начале прошлого месяца отправился в Шотландию (Северная Британия) отдохнуть, но, поскольку с тех пор я получил от него весточку лишь один раз, вскоре после его отъезда, меня тревожит, не постигло ли его какое-то несчастье. Я наводил справки везде, где только мог, однако никаких сведений не получил и поэтому осмелился обратиться к Вам. Письмо мистера Макду было написано в состоянии глубокого уныния; он опасался, что его настигло возмездие за стремление выдать себя за шотландца на шотландской земле, поскольку вскоре после прибытия он лунной ночью видел собственный «призрак». Он, несомненно, имел в виду, что перед отъездом заказал себе горский костюм, очень похожий на тот, который мы имели честь изготовить для Вас, — вероятно, Вы помните, какое сильное впечатление произвел этот наряд на моего компаньона. Однако мистер Макду, вероятно, не стал носить его, так как, насколько мне известно, робел показываться в нем

в обществе и даже признался, что поначалу станет облачаться в него лишь рано утром и поздно вечером, да и то в местах безлюдных, дабы постепенно привыкнуть к нему. К сожалению, он не посвятил меня в подробности своего маршрута, и я совершенно не представляю себе, где он может в настоящее время находиться. Посему я осмеливаюсь спросить: может быть, Вам приходилось видеть или слышать, что где-то в тех краях, где Вы, насколько я знаю, недавно приобрели имение, в котором останавливались летом, появился человек в таком же горском наряде, как Ваш? Ответа на это письмо я жду лишь в том случае, если Вы можете снабдить меня какими-то сведениями о моем друге и партнере, поэтому, прошу Вас, не утруждайте себя без причины. Смею думать, что он, вероятно, побывал где-то неподалеку от Вас, так же, хотя он и не указал в своем письме день и месяц, на конверте стоит штемпель «Йеллон», а это, насколько мне известно, в Абердиншире и поблизости от Мэйнс-оф-Крукен.

Засим остаюсь искренне Ваш, дорогой сэр,

Джошуа Шини Коэн Бенджамин (Маккалум Мор)».

Фрэнсис Мэрион Кроуфорд
1854–1909
Человек за бортом!

О да, с мальчишеских лет много раз я слышал крик «Человек за бортом!», и однажды или дважды несчастье произошло на моих глазах. Если бы только знали пассажиры океанских пароходов, сколько вот так погибло народу!

Стою я как-то темной ночкой у фальшборта, гляжу на волны и слышу рядом шаги, и вдруг шуррр! — кто-то проносится над моей головой громадным черным нетопырем. С кочегарами такое случается — одуреет парень от жары у себя в машинном, поскользнется на палубе — и бултых! Ежели это произойдет без свидетелей, поминай как звали бедолагу. Нередко за борт улетают и пассажиры, но у них, как правило, есть на то причины, которые им кажутся весьма важными. При мне пассажир разрядил в толпу эмигрантов револьвер, а после сиганул через планшир что твоя ракета. Ясное дело, любой уважающий себя начальник постарается спасти упавшего — конечно, в смирную погоду, без риска для судна.

Но на моем веку вырученных было двое-трое, не больше. Обычно же удавалось вернуть спасательный круг, изредка шапку. Да, кочегары и пассажиры за борт падают, однако я не припомню, чтобы их судьбу разделил матрос, будь он даже в стельку пьян. Говорят, на судах с плеточной дисциплиной бывают самоубийства, но при мне ничего такого не происходило. Был случай, человека достали из воды слишком поздно и он еще в шлюпке отдал Богу душу… Впрочем, это давняя история; наверное, я ее уже рассказывал. С тем парнем я был знаком, да только мертвым его не видел. Из нашей команды лишь один матрос присутствовал при несчастье, он-то и поведал остальным.

Ты не думай, я тебя не травлей моряцкой потчую. В этой были нет акул-людоедов и тому подобных страстей. Да и вряд ли я бы затеял ее вспоминать, кабы с нами тут сидел кто-нибудь еще. Mbi-то с тобой все моря избороздили, а потому, надеюсь, ты мне поверишь. Да и знаешь прекрасно, что за свои слова я отвечаю и попусту языком не мелю. Уже давно подмывает выложить тебе все как на духу, с того дня, когда случилось самое ужасное, вот только возможности такой до сих пор не выпадало.

Рассказ будет длинным, потому как история эта тянулась долго и началась много лет назад; а месяц, ежели память не подводит, был октябрь. Служил я в ту пору старпомом — это уже потом, через три года, прошел здешнюю морскую комиссию и получил сертификат судоводителя. Шхуна наша звалась «Элен Б. Джексон», порт приписки — Нью-Йорк. Капитаном был Хэкстафф, и направлялись мы в Вест-Индию с грузом леса. Четырехмачтовая «Элен Б.» уже тогда была пережитком — без парового осла, все вручную.

Но в те времена, как ты помнишь, парусники еще годились для каботажной торговли. Порядки на судне я бы не назвал суровыми, наш старик был добрей большинства шкиперов, даром что себе на уме и с физиономией как трубный ключ. В команде нас было на круг тринадцать, и впоследствии кое-кто пенял на это обстоятельство. Но только не я — из меня еще в детстве выбили всю эту дурь. Не стану лгать, будто мне в пятницу выйти в рейс — что плюнуть, но доводилось и по пятницам отчаливать, и ничего, возвращался живехонек и здоровехонек. Да и в чертовой дюжине я уже бывал дважды, и неприятностей не случалось, не считать же таковыми утрату пары рангоутных брусьев да нескольких кусков

парусины. А все мои кораблекрушения распрекрасно обошлись без пятниц, чертовых дюжин и покойников в трюме. Сдается мне, обычно так и бывает, суеверия не оправдываются.

Осмелюсь предположить, что ты не забыл тех парней, братьев Бентон, похожих как две капли воды? В таком сходстве нет ничего удивительного, коли речь идет о близнецах. На старушке «Бостонской красотке» они служили юнгами. Помнишь, ты там был помощником капитана, а я простым матросом? Еще тогда они для меня были на одно лицо, а потом отпустили бороду, и я напрочь лишился надежды отличить их друг от друга. Братьев звали Джим и Джек — Джеймс Бентон и Джон Бентон. Единственная разница, какую я сподобился углядеть: кто-то из них обладал нравом чуть более веселым и общительным. Но и в этом нет уверенности. Может, у обоих менялось настроение. Да, вот еще: за одним водилась привычка насвистывать наедине с собой «Нэнси Ли». Только эту мелодию он и выучил, а его братец не знал вообще никаких. Впрочем, и тут я могу заблуждаться. Нельзя исключать, что и второй знал «Нэнси Ли».

Ну так вот, эти ребята, Бентоны, завербовались на «Элен Б. Джексон». После «Бостонской красот-

ки» они ходили на полудюжине парусников; из них получились отменные моряки. Синеглазые, веснушчатые, рыжебородые парни прекрасно ладили с командой и споро управлялись с оснасткой, а за штурвалом им не было равных. Они были в левой вахте, как и я, и на обоих я всегда мог положиться. Нужно поработать наверху вдвоем — братья без приказа кинутся к вантам; впрочем, на судне с косыми парусами такая необходимость возникает нечасто. Когда крепчает ветер и надо убрать фор-стень-стаксель, ребята не боятся промокнуть — глядишь, оба уже лезут на бушприт, не дожидаясь, когда кто-нибудь внизу возьмется за нирал. Матросы любили братьев за трудолюбие и смелость, а еще за то, что они не хвалились своими навыками. Помню, как-то раз при рифлении бизани с нок-бензельного угла сорвался нирал. Море успокоилось, и мы отдали рифы, забыв при этом про трос, но потом спохватились: он должен был вскоре понадобиться. Свежеет, а у нас гик не закреплен и гафель ходуном ходит. Один из этих молодцов стоял у штурвала, и я моргнуть не успел, как второй вскарабкался на гафель, на самый его нок. Рулевой глядит ни жив ни мертв, белый точно молоко, как брат мотается вместе с гафелем, и до чего же

сильно его швыряет под ветер — обезьяной надо быть, чтобы не сорваться. Но он продержался, пока не заправил в блок новый трос, а потом благополучно слез. Вроде у штурвала был Джек — весельчак, который «Нэнси Ли» насвистывал. Ох и натерпелся же он страху! Кабы не стоял у руля, сам полез бы на гафель вместо Джима. Но «Элен Б.» он вел ровно, насколько позволяла волна, и перевел дух, только когда Джим перебрался к блоку дирик-фала; там было за что держаться. Да, я думаю, на бизани был Джим.

Ни разу я не видел этих ребят на палубе грязными, в худой одежке. Знал, что нет у них ни матери, ни сестер, ни жен, но как-то удавалось им блюсти опрятность, словно дома их обихаживала женская рука. Помнится, был у Бентонов один на двоих матросский баул, а в нем хранился наперсток. Кто-то что-то сказал об этом братьям, и они переглянулись, и один улыбнулся, а другой — нет. Платье они носили одинаковое, но была у них красная шерстяная фуфайка, которую надевали попеременно. Мне поначалу казалось, что в фуфайке ходит только один; вот по ней-то, решил, и буду их различать. Ан нет — однажды услышал, как брат просит ее у второго, мол, теперь его очередь. Так что не осталось вовсе никаких

признаков.

Наш кок Джеймс Лоули был родом из Вест-Индии. Его папаша увешивал фонариками кокосовые пальмы на берегу, причем не только в праздники; за это его и вздернули. Но дело свое Джеймс знал отменно и не кормил нас по воскресеньям похлебкой из тушенки и гороховой кашей. Так вот к чему я вспомнил этого кока: он по воскресеньям обоих парней звал Джимами, а по будням — Джеками. И говорил, что иногда угадывает — вроде того, как нарисованные на стенке часы дважды в сутки показывают верное время.

Однажды вроде бы появился способ различать Бентонов, когда я подслушал их беседу о девушке. Дело было вечером, в нашу вахту. Нежданно-негаданно окреп ветер, мы набили кливера, а потом спустили топсели. Братья Бентон находились на корме — один стоял у штурвала, другой натягивал бизань-шкот. Собственноручно уложив в бухту нирал крюйс-топсели, я пошел на корму проверить, как мы идем. Прислонясь к ходовой рубке, я посмотрел на маяк. И, пока там стоял, услышал обрывок разговора. Похоже, тема обсуждалась не впервые, и голос, раньше достигший моих ушей, вроде принадлежал невеселому брату — который в конце концов оказался Джимом.

— Мейми знает? — спросил Джим.

— Еще нет, — тихо ответил Джек, несший вахту у штурвала. — Вот вернемся домой, скажу ей.

— Понятно.

А больше я ничего не услышал, потому как решил: негоже топтаться рядом, пока ребята обсуждают свои дела. Я подошел к нактоузу, глянул на компас и велел рулевому так держать. Шхуна идет ровно, ветер, похоже, скоро уймется, а с подветренной стороны виден берег. Парень ответил, и вроде не подтвердилась моя догадка: голос звучал невесело. Может быть, братья сменились у штурвала, пока шел разговор? Судя по услышанному мною обрывку беседы, у одного из них на берегу девушка. Интересно, у кого именно? В хорошую погоду на шхуне предостаточно досуга для подобных гаданий.

И тут я заметил, что разговор вдруг увял. Замкнулись братья при моем появлении, заподозрив, что я услышал лишнего. Кто другой на моем месте, просто развлечения ради, попытался бы вытянуть из них секрет; пожалуй, смог бы и я, разговорив близнецов отдельно друг от друга, узнать, кого из них ждет зазноба. Да только не лежала у меня душа к подобным забавам. В ту пору я сам подумывал о женитьбе, а потому со-

чувствовал парню по-приятельски.

Я давно приметил, что Бентоны мало разговаривают между собой. Зато они были дружны: на ночной вахте, когда заняться особо нечем, один стоял у штурвала, а второй непременно ошивался рядом, будто ждал возможности подменить рулевого, хотя мог бы преспокойно дрыхнуть — в хорошую погоду я на такое смотрел сквозь пальцы. А ежели один на баке впередсмотрящим, то второй рядышком сидит на якоре. Днем точно нитка с иголкой, а ночью так и вовсе не разлей вода. Любили они на якоре посиживать и под ним хранили свои трубки, поскольку бак крайне редко захлестывало волной, и вообще наша «Элен Б», как и любой парусник с косым вооружением, куда лучше шла крутым бейдевиндом, чем по ветру. При бортовой волне, бывало, нам заливало корму. Случилось такое и в том приснопамятном рейсе, потому-то и потеряли мы матроса.

Мы попали в зюйдовый ураган. Вначале ветер дул с юго-востока и падал барометр, пока удавалось за ним следить, а потом с юга на нас покатился вал. Проходи мы там парой месяцев раньше, угодили бы в циклон, но в тех водах «конец октябрю — конец бедам», ты это не хуже меня знаешь. Ну подует изредка, ну дождик выпадет

— и вся недолга. Времени было вволю, и мы, пока ветер не окреп, успели все лишнее убрать да принайтовить. С закатом резко посвежело, а к тому часу, когда стемнело вовсе, ураган успел набрать полную силу. На корме у нас вместо штормового триселя стояла вглухую зарифленная бизань — так шхуна лучше слушалась руля, коль не было надобности дрейфовать.

Первую вахту я нес вместе с Бентонами. Уже через час стало яснее некуда: буря разыгрывается не на шутку.

На палубу поднялся наш старик. Осмотрелся, покумекал с минутку и велел ставить трисель. Значит, ложимся в дрейф. А я тому и рад: «Элен Б.» — шхуна неплохая, но уже далеко не новая, не на пользу ей галсы в такой шторм. Я предложил свистать всех наверх, но тут на корму пришел кок, и старик решил: сами справимся, не надо никого будить. Вдобавок трисель уже лежал на палубе, мы ведь не ждали улучшения погоды. Само собой, все надели штормовки. Ночь была черна, как угольная копь; единственный лучик света исходил из нактоузного окошка; различать людей я мог лишь по голосам. Пока мы крепили гик вдоль продольной оси судна, старик держал штурвал, и вскоре ему удалось прочно поставить

шхуну на ветер. Дуло уже изрядно, и мы с коком как могли обтягивали трисель-нирал, а братья поднимали парус за углы. Потом все вместе брали его в два рифа. Оно, конечно, в хорошую погоду это детская задачка по сравнению с рифовкой топселя, но и мокрый трисель убавлять при таком ветре — адов труд. Снасти шхуны в шторм очень капризны и горазды на сюрпризы, и эти проклятые бесконечные фалы так и норовят вырваться из рук, зацепиться и запутаться. Ох и намучились мы в тот вечер! Кто-то из Бентонов спустил блок гафель-гардели, чтобы подцепить его гаком пятку гафеля, но в потемках промахнулся и слишком рано крикнул: «Выбирай!» Вздернутая железяка улетела к подветренным снастям и, разогнавшись на обратном пути, чуть не зашибла парня насмерть. Потом мы уваливались под ветер, пока кливер не захлопал с оглушающей силой. Тогда старик положил руль прямо, и, едва наполнились передние паруса, шхуна рванула вперед; уже нельзя было без бизани вернуться на прежний галс. И тут «Элен Б.» выкинула любимое коленце — я и ахнуть не успел, как окунулась кормовая скула и мы очутились по пояс в воде. А бейфуты на мачте не затянуты, и снастей на палубе столько, что ногу не поставить на доску. Взбун-

товалась бизань, норовя развернуться по ветру; едва укротили. Поднялась адская суматоха — такое случается только на шхунах, причем обычно без серьезной на то причины. Конечно же, я не намекаю, что наш старик управлял судном хуже тебя, или меня, или любого другого моряка. Но вроде до этого рейса он на «Элен Б.» не ходил, а в рейсе к ее штурвалу еще не прикасался. Стало быть, не изучил ее капризный нрав. Нет-нет, я вовсе не считаю его виновным в случившемся. Да и не мне решать, кто виновен. Но я знаю одно: в том рейсе приключилось нечто очень странное, и мне никогда этого не забыть. Глядеть по сторонам мне было недосуг, крепление реев к мачте — дело хлопотное. Мы шли правым галсом, и гафель-гардель, понятное дело, тянулась к левому борту. Не было у меня сомнений, что фалы держат все трое, пока я вожусь с бейфутами.

Знаешь ты меня с детства, мы с тобой побывали в нескольких рейсах; хоть ты и годами постарше, но всегда был мне надежным другом. Так вот, скажи, разве я похож на человека, которому может что-нибудь привидеться или прислышаться? Не похож? Спасибо, что не споришь.

Затянул я бейфут и крикнул вниз: «Выбирай!» Я стоял на усах бизань-гафеля и левой рукой

держался за ликтрос, так что чувствовал, как набивается штормовой парус. И радовался: дело сделано, мы теперь можем дрейфовать. А кругом черно, точно в угольном бункере, видны лишь пробегающие мимо буруны да за рубкой на корме отсветы нактоузного фонаря играют на желтой капитанской штормовке. То есть замечал бы я те буруны да отсветы, кабы поминутно оглядывался, вот только мне было не до того. И тут вдруг слышу «Нэнси Ли». Причем тот, кто ее насвистывает, стоит на салинге, прямо над моей головой. Но я же знаю наверняка: ежели там насвистывать, внизу тебя не услышит самое чуткое ухо. А я различал мотивчик очень четко, и это притом, что ветер тоже свистел в штормовой оснастке, пронзительно, как в Нью-Йорке паровой свисток на итальянской тележке с арахисом. Ветер шумит — это нормально, как же иначе, но другому-то звуку откуда взяться? И такой меня пробрал страх — шевельнуться не могу, только волосы дыбом встают под фланелевой подкладкой зюйдвестки. И холод по хребту, будто мне за шиворот ледышку сунули.

Говорю тебе, голос ветра в снастях был настоящий, а голос человека — нет. Я это понимал, хоть и слышал свист очень ясно. Так ведь и капитан

его слышал! Я пошел сменить его у штурвала — остальные тем временем на палубе прибирались; подхожу, а он ругается на чем свет стоит. Тихоней был наш шкипер и раньше при мне не бранился, да вроде и после тоже, хоть и случались в рейсе разные неприятности. Но в тот день он выложил все скверные слова, какие только знал, ничего не оставил в загашнике. Я-то думал, в этом деле датчане — самые непревзойденные мастера, а еще хороши неаполитанцы и южноамериканцы, но видит бог, наш старик показал высший класс. Ни на суше, ни на море никто не переплюнет по части ругани скромного американского капитана, когда он сбит с толку и рассержен. Спрашивать, в чем дело, не было нужды — я смекнул, что и шкипер услышал «Нэнси Ли», вот только она подействовала на нас по-разному.

Кэп не уступил мне штурвал, а велел пройти на нос и убрать второй бонет на стакселе, чтобы шхуна лучше лежала на галсе. Вдвоем с матросом мы полезли на мачту. Когда снимали бонет, матрос задел мое плечо головой; зюйдвестка свалилась, и вблизи я увидел лицо. Не будь оно таким бледным, я бы вряд ли его разглядел, но эта догадка пришла уже потом. Откуда на него падал свет, мне неведомо, но я тогда понял: рядом со

мной один из Бентонов.

— Джим, это ты? — спросил я.

Почему я сказал «Джим», а не «Джек», объяснить не возьмусь.

— Я Джек, — ответил он.

Мы управились быстро, и шхуна присмирела.

— Ты сейчас «Нэнси Ли» свистел, — сказал я. — Старик слышал, и он недоволен.

У Джека лицо светилось, будто белый огонек горел в черепе, и выглядело это жутко. Я слышал, как у него стучали зубы. Но парень ничего не ответил, а в следующий миг он исчез в темноте, спустился искать свою шапку возле нижней мачты.

Когда на палубе унялась суматоха и шхуна уверенно держалась поперек волны, с размеренностью маятника кивая своими четырьмя мачтами, мы закрепили руль чуть под ветер. Старик отправился на боковую, а мне удалось, укрывшись за рубкой от ветра, разжечь носогрейку. Все, что от нас зависело, мы сделали, судно качалось, как дитя в колыбели, и оставалось только ждать, когда минует шторм. Само собой, кок тоже ушел вниз — ему следовало это сделать еще час назад. Так что на вахте нас осталось четверо: впередсмотрящий, рулевой, которому не

было нужды рулить, я возле рубки и еще где-то на палубе четвертый — тоже, небось, перекурить устроился. Кто-нибудь из шкиперов, с которыми мне доводилось ходить, после такой каторжной работы зазвал бы вахту на корму и угостил выпивкой, но та ночь выдалась не студеной, так что не приходилось рассчитывать на щедрость нашего старика. У меня горели руки и ноги, и была возможность после вахты переодеться в сухое. Я решил потерпеть, благо табачок имелся, и остался на палубе. Вскоре наступила тишина, причем редкостная: ни ходьбы, ни возни. И объяло меня беспокойство — темной ночью, да в шторм, хочется ведь знать, где находится каждый из твоей вахты. Докурив трубку, решил я пройтись. Для начала побывал на корме. Вижу в свете нактоуза — стоит человек, навалившись на штурвал грудью; ноги широко расставлены, руки свесились, зюйдвестка на глаза надвинута. Прошел вперед, а там впередсмотрящий спиной прислонился к фок-мачте, укрывшись, как мог, за стакселем. По невысокому росту я определил, что этот парень не из Бентонов. Стало быть, кто-то из братьев — за штурвалом. Затем я двинулся вдоль наветренного борта, пробираясь в потемках ощупью — надо было найти второго брата. Но не

нашел, хоть и обыскал всю палубу, прежде чем вернулся на корму. Точно — не хватает одного из близнецов. Ушел переодеваться? Но ведь нынче тепло, а моряк — не кисейная барышня. Конечно, за штурвалом стоял Бентон. Я его спрашиваю:

— Джим, что с твоим братом?

— Я Джек, сэр.

— Ну хорошо, Джек. Где Джим? На палубе его нет.

— Сэр, я не знаю.

Когда я к нему подошел, он инстинктивно выпрямился и ладони положил на рукояти, как будто правит — это при заклиненном-то руле. Голова была опущена, лицо полускрыто зюйдвесткой — выглядело так, будто он смотрит на компас. Говорил Джек очень тихо, но это нормально, кричать не было надобности. Уходя, капитан оставил дверь рубки открытой, ведь тепло, хоть и шторм, и нет опасности снова зачерпнуть бортом воды.

— С чего это, Джек, тебе вздумалось свистеть? Ты же бывалый моряк.

Ответом было неразборчивое бурчание. Но, судя по тону, Бентон не принял упрека.

— Кто-то из вас свистел.

Он промолчал. А меня вдруг некое чувство

— может, стыд за шкипера, поскупившегося на выпивку, — побудило отломить в кармане штормовки с дюйм от табачной плитки. Парень знал, что я плохого табака не держу; он поблагодарил и отправил угощение в рот.

Я стоял с наветренной стороны от штурвала.

— Сходи-ка вперед, поищи Джима, — велел я.

Он чуть заметно вздрогнул, потом повернулся, обогнул меня и пошел вдоль наветренного борта. Уж не знаю, чем я был сильнее раздражен: его нежеланием повиниться за свист или уверенностью в том, что ежели шхуна в дрейфе и ночь темна, то можно разгуливать, где душа пожелает. Я его затею пресек, хоть и обратился к нему вполне добрым тоном:

— Иди с подветренной стороны, Джек.

Он промолчал, но прошел между нактоузом и рубкой к подветренному борту. Качка была только килевая, пустяковая для такой высокой волны, однако парень плохо держался на ногах: вот он навалился на угол рубки, а вот его бросило на леер. А ведь я был уверен, что он совершенно трезв. Братья не из тех, кто прячет ром от товарищей, да и нет у них рома в запасе. Все спиртное хранится под замком в капитанской каюте. Я вспомнил, как шарахнуло матроса блоком гафель-гардели.

Наверное, это был Джек и ему крепко досталось.

Я оставил штурвал и пошел следом за Бентоном. Но, достигнув угла рубки, увидел, что он быстро продвигается вперед, и решил вернуться. Посмотрел на компас, сильно ли мы отклонились, и шхуна успела качнуться с полдюжины раз, прежде чем я услышал голоса. Не три и не четыре, а больше, и доносились они с носа. Среди них я различил вест-индский говор. Кок пронзительно закричал, перекрывая другие голоса:

— Человек за бортом!

Когда судно лежит в дрейфе и заклинен руль, упавшему за борт ничем не поможешь. Разве что бедняга сорвался миг назад и его не унесло далеко от борта. Не в силах представить себе, как могло случиться этакое несчастье, я, однако, инстинктивно кинулся вперед. Сначала наткнулся на кока, тот был лишь в штанах да рубашке — сорвался с койки и прибежал на шум. Кок запрыгнул на грот-ванты, надеясь обнаружить упавшего. Но что разглядишь за бортом в таких потемках? Только барашки на черной воде да отброшенную подветренной скулой волну. Несколько человек, перегнувшись через фальшборт, тоже всматривались во мглу. Поймав кока за ногу, я спросил, кто сорвался.

— Джим Бентон! — прокричал он в ответ. — Его нет на шхуне!

У меня пропали последние сомнения: Джим Бентон за бортом. И упал он, как пить дать, едва мы управились с триселем. То есть без малого полчаса назад. А шхуна несколько минут бешено рыскала, пока нам не удалось положить ее поперек волны. Не родился еще пловец, способный столь долго продержаться на воде в такую погоду. Остальные понимали это не хуже меня и все же всматривались в пену, как будто и впрямь чаяли увидеть там нашего парня. Я отпустил кока, присоединился к остальным и спросил, обыскано ли как следует судно. Но уже знал, что это сделано. Поиски были недолги: на палубе парня нет, спуститься он мог только в носовой кубрик, но и там не обнаружен.

— Прибрало его море, сэр, вот как бог свят, — сказал рядом со мной матрос.

Конечно же, все понимали: нет у нас шлюпки, способной удержаться на такой волне. И тем не менее я вызвался спуститься на ялике — пусть стравят буксир на два-три кабельтовых, авось удастся потом меня вернуть. Но никто даже слушать не стал. Да я бы, наверное, потонул, и спасательный круг не выручил бы — с такой

волной шутки плохи. К тому же вряд ли упавший держался аккурат в кильватере. Не знаю, что меня дернуло за язык.

— Джек Бентон, ты здесь? Если спущусь, ты со мной?

— Нет, сэр, — раздался ответ.

И больше ни слова.

Но к этому времени на палубу вышел старик, я ощутил на своем плече его руку. И легла она грубо, как будто шкипер хотел меня встряхнуть.

— Мистер Торкельдсен, — сказал он, — не сходите с ума. Клянусь Богом, я бы рискнул судном ради парня, будь хоть малейшая надежда, да только он уже полчаса за бортом.

Говорил капитан, по своему обыкновению, тихо, но люди слышали и понимали, что он прав. В последний раз Джима Бентона видели, когда он ставил трисель. Да только я, наверное, его и видел. Старик пошел вниз, а матросы подались к Джеку, обступили тесным кольцом. Все молчали — такой обычай у нашего брата, когда сочувствуешь чужому горю, а помочь не в силах.

Тут настало время подвахтенным сменить нас троих.

Похороны даруют утешение родне покойного. Однако никто этого не поймет, пока близкий

человек не пропадет за бортом. Может, кому-то из сухопутных мнится, что будет ему легче, ежели не придется хоронить отца, мать или друга, но это заблуждение. Погребальный обряд дает надежду: что-нибудь да есть там, за чертой. В это верится и без похорон, но тут человек канул во мглистую пучину на границе двух морей, и даже его предгибельный крик до тебя не донесся, и кажется теперь, что бедняга совершенно недосягаем, — другое дело, если бы лежал перед тобой на смертном одре, миг назад сделавши последний вздох. Должно быть, Джим Бентон это понимал; должно быть, отчаянно желал вернуться к нам. Не знаю, о чем он думал в те минуты и боролся ли за жизнь. Знаю лишь то, что рассказываю, а уж ты, коли охота, дашь волю воображению.

В ту ночь Джек не ушел вниз после вахты, он будто прирос к штурвалу. Сумел ли парень вздремнуть за те четыре часа, пока я отдыхал, неизвестно; вернувшись на палубу, я его увидел там: в штормовке, с надвинутой на глаза зюйдвесткой, он глядел на компас. Нам было ясно, что лучше оставить парня в покое. Может, этот лучик света из нактоуза — единственное утешение для него в кромешной темноте. Зарядил дождик, предвещая конец южного шторма, и мы вынесли

на палубу все ведра и лохани и поставили под нижние реи — надо было запастись пресной водой для стирки одежды. Дождик превратился в ливень, и я перешел к подветренному борту; укрывшись под стакселем, смотрел вперед. Различимые во мгле барашки побелели — это близится рассвет. Черный ливень мало-помалу сменился серой туманной моросью, и, когда шхуну качало под ветер, я видел далекий красный отсвет портового маяка на воде. Океан успокаивается быстро; еще час — и можно ложиться на прежний курс.

Так я бездельничал, пока не подошел Джек. Несколько минут он молча простоял рядом под кромешным ливнем; я видел его мокрую бородку и выбритую часть щеки — рассвет окрасил кожу в серый цвет. Бентон опустился на корточки, зашарил в поисках трубки. Был невелик риск черпануть воды носом, вот и хранил парень трубку под якорем, откуда ее не могло вынести дождевой водой. Он встал, и я увидел у него в руке две трубки. Одна принадлежала его брату. Джек пригляделся к ним, опознал свою и сунул ее, капающую, в рот. А потом добрую минуту смотрел на другую и не шевелился. И вдруг швырнул ее за борт, ни словечка при этом не промолвив, даже не поинтересовавшись, наблюдаю ли я за ним.

«Экое расточительство», — подумалось мне. Такая трубка, из доброго дерева, с никелированной муфтой — мечта любого моряка. Но я, конечно же, удержал язык за зубами. Джек вправе распоряжаться наследством брата, как ему заблагорассудится. Встав у мачты с подветренной стороны, он продул свою трубку, обтер ее о блузу под штормовкой, набил, разжег со второй или третьей спички и сунул в зубы чашечкой книзу, чтобы табак не намок. Не возьмусь сказать, что меня побудило примечать и накрепко запоминать каждое его движение. Может быть, сочувствие? И я по-прежнему помалкивал — вряд ли помогли бы ему мои слова утешения. Однако я в тот раз ничего не заподозрил. Уже совсем рассвело, и я пошел к рубке — думал, скоро старик отправится вниз, а перед уходом он велит разрифить бизань и расклинить руль. Но шкипер дождался семи склянок. Аккурат к тому времени с подветренной стороны разорвались тучи и проглянула небесная синева. «Французский барометр», так мы это называем.

Бывает, помрет человек, а у тебя не получается думать о нем как о покойнике. Вот так было и с Джимом Бентоном. Мы с ним вместе несли вахту, и я не мог привыкнуть к мысли, что нет его боль-

ше на шхуне. Кажется, обернешься — а он рядом. Вдобавок брат похож на него как две капли воды; нет-нет да назовешь ненароком Джека Джимом. Само собой, я старался этого не делать, знал, как ранят такие ошибки. Раньше я полагал, что из близнецов веселый — Джек. Но теперь он здорово изменился, сделавшись гораздо молчаливее Джима.

В один погожий день сидел я на грот-люке и разбирал счетчик гакабортного лага — подвирал он в последнее время. Кок принес мне кофейную чашку, чтобы складывать туда винтики, и блюдце для спермацетового масла. Принес — и не уходит, но и не наблюдает за моей работой, а просто топчется рядом, как будто хочет что-то сказать. Я так рассудил: коли важное у него на уме, непременно заговорит, — и решил не задавать вопросов. На палубе не было никого, кроме нас с коком, да рулевого, да еще одного матроса на носу.

Как я и ожидал, терпения коку хватило ненадолго.

— Мистер Торкельдсен… — начал он и умолк.

Вот сейчас, думаю, попросит дать ему в помощь вахтенного матроса, чтобы перекатить из трюма на камбуз бочку муки или солонины.

— Что, Лоули? — спрашиваю, не дождавшись продолжения.

— Тут такое дело, мистер Торкельдсен, — мямлит он. — Хочется знать, какого вы мнения насчет моей работы на шхуне, справляюсь или нет.

— Нет причин считать, что не справляешься. С бака жалоб не поступало, капитан тоже тебя не бранил, так что, пожалуй, свое дело ты знаешь. Вон как камбузного юнгу раскормил, аж роба на нем трещит. А с чего это вдруг у тебя возникли сомнения?

Я не могу передать вест-индскую манеру речи, даже пытаться не стану. В общем, Лоули долго ходил вокруг да около, но наконец выложил: матросы взялись шутки с ним шутить, а ему это не по нраву, да и едва ли он заслужил такое отношение — вот и решил в первом же порту списаться на берег.

— Ну и дурак же ты, братец, — отвечаю ему. — Начнем с того, что наши ребята предпочитают шутить над своими в доску, а не над теми, от кого рады бы избавиться. Или, может, кто-то перегнул палку? На койку твою помочился? Дегтю плеснул в башмаки?

Тот говорит, нет, таких откровенных гадостей шутники себе не позволяют. Зато норовят его

напугать, отчего он, понятное дело, не в восторге. Подсовывают, дескать, разные вещи, аж жуть берет.

— Ты и впрямь дурак, — говорю, — коли такой ерунды пугаешься.

Однако стало мне интересно, что это за вещи ему подсовывают матросы. И услышал я весьма странное объяснение. Мол, это лишние ложки да вилки, тарелки да кружки и все такое прочее.

Положил я гакабортный лаг на расстеленный кусок парусины и внимательно посмотрел на кока. А ведь он и впрямь не в себе: взгляд затравленный, лицо не желтое, как всегда, а серое. И явно не ищет неприятностей, а напротив, хочет избавиться от уже имеющихся. Стало быть, нужно его расспросить.

Кок сказал, что считать он умеет не хуже других, даже без пальцев, а ежели и с пальцами, так это чтобы проверить результат, хотя и так не ошибается. При уборке со стола, поведал Лоули, теперь обнаруживается больше столовых приборов, чем было роздано им или юнгой перед кормежкой. То вилка лишняя появится, то ложка, изредка вилка и ложка разом, и почти всегда — тарелка. Не стоит понимать так, будто он жалуется на избыток работы. Мыть посуду

за матросами — его обязанность, так в договоре написано. Вот только с того дня, как несчастный Джим Бентон пропал за бортом, едоков на одного меньше, а грязной посуды, получается, сколько и было. На камбузе приходится кормить восемь человек, и вряд ли им пристало откалывать такие штуки. Вверенное имущество кок содержит в полном порядке, потому как отвечает за него, все регулярно пересчитывает, а матросы, стоит ему спиной повернуться, норовят что-нибудь из посуды на стол выложить да запачкать — разве ж это годное дело? Небось хотят, чтобы он поверил, будто…

Тут кок умолк и уставился на меня, а я смотрел на него, не зная, к чему он клонит, но уже догадываясь. В его рассказе я не нашел ничего интересного, а потому сказал, чтобы он сам разбирался с матросами и не лез ко мне со всякой чепухой.

— До того как они рассядутся, сосчитай тарелки и вилки-ложки и скажи, что больше ни одной не дашь. А когда поедят, пересчитай и, если не сойдется, выясни, кто созоровал. Это будет один из сидевших за столом, кто ж еще? Ты же не салага, десять лет ходишь… или одиннадцать? Мне ли тебя учить, как отбивать у парней охоту

к дурацким розыгрышам?

— Если застукаю, — мрачно пообещал кок, — даже помолиться не дам, сразу воткну ножик.

Вест-индские ребята любят про ножики болтать, особенно когда перепуганы до смерти. Я его не стал отговаривать, а вернулся к чистке латунных шестеренок механического лага и смазке их осей посредством перышка.

— А не проще ли, сэр, в кипятке их промыть? — спросил Лоули этак услужливо, смекнувши, что выставил себя дураком.

Два-три дня я не слышал про лишние тарелки и ложки, однако рассказ кока запал мне в голову. Было ясно: Лоули внушил себе — хоть и нипочем не признается в этом, — что Джим Бентон вернулся на борт. В хороший день, когда набиты попутным ветром все паруса и море нежится под солнышком, умиротворенное, точно закусившая канарейкой кошка, такая история кому угодно покажется чепухой. Но вот кончается первая вахта, а ущербная луна еще не взошла, и вода — как густое масло, и кливера висят крыльями мертвой птицы — тут-то и берет тебя жуть. Не раз я вздрагивал и резко оборачивался на плеск, будто не выпрыгнувшую из воды рыбу ожидал увидеть, а торчащую голову с закрытыми глаза-

ми. Поди не только у меня в такие вечера душа была не на месте.

Однажды на склоне дня матросы обновляли клетневку на шкентелях кливер-шкотов. Вахта была не моя, но я стоял рядом и приглядывал. На палубу поднялся Джек Бентон и полез под якорь искать трубку. Выглядел он неважно — лицо исхудалое, глаза — как холодные стальные шарики. Он совсем замкнулся в себе, словечка лишнего не обронит, но работал справно, и никто на него не жаловался. Правда, мы все гадали, когда его наконец отпустит тяжкая скорбь по брату. И вот он сидит на корточках и шарит ладонью в закутке. Находит, встает — и в руке две трубки.

Как же так? Я прекрасно помню: одну он бросил в море рано поутру, когда унялся шторм. А она снова здесь, и вряд ли Джек держит под якорем запас трубок. И вот он стоит столбом и смотрит на эти трубки; я же замечаю: цвет лица у него бледно-зеленый, точно у пены на мелководье. Может, ему трудно отличить свою носогрейку от братниной? Так ведь нет: я от него меньше чем в пяти ярдах, вижу, что одну из трубок давеча курили. Чашечка блестит там, где ее потерли пальцы; на костяном мундштуке бледный след от зубов. А вторая трубка напиталась влагой и по-

трескалась — и даже как будто чуток позеленела от водорослей.

Когда я отвел взгляд, Бентон украдкой сунул мокрую трубку в брючный карман и пошел подветренным бортом на корму, прочь с моих глаз. Я пролез под растянутым для оклетневки шкотом и нашел местечко, чтобы наблюдать, чем занимается под фока-стакселем Джек. Не замечая меня, он что-то искал. Вот трясущейся рукой подобрал футовой длины погнутый стальной стержень — мы крутили им рым-болты и держали его на грот-люке. Непослушными пальцами вынул из кармана кусок марлиня и привязал к железяке трубку. Не хотел, чтобы она отвалилась и поплыла, а потому на совесть поработал: весь шкертик извел на тугие витки, свободный же конец завязал на штык и вдобавок сделал контрольный узел. Убедился, что затянуто накрепко, после чего украдкой пробежал взад-вперед по палубе взглядом и отправил трубку с грузом за борт. Да так аккуратно уронил — я даже всплеска не услышал.

Если и имеется на шхуне любитель розыгрышей, то его проделки предназначены не для кока.

Я поспрашивал у матросов насчет Джека Бен-

тона, и один сказал мне, что парень не ходит на камбуз и вообще почти ничего не ест, только кофе хлещет при любой возможности. А еще он скурил свой запас табака и взялся за оставшийся от брата.

— Сэр, кок считает, тут что-то не так, — сообщил матрос, и глядел он при этом на меня смущенно, будто опасался, что не поверю. — Говорит, за сутки съедается столько же, сколько и до Джимова падения, хотя у нас теперь на одного едока меньше, а другой брат к пище не притрагивается. Я ему: это, поди, юнга харчишки подворовывает, а он — на дыбы.

Если бы юнга съедал лишнего, он и работал бы больше, потому как в мире все уравновешено, вот что я ответил матросу. Он как-то странно усмехнулся и снова посмотрел мне в глаза.

— Так-то оно так, сэр… Так, да не так, и все это видят.

— А что не так?

— Что не так? — переспросил матрос, заметно серчая. А то, сэр, что есть на шхуне роток, который съедает свою пайку наравне с нами, аккурат по склянкам.

— Может, он и табачком балуется? — хотел я отшутиться, да вспомнил мокрую трубку.

— Должно быть, свой курит, — тихо, мрачно ответил матрос. — А когда весь скурит, будет брать чужой.

Было около девяти утра — я запомнил, потому что меня позвал капитан и велел постоять у хронометра, пока сам работает с секстаном. За многими старыми шкиперами водится привычка ключ от хронометра держать в жилетном кармане, а координаты определять при помощи часов-луковицы, и помощник может только гадать, сколь велика погрешность при подобном счислении. Наш Хэкстафф, слава богу, был не из таких. Частенько он позволял мне обрабатывать замеры, а потом проверял мои выкладки, за что я ему сердечно признателен. Надо сказать, у него был глаз-алмаз, подмечавший даже ошибки в логарифмировании. Иной раз предупредит, что поправка на уравнение времени у меня выйдет не с тем знаком, — а сам вроде еще даже не закончил с «полусуммой минус высота». В расчетах он всегда оказывался точен. Помимо тонкостей управления шхуной, шкипер знал много всякой всячины о железных кораблях, например, как на них ведут себя компасы и для чего служит девиационный прибор. Почему такой опытный мореход очутился на шхуне, для меня загадка. Он

ничего о себе не рассказывал. Вероятно, служил когда-то штурманом на громадине со стальным корпусом и прямыми парусами, да по какой-то причине не удержался там. А может, не штурманом был, а капитаном и однажды сел на мель — небось не по своей вине, да все равно пришлось начинать карьеру сызнова. Речь у него была простая, как у нас с тобой, но не всегда — иной раз говорит, будто книжку умную вслух читает. Доводилось мне толковать кое с кем из ученых бостонцев — вот очень похоже. У нас с тобой хватает приятелей-моряков, знававших лучшие времена. Может, Хэкстаффу довелось послужить на военном флоте, да только я в этом сомневаюсь, уж больно хорош он был на торговом судне. Наш брат-торгаш парус чувствует, а среди вояк это редкость. Встречали мы с тобой матросов, носивших в кармане сертификат судоводителя — или наш, или от английского Комитета по торговле. Доверь такому парню секстан да позволь взглянуть на хронометр, и он тебе вычислит двойную высоту не хуже, чем капитан большого корабля. Навигационное мастерство — это лишь малая часть судовождения, но уж если пришел в нашу профессию, изволь им овладеть.

Уж не знаю, как дошла до капитана весть о

происходящем на баке. Может, камбузный юнга донес, а может, вечером матросы чесали языки возле рубки, когда сменялась вахта на руле. Короче, он прослышал, а утром, едва продрав глаза, всех нас собрал на корме и прочитал нотацию. Ничего такого, чего не стоило бы от него ждать. Мол, причин для недовольства у него нет, на этой шхуне каждый трудится добросовестно, а потому он склонен считать, что матросы отвели душу и взялись за ум. Мол, порядки на его судне всегда были мягкие, он не любитель крутых мер, а следовательно, вправе рассчитывать на ответное понимание. Короче, прекращайте заниматься всякой ерундой. Случилась у нас большая беда, сказал он, да только нет в этом ничьей вины. Потеряли мы парня, которого уважали и любили; впору посочувствовать его брату, коль скоро свалилось на него такое горе. А потому дурацкие детские выходки тут не просто неуместны, они подлы, несправедливы и недостойны мужчин. Речь идет о школьных проделках с вилками, ложками, трубками и тому подобном. Немедленно прекратить безобразия, и точка. Разойтись по своим местам.

Мы разошлись.

Но безобразия не прекратились. Куда там!

Палубные матросы следили за коком, кок — за матросами. Как будто надеялись поймать с поличным возмутителя спокойствия. Но мне думалось, чутье каждому подсказывало: розыгрыши тут ни при чем.

Однажды вечером, в мою вахту, Джек прошел на корму, чтобы отпустить рулевого на ужин. Не успел он миновать грот-люк с подветренной стороны, как услышал я хлопки, — кто-то в шлепанцах бежал по палубе. Раздался вопль, и появился наш цветной кок — он гнался за Джеком с разделочным ножом в руке. Я вскочил, чтобы вклиниться между ними, хоть и понимал, что не успею. Тут Джек резко обернулся и выбросил руку, а кок попытался его пырнуть. Но не дотянулся. Снова и снова кок прокалывал пустоту, и лезвие не доставало до Бентона добрых четыре дюйма. Вдруг у нападающего повисла правая рука и в сумерках блеснули белки закатившихся глаз; он опрокинулся на кофель-планку. Наконец добравшись до него, я перехватил и правую, с ножом, и левую, уже вцепившуюся в кофель-нагель. Боялся, как бы он не пустил увесистую деревяху в ход. Смотрю, а Джек стоит и таращится на кока, будто ничегошеньки не понимает. Кок же стоять не может, он держится за кофель-нагель и вовсю

зубами стучит. Нож из его лапы выскользнул и воткнулся в палубу.

— Да он спятил! — воскликнул Джек Бентон. А больше ничего и не сказал. Ушел на корму.

Слегка очухавшись, Лоули взволнованно прошептал мне на ухо:

— Их было двое! Господь свидетель, второй тоже тут!

Мне бы за ворот схватить кока да встряхнуть хорошенько, а я только нож подобрал и вручил ему, велев возвращаться на камбуз и больше не дурковать. Понимаешь ли, он колол не Джека, а того, кто ему привиделся. Кок обезумел от страха, и я не мог его за это винить — у самого с той ночи, когда мы ставили трисель, нет-нет да и проползал холодок по хребту.

Заметив, что кок с ножом побежал в сторону кормы, матросы пустились вдогонку, но опоздали — я перехватил его раньше. О случившемся неохотно поведал парень, который недавно со мной разговаривал.

— Да что тут рассказывать? — проворчал этот рыжеволосый низкорослый крепыш. — Мы ужинали, и с нами был Джек Бентон. Сидит он всегда возле левого борта, у того края стола, который ближе к корме. Его брат обычно садился рядом.

Кок дал парню доесть пирог — здоровенный оставался кусище, — и, управившись с ним, Джек даже не задержался перекурить, он спешил подменить рулевого. Тут вышел из камбуза кок, увидел пустую Джекову тарелку — и будто его обухом шарахнули. Стоит и пялится. А нам всем и невдомек, с чего это он ошалел, пока мы сами к тарелке не пригляделись. На ней, сэр, две вилки, бочок о бочок. Тут кок хватается за нож и вылетает через люк что твоя ракета. Да, мистер Торкельдсен, лежала там лишняя вилка, все мы ее увидели и в руках подержали. А у каждого из нас была своя. Вот и все, что я знаю, сэр.

Смеяться над этой историей мне вовсе не хотелось, и я надеялся, что ее не услышит старик. Конечно же, он бы не поверил. Ни один шкипер не потерпит, чтобы матросы травили подобные байки, потому как дорожит репутацией своего судна.

Вдобавок никому, кроме Лоули, не являлся на борту призрак, и необязательно быть в стельку пьяным, чтобы тебе мерещилась чертовщина. Я боялся, что наш кок слаб на голову (позднее это подтвердилось) и, ежели он не прекратит дурить, у нас могут быть серьезные неприятности. Но кок опамятовался. Два-три раза я замечал, как

он с подозрением косится на Джека Бентона, и однажды подслушал его разговор с самим собой: «Их двое! Боже милостивый, их тут двое!»

О списании больше не заходило речи, однако я не сомневался: если в ближайшем порту он сойдет на берег, мы его больше не увидим. Кок даже свой баул с вещами не заберет и заработанных денег не попросит. Он перепуган до смерти и не успокоится, пока не наймется на другое судно. Увещевать человека, которому привидения мерещатся, — все равно что посылать на топ мачты перетрусившего юнгу.

О случившемся в тот вечер Джек Бентон ни словечком не обмолвился. Мне неизвестно, знал ли он о двух вилках и понимал ли, отчего взбеленился кок. Матросы-то замечали, как тяжко Джеку, с каким трудом он держится. Внешне спокоен, даже слишком, а лицо напряженное; нет-нет да и пробежит по этому лицу судорога, когда парень стоит у штурвала, и тотчас он резко оглянется назад.

Рулевой так делает, только когда к корме подбирается чужое судно. Бентон же озирался беспричинно, и вот что примечательно: другие матросы как будто заразились от него, они тоже вертели головой на штурвальной вахте. Однаж-

ды это не укрылось от глаз старика.

— Ты чего оглядываешься? — спросил капитан.

— Просто так, сэр, — ответил рулевой.

— Лучше на крюйс-бом-брамсель смотри. — Старик будто забыл, что нет у нас прямых парусов.

— Слушаюсь, сэр, — ответил матрос.

Капитан велел мне спуститься в его каюту и вычислить текущую широту, а сам направился в рубку — любил он посидеть там за книжкой. Возвращаюсь я на палубу и вижу: рулевой снова мотнул башкой. Я задержался возле него и поинтересовался: почему это вы все озираетесь, мода, что ли, такая пошла? Он помялся и ответил коротко: да нипочему. А потом видит, что я с равнодушным видом стою, — значит, спросил просто так, от нечего делать, — и, понятное дело, разговорился. Дескать, не станет он утверждать, будто наблюдал нечто диковинное, да и много ли диковинного в том, что помаленьку напрягается бизань да крутятся желобчатые колеса. Когда крепчает ветер, такое в порядке вещей. Вот только посвист тросов в блоках показался матросу странным. Это же новая манильская пенька, у нее в сухую погоду голос тихий, что-то между шорохом и скрипом. Я посмотрел на тросы, потом на рулевого и ничего не сказал. Матросу же

не молчалось, и вскоре он поинтересовался, не слышу ли я чего-нибудь необычного. Я напряг слух, однако никаких странностей не уловил, о чем и сообщил рулевому. Парень сконфузился и заявил, что не склонен грешить на свои уши, поскольку всяк стоявший у этого штурвала нередко слыхивал этот звук — то ночью, то днем и порой на протяжении доброго часа.

— Будто дерево пилят, — сказал я.

— Для нас это куда больше похоже на «Нэнси Ли». — При последних словах матроса пробрала нервная дрожь. — Мужчина насвистывает. Неужто не слышите, сэр?

Я слышал только скрип манильских канатов. Близился полдень — ясный и теплый полдень южных широт, — а такой час и такая погода не располагают к боязни. Но тут мне вспомнилось, как полмесяца назад, штормовой ночью, ветер доносил сверху вот этот самый мотив, и признаюсь без стыда: ко мне мигом вернулся тогдашний страх и захотелось очутиться как можно дальше от «Элен Б.». Лучше бы на борту дряхлого фузового парохода с ветряной мельницей, стареньким шкипером из сороквосьмушников и свежей течью при любом ветерке.

В следующие дни жизнь на борту нашей шхуны

мало-помалу сделалась совершенно невыносимой. Не то чтобы ходило много пересудов — матросы стыдились своих подозрений и страхов, хоть и свободно делились друг с другом догадками. Весь экипаж приумолк, редко кто-нибудь подавал голос, и почти всегда это была команда или отклик на нее. Сменившийся с вахты не засиживался над своей тарелкой — поест и сразу в кубрик спать или на полубак курить, ни с кем даже словечком не перекинувшись. У нас у всех бродили одни и те же мысли. Такое ощущение, будто на шхуне завелся тайный пассажир. Прячется где-нибудь в трюме, или на палубе, или в оснастке, или на грузовой стреле, и ест наравне со всеми, вот только хлеб свой не отрабатывает. И мы уже не подозревали — знали наверняка. Он не занимал места и даже тени не отбрасывал, и никто из нас не слышал его поступи. Но пайку свою этот «пассажир» употреблял строго по склянкам, а еще…

…А еще он насвистывал «Нэнси Ли».

Такое даже в самом кошмарном сне не приснится, и осмелюсь утверждать, что большинство из нас пыталось убедить себя: это всего лишь морок. Но бывало, стоишь ты в погожий день у наветренного борта, и дует в лицо ласковый бриз,

а повернешь случайно голову одновременно с соседом — и прочтешь в его глазах ту же мысль, что и тебя гложет: не морок это, а нечто похуже. И отвернешься, как и он, охваченный мрачным и тягостным чувством, и пожалеешь, что нет возможности переглянуться с человеком, жутью этой не снедаемым; просто не осталось на шхуне таких людей.

Рассказывать о дальнейшем путешествии «Элен Б. Джексон» особо нечего. Были мы нормальной судовой командой, а теперь больше смахивали на ораву безумцев. Но вот наша шхуна миновала крепость Морро-Касл и бросила якорь в Гаванской бухте. Кока свалила мозговая горячка; в бреду он буйствовал. У остальных с душевным здоровьем обстояло ненамного лучше. В последние три или четыре дня творилось черт-те что, и никогда еще на моей памяти не была столь велика угроза бунта. Парни не испытывали жгучего желания кого-нибудь покалечить, но они мечтали убраться со шхуны, хоть бы даже и вплавь. Страшно давило на разум незримое присутствие товарища по плаванию, которому вздумалось вернуться из мертвых; не было сил терпеть проклятый посвист. Кабы не наш со стариком зоркий пригляд, наверняка однажды

тихой ночью матросы спустили бы шлюпку да отвалили, предоставив капитану, мне и полоумному коку вести шхуну в гавань. Мы бы, конечно, справились при попутном ветре, благо идти недалеко. Разок-другой я поймал себя на мысли, что и впрямь не прочь остаться без команды — страх, изводивший матросов, уже и меня пробирал. Понимаешь ли, мне и верилось, и не верилось, но какая бы чертовщина ни творилась на судне, я не желал отдавать ей свой рассудок. Как и все мои спутники, я ожесточился. Находил всевозможные занятия для матросов, сгонял с них семь потов; случись мне, как Джиму Бентону, свалиться за борт, парни были бы только рады. Не сочти, будто мы со стариком принуждали их к бегству, чтобы не платить заработанного. Печально признавать, но среди шкиперов и старпомов хватает бессовестных сквалыг. Однако Хэкстафф был кристальной совести человек, он бы этих бедняг ни на паршивый цент не обсчитал. Я не винил матросов за желание убраться со шхуны и видел только один способ спасти их от помешательства: работа до упаду, с короткими перерывами на сон. Уставая до смерти, они забывали о наваждении.

Было это много лет назад, но веришь ли, я и сейчас не могу слушать «Нэнси Ли», не холодея от

жути. После того как рулевой объяснил, почему он часто озирается, мотивчик этот преследовал и меня. Хотя, возможно, и не было его, а просто шалило воображение — не знаю. Но всякий раз, когда вспоминаю тот рейс, он кажется долгой борьбой с чем-то невидимым и зловещим, пострашнее даже холеры, «Желтого Джека» и чумы. А ведь даже слабая зараза крайне опасна, когда она вспыхивает на борту судна вдали от берегов. Бледные как мел, люди не решались ночью поодиночке ходить по палубе, что бы я им ни доказывал. Из-за Лоули, который метался на своей койке, носовой кубрик превратился в сущую преисподнюю, а свободных кают у нас не было. Да их на шхунах и не бывает. Так что кока я пустил к себе, и он изрядно притих, а потом и вовсе впал в ступор, как будто собрался помирать. Что за хворь проняла кока, мы так и не узнали. Но до порта довезли его живым и пристроили в больницу.

Матросы один за другим, тихо как мышка, приходили на корму и просили капитана выплатить им причитающееся и уволить. Некоторых старик мог бы и не отпускать — они подрядились на весь рейс и подписали договор. Но он отлично знал: моряк упрямей ребенка, когда ему что-нибудь втемяшится в голову. Ежели такого строптивца

оставить на борту, он и работать будет спустя рукава, и в беде не придет на выручку. Матросы ушли собирать свои вещи, а шкипер спросил, не желаю ли и я получить расчет, и, что греха таить, с минуту меня одолевал соблазн. Но я не ушел, и с тех пор мы со стариком крепко дружили. Наверное, он был благодарен за то, что я его не бросил.

Когда матросы покидали шхуну, он сидел у себя в каюте; мне же полагалось находиться на палубе. Парни, которым я в конце рейса устроил каторжную жизнь, держали на меня зуб, и, вопреки флотской традиции, большинство из них спустилось в шлюпку, не попрощавшись со мной ни словом, ни даже взглядом. Бентон уходил последним. Несколько мгновений он неподвижно стоял и смотрел на меня, и по бледному лицу его пробегала судорога. Похоже, решил что-то сказать.

— Береги себя, Джек, — напутствовал его я. — До свидания.

Еще две-три секунды он молчал, как будто ему не подчинялся язык. И вдруг прорвало:

— Мистер Торкельдсен, я не виноват! Не виноват, клянусь!

Вот и все. Он перелез через борт, оставив меня ломать голову над его прощальными словами.

Мы с капитаном жили на борту, а стряпал для нас присланный шипчандлером юнга, тоже уроженец Вест-Индии.

Однажды вечером перед сном мы стояли у леера, молча курили и глядели на городские огни, в четверти мили от нас отражавшиеся в спокойной воде. На берегу играла музыка — скорее всего, в матросском танцевальном клубе, — и я не сомневался, что там сейчас куролесит почти вся наша бывшая команда. Сменяли друг дружку морские мелодии, то и дело доносился мужской хор. И вдруг зазвучал мотив «„Нэнси Ли“ — громко, ясно, — и певцы грянули: «Йи-и-хо, братва! Йи-и-хо! Йи-и-хо!»

— В музыке я не силен, — сказал капитан Хэкстафф, — но не эту ли песенку кто-то насвистывал в ту ночь, когда мы потеряли матроса? Засела, понимаешь, в голове, и вроде она мне потом часто слышалась, вплоть до конца рейса. Экая несуразица!

Ничего я на это не ответил, но подумал: о многом ли догадался старик? Мы разошлись по каютам, и я десять часов проспал мертвым сном.

На «Элен Б. Джексон» я ходил еще долго, пока не осточертели мне косые паруса. Но тем вечером, когда мы стояли в Гаванской бухте, «Нэнси Ли» на

ее борту я слышал последний раз. Вместе с другими матросами «пассажир» отправился на берег, и унес мелодию с собой, и больше не возвращался. Однако то, о чем я рассказываю, крепко сидит в моей памяти — как будто все случилось вчера.

Еще больше года я ходил в океанские рейсы старпомом, а потом вернулся домой, получил сертификат и с помощью друзей, кое-каких сбережений и скромного наследства, доставшегося от норвежского дяди, добыл капитанскую должность на каботажном судне, с небольшой долей в прибыли. За три недели до очередного плавания, когда я отдыхал дома, Джек Бентон прочел мое имя в местной газете и отправил мне письмо.

Он писал, что с матросским ремеслом расстался, пытается фермерствовать и хочет жениться, и спрашивал, не смогу ли я приехать. Это ж поездом всего минут сорок, и у них с Мейми будет повод гордиться своей свадьбой. Мне вспомнилось, как брат спрашивал у брата, знает ли Мейми. То есть знает ли она о намерении Джека взять ее в жены, смекнул я. Девушка явно не спешила согласиться — после гибели Джима Бентона прошло без малого три года.

Пока судно готовилось к выходу в море, я не был завален хлопотами. Ничто не мешало мне

выкроить денек, да и не прочь я был повидаться с Джеком Бентоном, а заодно взглянуть на его избранницу. В голове моей звучали слова, полные горького отчаяния: «Мистер Торкельдсен, я не виноват! Не виноват, клянусь!» Отпустило ли его это отчаяние, вернулся ли веселый нрав? Да и как он может быть виновен в гибели брата? Я послал Джеку ответное письмо с согласием поприсутствовать на свадьбе. В урочный день сел на поезд и уже в десять утра был на месте. Ох, зря я это сделал…

На станции меня встретил Бентон и сообщил, что бракосочетание состоится во второй половине дня и что они с Мейми решили не тратиться на дурацкий свадебный поезд — просто от дома ее матери прогуляются до Джекова коттеджа. «Меня это вполне устраивает», — сказал он. С минуту я его пристально рассматривал. Тогда, на шхуне, при расставании мне подумалось, что бедняге суждено спиться, но этого не случилось. Передо мной стоял вполне благополучный, даже респектабельный джентльмен в черном фраке и сорочке с высоким городским воротником. Разве что похудел да на лице пролегли морщины, а еще взгляд у него был странный, настороженно-затравленный, что ли. С чего бы? Джеку не

резон меня опасаться, я же не стану рассказывать невесте о случившемся на «Элен Б. Джексон».

Первым делом он мне показал свой дом — с гордостью, для которой имелись причины. Коттедж находился в кабельтове от верхней отметки прилива. Но был отлив, и по ту сторону прибрежной дороги обнажилась широкая песчаная полоса. За коттеджем примерно на четверть мили протянулся земельный участок, и Джек сказал, что часть видимых отсюда деревьев посажена его руками. Добротные изгороди содержались в порядке, невдалеке от жилого дома стоял приличных размеров сарай, а на лугах пасся ухоженный скот. Однако не сказал бы я, что эти угодья походили на настоящую ферму. И подумалось мне: в недалеком будущем оставит Джек хозяйство на жену, а сам отправится в море. Тем не менее я похвалил ферму, симпатичная, мол, и приятная на вид — хотя, осмелюсь предположить, это одно и то же, я плохо в таких вещах разбираюсь: ни одной фермы до того дня не видывал. Вот здесь-то, поведал Джек, они с братом и появились на свет, а после смерти родителей сдали землю в аренду матери Мейми, но дом придержали для себя, чтоб было где голову приклонить в коротких промежутках между рейсами. И содержался

он, скажу я тебе, в отменном порядке: полы надраены, как палуба яхты, краска посвежей, чем на военном корабле. Я и раньше знал, что Джек маляр справный.

На первом этаже, в небольшой гостиной, он обклеил стены обоями и увешал фотографиями судов и иноземных портов, а также привезенными из путешествий сувенирами. Тут и бумеранг, и папуасская палица, и японская соломенная шляпа, и гибралтарский веер с боем быков, и все такое прочее. Не сложно было догадаться, что к размещению этих вещей приложила руку мисс Мейми. В старый камин была встроена новехонькая, блестящая полировкой чугунная печь Франклина, а стол покрыт красной александрийской скатертью, расшитой чудными египетскими письменами. Красиво и уютно на зависть. Джек очень гордился своим жилищем, и таким он мне куда больше нравился. Еще бы говорил повеселее, как в начале рейса «Элен Б.», да хоть на денек убрал с лица тоскливую мину. Он все мне показал на первом этаже и повел наверх, где тоже было чисто, свежо, готово к вселению молодой жены. Но в одной из комнат второго этажа я не побывал. Когда мы вернулись из спальни на лестничную площадку, я заметил распахнутую дверь; Джек

поспешил ее затворить и провернул ключ.

— Плохой замок, — пробормотал он, будто говорил сам с собой. — Вечно эта дверь открывается.

Я не придал значения его словам, но, после того как мы спустились по короткой лестнице, совсем недавно покрашенной и так щедро отлакированной, что даже боязно ступать, он заговорил снова:

— В этой комнате он жил, сэр. Теперь там что-то вроде кладовки.

— Может, через годик придется ее освободить. — Хотелось сказать ему приятное.

— Вряд ли она пригодится нам для этого, — тихо возразил Джек.

В гостиной он угостил меня сигарой из свежепочатой коробки, другую взял сам; мы закурили и пошли во двор. Отворяем переднюю дверь, а на дорожке стоит Мейми Брюстер, как будто нас поджидает. Девушка она была прелестная — неудивительно, что Джек три года добивался ее согласия. Карие глаза, изящные каштановые волосы, точеная фигурка — сразу видно, что не на тепличных овощах и мороженом мясе эта особа выросла, а вскормил ее морской берег.

— Капитан Торкельдсен, — представил меня Джек. — Капитан, это мисс Брюстер, и она рада с

вами познакомиться.

— Да, капитан, я рада, — подтвердила мисс Мейми, протягивая руку, — потому что Джек о вас много рассказывал.

Она со всей сердечностью пожала мне руку. Мне бы произнести в ответ приличествующие слова, но я, винюсь, промямлил что-то маловразумительное.

От фасада, обращенного к морю, прямая дорожка шла сквозь ворота к прибрежному тракту. Еще одна дорожка, достаточно широкая для прогулок вдвоем, вела от крыльца направо, через поле к воротам в ограде. За этой оградой в четверти мили я увидел дом побольше, чем у Джека. Там живет мать Мейми, и там будет праздноваться свадьба. Джек предложил до обеда показать мне ферму, я же ответил, что мало смыслю в сельском хозяйстве. Тогда он попросил позволения отлучиться, мол, нужно проверить, все ли в порядке, а другой возможности нынче не будет. При этом он улыбнулся, а невеста рассмеялась.

— Мейми, покажи капитану дорогу, — попросил он, — а я через минуту вас догоню.

Мы с Мейми пошли по дорожке к коттеджу ее матери, а Джек направился к сараю.

— Как хорошо, что вы приехали, капитан, — за-

говорила мисс Мейми. — Я давно хотела с вами познакомиться.

— Да? — произнес я, ожидая продолжения.

— Видите ли, я дружила с обоими братьями, — сказала она. — Еще совсем маленькой они меня в море брали, мы ловили с плоскодонки треску. И оба мне нравились, — задумчиво добавила она. — Джек не хочет говорить о брате, и это естественно. Но вы же расскажете, как случилось несчастье? Мне нужно знать, очень нужно!

И я ей поведал о том рейсе и о той ночи. Был шторм, и никто не виновен в гибели Джона — кроме разве что нашего старика-капитана, но это предположение я придержал при себе. Само собой, умолчал и о дальнейших неприятностях. Она слушала молча, а я рассказывал о двух братьях, о том, какие они были похожие, и о том, как принял Джека за утонувшего Джима. Никто из нас не мог с уверенностью отличить их друг от друга, объяснил я мисс Мейми.

— Мне и самой это не всегда удавалось, — промолвила она. — Подмечала разницу, только когда братья были вдвоем, и то лишь через день-другой после их возвращения из плавания, не раньше. Знаете, мне теперь кажется, что Джек на себя не похож, а похож на Джима, каким мне бедняжка

запомнился. Джим был тихий, задумчивый.

Так казалось и мне на шхуне, о чем я и сообщил моей спутнице. Рука об руку мы миновали ворота и двинулись через поле. Мисс Мейми обернулась, но Джека было не видать. И я никогда в жизни не забуду того, что услышал от нее в следующую минуту.

— А сейчас не кажется? — спросила она.

Я застыл, точно громом пораженный, а она сделала еще шаг, затем повернулась ко мне и взглянула в упор. Секунд пять или шесть мы смотрели друг на друга.

— Знаю, это глупо, — заговорила она. — Не просто глупо, а гадко, и нет у меня никакого права так думать, но подчас я ничего не могу с собой поделать. Видите ли, капитан, я собиралась выйти за Джека.

— Угу. — Ничего умнее мне в голову не пришло. — Я вам верю.

С минуту она стояла молча, а потом медленно пошла дальше. И произнесла:

— Капитан, мы знакомы всего лишь пять минут, а я уже с вами разговариваю как со старым другом. Да, замуж я хотела за Джека, но до чего же он сейчас похож на брата!

Если женщине втемяшится в голову какая-

нибудь нелепица, спорить бесполезно, надо поддакивать и ждать, когда самой надоест. Так я и поступил. Мисс Мейми говорила и говорила, а я все кивал, пока наконец она не повернулась ко мне.

— Вот вы соглашаетесь, а сами не верите, — рассмеялась девушка. — Не сомневаетесь же, что Джек — это Джек и что замуж я выхожу за Джека.

Разумеется, я сказал, что не сомневаюсь, — ну сочтет слабохарактерным, какая мне печаль? Ни единым словом не омрачу ее счастье и не буду с ней обсуждать Джека Бентона… Но я же помню, как в Гаване, оставляя судно, он клялся, что не виноват.

— Все равно, — продолжала мисс Мейми в чисто женской манере, то бишь не понимая, о чем говорит. — Все равно жаль, что я не видела своими глазами, как это случилось. Иначе бы знала наверняка.

Тут она испугалась, что я сочту ее бессердечной, и давай оправдываться, мол, предпочла бы сама отдать Богу душу, нежели наблюдать, как погибает за бортом Джим. Оно конечно, логикой женщины не блещут, однако непонятно было мне: разве можно выходить за Джека, подозревая,

что на самом-то деле он Джим? Не иначе, с тех пор как он распростился с морем и поселился на суше, мисс Мейми успела к нему привыкнуть и даже проникнуться чувством.

Шли мы медленно, потому как Джек обещал нас догнать. И вскоре услышали его шаги.

— Капитан, обещайте никому не говорить о том, что сейчас от меня услышали.

Ох уж этот девичий обычай выбалтывать секреты и требовать, чтобы собеседник непременно их сохранил!

Историю эту я рассказываю тебе первому, а с того дня, как сел на поезд и вернулся в город, и до сегодняшнего крепко держал обещание. Все подробности из моего визита к Бентону и мисс Мейми излагать не буду. Невеста познакомила меня со своей матерью, молчаливой, сурового вида вдовой новоанглийского фермера, а также с кузенами и прочей родней, каковой на свадебный обед собралось немало. В числе гостей был и приходской священник, там таких называют примитивными баптистами: высокая верхняя губа — бритая, аппетит — волчий, повадки — высокомерные, словно этот субъект не намерен продолжить знакомство с большинством из нас. Ни дать ни взять нью-йоркский лоцман на борту

итальянского барка — как будто никчемное корыто августейшим визитом удостоил, а ведь ему платят, чтобы не посадил судно на мель. Впрочем, среди приходских священников всегда хватало спесивцев. Таким тоном, как этот баптист читал молитву перед вкушением пищи, шкипер велит выбрать шкоты брамселя до места и переложить руль к ветру.

Тот осенний день выдался теплым. После обеда мы вышли на открытую веранду; молодые парочки отправились гулять по прибрежной дороге; начинался прилив. Утро было ясное, но к четырем часам наполз туман с океана и все покрыл росой. Джек предложил вернуться к нему на ферму — бракосочетание назначено на пять часов, он успеет проверить, все ли готово, и свечи зажечь, чтобы было веселее.

— Я быстро, — пообещал он, когда мы поднялись на крыльцо.

В доме Бентон предложил сигару, и я, закурив, расположился в гостиной. Было слышно, как он ходит по комнатам. Побывал в кухне, поднялся наверх, опять спустился в кухню. И снова шаги на лестнице. Но это уже не его шаги — не мог он туда вернуться так скоро. Затем Джек вошел в гостиную и взял сигару, и, пока разжигал, я опять

услышал шаги наверху.

Из его дрожащих пальцев выпала спичка.

— Тебе тут кто-то помогает? — спросил я.

— Нет! — резко ответил он и зажег другую спичку.

— Джек, мы не одни, — сказал я. — Разве ты не слышал шаги?

— Капитан, это ветер, — ответил он.

Но видно же, что ему страшно.

— Да откуда взяться ветру, Джек? На дворе штиль и туман. Наверху кто-то есть, я уверен.

— Капитан, уж коли вы так уверены, может, сами сходите да посмотрите? — заметно рассердился Джек.

А сердился он потому, что боялся.

Я оставил его подле камина и поднялся на второй этаж. Никакая сила в мире не разубедит меня в том, что я слышал мужские шаги над головой. Сомнений не оставалось: там кто-то есть. И тем не менее наверху я никого не обнаружил. Побывал в спальне — пусто, тихо, в окно льется вечерний свет, рыжеватый из-за тумана. Вернулся на площадку, вошел в комнатушку, предназначавшуюся, должно быть, для служанки или ребенка. А когда выходил, заметил, что дверь третьей комнаты распахнута настежь, хотя я помнил, как

ее запер Джек. Он еще на замок тогда пенял. Я заглянул внутрь. Комната не меньше, чем спальня, но в ней куда темнее — здесь есть ставни, и они затворены. Глаза попривыкли к сумраку, и я обнаружил, что пол заставлен матросскими сундучками, а на кровати грудой лежат штормовки и прочая морская одежка. И все же на втором этаже кто-то прятался. Я вошел в комнату, зажег спичку, осмотрелся. Четыре стены, обтёрханные обои, железная койка, зеркало с трещинами, хлам на полу. И никого. Я погасил спичку, переступил порог, плотно затворил дверь и провернул ключ.

А теперь слушай и не сомневайся, что я говорю чистую правду. Проворачивая ключ, я уловил шаги — в комнате кто-то отходил от двери.

И тут меня такая жуть обуяла — с минуту я стоял ни жив ни мертв. А когда спускался, на каждом шагу оглядывался, совсем как тот рулевой на «Элен Б.».

Джека я нашел снаружи, он курил на крыльце. Эге, да ему, похоже, неуютно в собственном доме.

— Ну как? — постарался он изобразить беззаботность.

— Никого не нашел, — ответил я, — но слышал, как там кто-то ходит.

— Говорю же: ветер, — раздраженно молвил Джек. — Уж я-то знаю, потому что здесь живу и часто это слышу.

Мне нечего было на это ответить, и мы направились к берегу. Джек сказал, что можно не спешить, — мисс Мейми должна нарядиться к венчанию. Был прилив; в густой дымке садилось солнце. Я знал: нынче будет полная луна, и, когда она взойдет, туман схлынет с берега, как будто убоявшись ее. Чувствовалось, Джек не рад тому, что я слышал загадочные звуки в доме, поэтому я говорил с ним о других вещах — в частности, интересовался видами на будущее. Вскоре он успокоился, и мы болтали вполне дружески.

Я редко бывал на бракосочетаниях, да и ты, полагаю, тоже. Но думается мне, та свадьба шла как надо — вот только конец подкачал. Уж не знаю, требовал ли обряд, чтобы Джек взял Мейми за руку и простоял с минуту, глядя невесте в лицо, пока говорил священник.

Мейми вдруг побелела как мел и вскрикнула. Негромко — это был всего лишь задушенный в горле возглас, — но выглядела она испуганной до полусмерти. Священник прервал свою речь и спросил у невесты, что случилось. Ее обступила родня.

— У тебя рука как ледышка! — сказала Мейми Джеку. — И вся мокрая!

Немножко придя в себя, она все глядела на эту руку.

— Да ну? Нет, вроде не холодная, — ответил Джек, приложив ладонь к щеке. — А сейчас потрогай.

Мейми осторожно дотронулась до тыльной стороны его кисти, а затем, осмелев, взяла обеими руками.

— Как странно, — сказала она.

— Девочка весь день сама не своя, — сурово проговорила миссис Брюстер.

— В том, что юная миссис Бентон слегка взволнована в столь важный момент, — назидательно изрек священник, — нет ничего сверхъестественного.

Большинство родственников невесты, люди сплошь занятые, собрались издалека, так что вместо свадебного ужина был дан обед, а после венчания нам предстояло перекусить да отправиться по домам; молодые же пешком пройдут четверть мили до коттеджа Бентона, где, обратил я внимание, ярко светятся окна. Услышав, что на ближайший поезд я едва ли успею, а следующий будет лишь в половине десятого, миссис Брюстер

упросила меня проводить новобрачных. Пришлось задержаться, так как ее дочери нужно было переодеться — свадебное платье с фатой очень красивое, но не идти же в нем домой.

Поужинав на скорую руку, гости стали разъезжаться. Когда остался лишь я один, миссис Брюстер и Мейми поднялись наверх, а мы с Джеком перебрались на веранду — хозяйка не терпела табачного дыма.

Уже взошла луна, она висела у меня за спиной, и в ее белом сиянии все виделось ясно. Гляжу на Джеков коттедж, а там светится одно-единственное окно. С берега на море стек туман. Был высокий прилив, и вода плескалась совсем близко, в каких-то пятидесяти футах за дорогой лизала верхнюю кромку песчаного пляжа.

Мы сидели, курили, и Джек помалкивал. Только поблагодарил за то, что я приехал к нему на свадьбу. В ответ я пожелал ему счастья, и сказано это было от чистого сердца. Смею предположить, он тоже размышлял о шагах наверху, а еще о том, что с появлением женщины в его доме сойдет на нет дух одиночества. Вскоре мы услышали Мейми — она разговаривала на лестнице с матерью; нам же крикнула, что через минуту будет готова. На ней было то же платье, что и утром,

только вечером оно казалось черным, почти как Джеков фрак.

И вот они готовы идти. После дневной суеты тишина казалась мертвой. Я прикинул: теперь они муж и жена, небось им хочется поскорее остаться вдвоем, так что не буду-ка я мешать молодым, а двину прямо отсюда берегом к станции. Пожелал спокойной ночи и не уступил Джеку, с преувеличенным усердием предлагавшему пройтись до его дома. Мейми поцеловала на прощанье мать, а я тем временем смотрел в другую сторону и выбивал о перила веранды гарь из трубки. По прямой дорожке молодожены направились к Джекову дому, а я, прежде чем надеть шляпу, постоял минутку рядом с миссис Брюстер да поглядел им вслед. Шли они рядышком и поначалу малость стеснялись, но вот Джек обнял жену за талию. При этом он находился слева от Мейми, и заливавшее дорогу лунное сияние очень четко очерчивало два силуэта. А еще я заметил тень — широкую, чернильно-черную. Она двигалась справа от Мейми, и неровности обочины то удлиняли ее, то укорачивали.

Я поблагодарил миссис Брюстер, пожелал спокойной ночи, а она попрощалась со мной — слегка дрожащим голосом. Вот тебе и суровая

новоанглича́нка. Когда я спустился с крыльца, она заперла дверь на засов — поступок здравомыслящей женщины. Уже направляясь к берегу, я взглянул — полагая, что напоследок, — вслед молодоженам. А через несколько шагов остановился и посмотрел снова. Что-то мне показалось странным, а вот что именно, я понял лишь с третьего взгляда.

Я не поверил глазам. Мейми шагала между двумя мужчинами. Второй был ростом с Джека, оба на полголовы выше ее. Джек — слева, в черном фраке и котелке, а тот, что справа… Да это же моряк! В лунном свете поблескивают струйки на штормовке и лужица, угнездившаяся между тульей и заломленным сзади полем зюйдвестки. И лоснящаяся влагой рука обнимает талию Мейми как раз над рукой Джека. Я замер, будто на мертвый якорь встал, и решил, что свихнулся. За обедом мы ничего крепче сидра не пили, а вечером только чай. Да я отродясь не бывал пьян, о чем и пожалел в ту минуту, иначе был бы повод успокоиться, ведь хмель горазд шутки шутить с мозгами. Хотя больше всего это походило на кошмарный сон.

Миссис Брюстер очень правильно поступила, уйдя в дом. Что до меня, то я не совладал с любо-

пытством и пошел следом за троицей. Хотелось узнать, чем все кончится. Думал, моряк в мокрой одежде просто растворится в лунном свете. Однако вышло по-другому.

Продвигался я медленно. И шагал, как вспомнилось потом, не по дорожке, а по траве, словно опасался, что услышат. Продолжалось это не больше пяти минут, а казалось, будто целый час. Судя по поведению Джека и Мейми, они не замечали моряка. Девушка не ощущала мокрой руки на своей талии. Мало-помалу трое приближались к коттеджу, а когда они достигли крыльца, я находился в сотне ярдов позади. Что-то вынудило меня остановиться — может, страх? Ведь все происходящее я видел так же ясно, как сейчас вижу тебя.

Мейми уже всходила на крыльцо, и тут моряк медленно дотянулся до Джека и остановил его, взявши за руку. Девушка развернулась на ступеньке, и так все трое простояли секунду-другую. А в следующий миг Мейми закричала. Раньше при мне так кричали лишь единожды, и это был мужчина, которому отхватило руку паровым подъемником.

Лишившись чувств, девушка повалилась на маленькую веранду, а я хотел броситься к ней, но

не смог стронуться с места; волосы под шляпой встали дыбом. Моряк неторопливо повернулся, не отпуская Джека, и с легкостью увлек его за собой. Твердой поступью, неудержимый как рок, он уводил брата по дорожке прочь от дома, и на влажной матросской одежде не угасали лунные отблески. Призрак и человек миновали ворота, пересекли прибрежную дорогу и сошли на песок, где еще стояла высокая вода. Тут мне наконец удалось судорожно глотнуть воздуха, и я побежал по траве, перемахнул через ограду, спотыкаясь, добрался до пляжа. Но они были уже далеко, по пояс в воде, и Джек шагал с опущенной на грудь головой, с безвольно висящей свободной рукой, неуклонно ведомый навстречу гибели мертвым братом. По темной океанской глади разлился свет луны, но впереди белела стена тумана, и на ее фоне я отчетливо видел близнецов. Вот уже вода достигла подмышек; вот накрыла плечи; вот поднялась до полей Джекова котелка. Однако ничья поступь не дрогнула. Две головы все удалялись, все уменьшались… и уже нет Джека, лишь чуть рябит на том месте, где он скрылся под водой, лунный блеск.

Я давно решил при первой же возможности рассказать тебе эту историю. Ведь ты меня знал

и мальчишкой, и взрослым — мы дружим много лет, — вот и хочется услышать, что ты обо всем этом скажешь. Да, я с самого начала подозревал, что не Джим, а Джек упал за борт. Джим мог прийти на выручку, но не сделал этого, а после выдавал себя за брата, обманывал и нас, и девушку. Ежели все так и было, то он получил по заслугам. На следующий день Мейми рассказала: как только они добрались до дома, муж ни с того ни с сего направился к океану и утопился. Знали бы люди, что я при этом присутствовал, обвинили бы меня — за то, что не помешал самоубийству. О случившемся на самом деле я умолчал, да они бы и не поверили. Я лишь дал им понять, что пришел слишком поздно.

Когда я взбежал на крыльцо и помог Мейми встать, она забилась в припадке помешательства. Потом ей полегчало, но рассудок так и не восстановился до конца.

Спрашиваешь, удалось ли найти тело Джека? Когда мое новое судно стояло в Южном порту, я прочел в газете, что восточнее на берег в шторм выбросило два трупа, обезображенных до неузнаваемости. Утверждать, что это братья Бентон, я не стану, но мертвецы держались за руки, и на одном из них была штормовка.

Джозеф Конрад
1857–1924
Тайный сообщник
Случай, произошедший во время прибрежного плавания

1

Направо протянулись ряды кольев для рыболовных сетей, напоминающие таинственную систему полузатонувших бамбуковых заграждений, вторгшуюся неведомо зачем в эти владения тропических рыб. Насколько охватывал глаз, нигде не видно было признаков человеческого жилья, и казалось — эти нелепые заграждения были навсегда покинуты каким-нибудь бродячим племенем рыболовов, ушедшим в другие моря.

Налево — из синей воды — вырастала группа бесплодных островков, похожих на развалины каменных стен, башен и блокгаузов, и самое море, раскинувшееся внизу, у моих ног, такое спокойное и неподвижное, казалось твердым. Даже полоса света от заходящего солнца горела ровно, без тех живых отсветов, какие быва-

ют при едва заметной ряби. Повернув голову, чтобы бросить последний взгляд на буксирное судно, только что оставившее нас на якоре за мелководьем, я увидел прямую линию берега, слившегося с неподвижным морем — в какой-то совершенной и тесной близости — в одну ровную поверхность, наполовину коричневую, наполовину синюю, под необозримым куполом неба. Две маленькие группы деревьев, такие же маленькие, как островки на море, виднелись по обе стороны единственного прорыва в этом безупречном слиянии — устья реки Мейнам, только что оставленной нами в первой, подготовительной стадии нашего путешествия на родину. А дальше, в глубине, более темная величественная масса — роща, окружающая великую Пакнамскую пагоду, — притягивала взор, уставший от бесплодного исследования однообразной дуги горизонта. Там и сям сверкание, словно исходящее от разбросанных кусков серебра, отмечало извилины великой реки, и на ближайшем повороте, как раз на границе мелководья, буксирное судно, уйдя за горизонт, скрылось из моих глаз; исчезли его корпус, труба и мачты, словно бесстрастная земля поглотила его без всякого трепета и без усилия. Я следил глазами за легким облаком ды-

ма из его трубы, поднимавшимся над равниной, то здесь, то там прочерченной извивами реки. Но облако дыма все отдалялось и бледнело, пока я не потерял его наконец за митрообразным холмом великой пагоды. И тогда я остался один со своим кораблем, стоявшим на якоре у берегов Сиамского залива.

На пороге долгого плавания судно неподвижно застыло в окружающей нас необъятной тишине; тени его мачт в лучах заходящего солнца тянулись далеко на восток. Я был один на палубе. На судне — ни единого звука, а вокруг — ни жизни, ни движения; на воде ни одного каноэ, в воздухе ни одной птицы, ни одного облака на небе. В течение этой мертвой паузы в преддверии долгого пути мы, я и мое судно, казалось, измеряли свою приспособленность к длительному и тяжелому испытанию, к труду, какой предназначено было выполнить нам обоим там, где ни один взгляд людской нас не достигал, только небо и море были свидетелями и судьями.

Должно быть, какие-то отсветы в воздухе мешали зрению, потому что только в последнюю минуту перед заходом солнца я разглядел за горным хребтом самого большого островка в группе островов нечто, нарушившее торжественность

полного одиночества. Быстро нахлынула волна темноты, и тотчас, как всегда под тропиками, рой звезд высыпал над затененной землей, а я еще медлил на палубе, легко опустив руку на поручни моего корабля, как на плечо верного друга. Но под взглядами этих бесчисленных небесных светил сладость спокойного общения с судном была нарушена. И вот уже вторглись посторонние звуки — голоса, шаги на носу; стюард пробежал по верхней палубе — суетливый услужливый призрак; на юте настойчиво звенел колокольчик…

В освещенной кают-компании меня ждали два моих помощника. Мы сейчас же уселись за ужин. Передавая блюдо старшему помощнику, я сказал:

— Известно ли вам, что за островами стоит на якоре судно? После захода солнца я видел над горным хребтом его мачты.

Он поднял свое простоватое лицо, густо заросшее бакенбардами, и издал обычное свое восклицание:

— Помилуй бог, сэр! Что вы говорите!

Моего второго помощника, толстощекого молчаливого молодого человека, я считал не по летам серьезным, но тут, взглянув на него, я заметил, как дрогнули его губы. Я сейчас же опустил глаза.

Мне не подобало поощрять зубоскальство на борту моего судна. Следует также отметить, что своих помощников я почти не знал. По некоторым причинам, касающимся лично меня, я был назначен принять командование всего две недели назад. И о своей команде я знал не много. Все эти люди работали вместе около полутора лет, и я был единственным незнакомцем на борту корабля. Упоминаю об этом обстоятельстве, так как оно имеет отношение к дальнейшим событиям. Но острее всего я чувствовал свое незнакомство с судном и, откровенно говоря, не был уверен в самом себе. Я был самым молодым человеком на борту, за исключением второго помощника, и впервые занимал ответственный пост. Пригодность остальных я принимал как данность; им следовало только выполнять свои обязанности, но я не был уверен, удастся ли мне осуществить тот идеал своего «я», какой каждый втайне перед собой рисует.

Тем временем старший помощник, вращая своими круглыми глазами и шевеля грозными бакенбардами, развивал длинную теорию о стоящем на якоре судне. Основная его черта — с величайшей серьезностью обсуждать мельчайшие события. Он отличался умом прилежным.

По его словам, он «любил давать себе отчет» решительно во всем, что попадалось на его пути, вплоть до злополучного скорпиона, которого он нашел в своей каюте неделю назад. Причины и цель появления этого скорпиона, как он попал на борт и избрал именно его каюту, а не кладовую — темный чулан, соблазнительный для всякого скорпиона, и каким образом ухитрился утонуть в чернильнице на его письменном столе, — занимали его без конца. Значительно легче было дать себе отчет относительно судна, стоявшего за островами. Когда мы собрались встать из-за стола, он произнес свой приговор. Он не сомневался, что это судно недавно прибыло с родины. По всем вероятиям, оно глубоко сидело в воде и могло пересечь мелководье только во время сильного прилива. Поэтому оно завернуло в эту естественную гавань, чтобы выждать здесь несколько дней, а не стоять на открытом рейде.

— Правильно, — неожиданно подтвердил второй помощник слегка хриплым голосом. — Оно сидит в воде на двадцать футов. Это «Сефора» из Ливерпуля, с грузом угля. Сто двадцать три дня из Кардиффа.

Мы с удивлением посмотрели на него.

— Мне сказал шкипер с буксирного судна, когда

он поднимался на борт за вашими письмами, сэр, — объяснил молодой человек. — Он предполагает послезавтра ввести его в устье реки.

Ошеломив нас таким образом своей осведомленностью, он выскользнул из кают-компании. Старший помощник с грустью заметил, что «не может дать себе отчета в причудах этого малого». Ему хотелось бы знать, почему тот не сообщил нам об этом сразу.

Он было собрался уходить, но я его задержал. Последние два дня судовая команда была перегружена работой, а прошлую ночь люди почти не спали. Мучительно сознавая, что я — чужой человек на судне — совершаю поступок не совсем обычный, я отдал ему распоряжение отправить всех людей спать, не назначая вахты. Я заявил, что сам останусь на палубе до часа ночи и затем передам вахту второму помощнику.

— В четыре он поставит на вахту кока и стюарда, — закончил я, — а потом вызовет вас. Конечно, при малейшем признаке ветра мы поднимем команду и немедленно снимемся с якоря.

Он скрыл свое удивление.

— Хорошо, сэр!

Выйдя из кают-компании, он просунул голову в каюту второго помощника, чтобы сообщить ему

о моем неслыханном капризе взять на себя пятичасовую вахту. Я слышал, как тот недоверчиво переспросил: «Что такое? Сам капитан?» Опять послышался тихий шепот, и дверь закрылась. Через минуту я вышел на палубу.

Мое положение чужого человека на борту, лишавшее меня сна, вызвало это необычайное распоряжение; за ночные часы я хотел ближе познакомиться с судном, о котором знал еще меньше, чем о его команде. Пока мы стояли у пристани, я даже не мог разглядеть его хорошенько; подобно всякому судну в порту, оно было завалено ненужными вещами, наводнено береговыми жителями, не имеющими к нему никакого отношения. Теперь оно было вымыто и готово к плаванию, и при свете звезд его главная палуба показалась мне очень красивой, очень приятной и очень просторной сравнительно с его размерами. Я спустился с юта и стал ходить по шкафуту, рисуя себе предстоящее плавание через Малайский архипелаг по Индийскому океану и далее к Атлантике. Все фазы этого путешествия были мне знакомы — каждая мелочь, любая случайность, с какой сталкиваешься во время бури, — все, за исключением новой для меня ответственности командования. Но я ободрился, рассудив, что

судно похоже на другие суда, люди на нем — как люди, а море вряд ли скрывает какой-нибудь сюрприз специально для моего поражения.

Придя к такому утешительному выводу, я вспомнил о сигаре и спустился за нею вниз. Там все было тихо. На корме все спали глубоким сном. Я снова вышел на ют. В эту теплую тихую ночь мне легко и приятно было в моей пижаме; босиком, с тлеющей сигарой в зубах я прошел на нос судна, и здесь меня встретило то же глубокое молчание. Только проходя мимо двери бака, я услышал спокойный, безмятежный вздох кого-то из спящих там. И неожиданно, сравнив великий покой моря с непокоем земли, я порадовался тому, что избрал эту жизнь, чуждую искушений, лишенную волнующих проблем, одухотворенную простой моральной красотой абсолютной честности и прямоты.

Фонарь на носу горел чистым неподвижным, словно символическим пламенем, доверчивым и ярким в таинственных тенях ночи. Проходя к корме по другой стороне судна, я заметил, что веревочный трап, спущенный, несомненно, для шкипера буксирного судна, приезжавшего за нашими письмами, не был втянут наверх, как полагалось. Я был раздосадован, так как исполни-

тельность в мелочах — душа дисциплины. Потом я вспомнил, что сам освободил своих помощников от исполнения их обязанностей и этим распоряжением помешал назначить вахту и привести судно в порядок. Я задавал себе вопрос, благоразумно ли вмешиваться и нарушать установленную рутину, хотя бы с самыми благими намерениями. Один бог ведает, какой «отчет» дал себе волосатый помощник о моем поведении и что подумала вся команда об этом несоблюдении обычного порядка ее новым капитаном. Я был недоволен собой.

Совершенно машинально я протянул руку, чтобы убрать трап. Веревочный трап — вещь легкая, и втащить его нетрудно; я сильно дернул его, и в результате он должен был бы взлететь на борт, но, однако, он не взлетел, а я от резкого движения откинулся назад. Что за чертовщина?.. Я был так ошеломлен неподвижностью этого трапа, что с минуту стоял как вкопанный, стараясь, подобно своему глуповатому помощнику, дать себе отчет в этом явлении. В конце концов я, конечно, свесил голову за поручни.

Корабль отбрасывал темный пояс тени на стеклянную мерцающую поверхность моря, но я сразу разглядел что– то бледное и продолговатое,

плавающее у самого трапа. Прежде чем у меня успела мелькнуть какая-нибудь догадка, слабая вспышка фосфоресцирующего света, исходившего, казалось, из обнаженного тела человека, сверкнула в спящей воде, как молчаливая обманчивая игра зарниц в ночном небе. И, ахнув, я увидел пару длинных ног и широкую синеватую спину, погруженную по самую шею в зеленое мертвенное сияние. Одна рука, высунутая из воды, цеплялась за нижнюю перекладину трапа. Человек был здесь, так сказать — полностью, не хватало только головы. Безголовый труп! Сигара выпала из моего разинутого рта, тихий всплеск и короткое шипение были ясно слышны в абсолютной тишине. И тут-то он поднял лицо — тусклый бледный овал в тени, отбрасываемой кораблем. Но даже и теперь я едва мог разглядеть контуры его черноволосой головы. Однако этого было достаточно, чтобы рассеялся леденящий страх, сдавивший мне сердце. И момент для праздных восклицаний миновал. Я только перегнулся возможно дальше через поручни, чтобы приблизиться к этому таинственному человеку за бортом.

Он висел, держась за трап, как отдыхающий пловец, и при каждом движении морские мол-

нии загорались вокруг его тела. В воде он казался призрачной серебристой рыбой. И он молчал, как рыба. Он не делал попытки выбраться из воды. Было непостижимо, почему он не старается подняться на борт, и странно волновало подозрение, что, быть может, он этого и не хочет. И первые мои слова были вызваны именно этой волнующей неизвестностью.

— В чем дело? — спросил я своим обычным тоном, обращаясь к лицу, повернутому ко мне снизу.

— Судорога, — ответил он тихо и сейчас же прибавил с легким беспокойством: — Послушайте, не нужно никого звать.

— Я и не собирался, — сказал я.

— Вы один на палубе?

— Да.

Почему-то мне показалось, что он собирается отпустить трап и уплыть прочь так же таинственно, как и появился. Но в данный момент это существо, поднявшееся как будто со дна моря — а это была ближайшая земля от нашего судна, — пожелало только узнать, который час. Я сказал ему. Он спросил нерешительно:

— Должно быть, ваш капитан спит?

— Уверен, что нет, — сказал я.

Казалось, он боролся с собой. Мне послышался тихий горький шепот: «Что толку?..» Следующие слова он произнес с заметным усилием:

— Слушайте, старина... Не можете ли вы тихонько его вызвать?

Я решил, что наступил момент раскрыть свое инкогнито.

— Я — капитан.

На уровне воды послышалось тихое восклицание: «Ах, бог мой!» Фосфоресцирующие вспышки пробежали по замутившейся воде вдоль его тела. Вторая рука схватилась за трап.

— Моя фамилия — Леггетт.

Голос звучал спокойно и решительно. Приятный голос. Самообладание этого человека каким-то образом передалось и мне. Я заметил очень спокойно:

— Вы, должно быть, хороший пловец.

— Да. Я был в воде с девяти часов. Теперь передо мной стоит вопрос — отпустить ли мне этот трап и плыть до тех пор, пока не утону, выбившись из сил, или... подняться на борт.

Я чувствовал, это — не просто слова отчаяния. Нет, сильный человек решал серьезную, крайне важную для него проблему. Отсюда я мог бы заключить, что он молод; в самом деле, только

молодость не боится стать лицом к лицу с подобным исходом. Но в тот момент я это чувствовал чисто интуитивно. Между нами двумя уже наладилось таинственное общение перед лицом молчаливого темного тропического моря. Я тоже был молод… достаточно молод для того, чтобы не делать никаких замечаний. Человек в воде стал неожиданно взбираться по трапу, а я поспешил отойти от перил, чтобы принести ему одежду.

Прежде чем войти в каюту, я остановился у последней ступеньки и прислушался. Из-за двери каюты старшего помощника доносилось слабое похрапывание. Дверь каюты второго помощника была открыта и закреплена на крюк; там царила абсолютная тишина. Он тоже был молод и мог спать мертвым сном. Оставался еще стюард; но можно было думать, что он не проснется, пока его не позовут. Я взял из своей каюты вторую пижаму и, вернувшись на палубу, увидел нагого человека из моря. Его тело слабо светилось в темноте. Он сидел на люке, упершись локтями в колени и опустив голову на руки. В одну секунду он надел на мокрое тело такую же серую полосатую пижаму, какая была на мне, и последовал за мной, как мой двойник, на корму. Мы оба шли молча, босиком.

— Что это значит? — спросил я заглушённым

голосом, вынув из нактоуза зажженную лампу и подняв ее к его лицу.

— Скверное дело.

У него были довольно правильные черты лица, красивый рот, светлые глаза под несколько тяжелыми темными бровями, гладкий четырехугольный лоб, никакой растительности на щеках, темные усики и хорошо очерченный круглый подбородок. Свет лампы, которую я держал в руке, падал на его серьезное, сосредоточенное лицо; такое выражение бывает у человека, размышляющего наедине с самим собой. Моя пижама пришлась как раз по нему. Хорошо сложенный парень, лет двадцати пяти, не больше. Нижнюю губу он закусил белыми ровными зубами.

— Да, — неопределенно сказал я, ставя лампу в нактоуз.

Тяжелая, теплая тропическая ночь снова сомкнулась над его головой.

— Там, за островами, стоит на якоре судно, — прошептал он.

— Знаю. «Сефора». А вы о нас знали?

— Не имел ни малейшего представления. — Я — помощник на «Се...». — Он запнулся и поправился: — Следовало бы сказать — я был помощником.

— Так! Что-нибудь неладно?

— Да. Очень неладно. Я убил человека.

— Что вы хотите сказать? Только что?

— Нет, во время плавания. Несколько недель назад. На тридцать девятой южной… Если я говорю: человека…

— В припадке бешенства, — уверенно подсказал я.

Затененная темная голова, похожая на мою, едва заметно кивнула над моей призрачно-серой пижамой. Казалось, я стою в ночи перед своим собственным отражением в глубине мрачного необъятного зеркала.

— Недурное признание для конуэйского питомца, — прошептал мой двойник.

— Вы учились на «Конуэе»?

— Да, — сказал он, как будто слегка встревоженный; потом медленно прибавил: — Быть может, и вы также…

— Да, и я.

Но, будучи года на два старше, я окончил раньше, чем он поступил. Мы быстро обменялись датами, затем наступило молчание. Внезапно я вспомнил о своем нелепом помощнике с его страшными бакенбардами и характерным восклицанием: «Помилуй бог! Что вы говорите!»

Мой двойник дал мне нить к своим мыслям, сказав вслух:

— Мой отец — священник в Норфолке. Вы представляете себе меня перед судом присяжных по такому обвинению? Я лично не вижу никакой необходимости. Бывают такие парни, которые ангела доведут до… Он был одной из тех тварей, которые напичканы всякой дрянью. Таким негодяям незачем жить. Он не исполнял своего долга и мешал другим. Да что говорить! Вам достаточно известна эта порода злостных, брюзгливых собачонок…

Он взывал ко мне, словно наш опыт был сходен так же, как и наши костюмы. И действительно, я понимал всю опасность, когда сталкиваешься с подобными типами и не имеешь возможности воздействовать на них путем законных репрессий. И знал я так же хорошо, что мой двойник — не зверский убийца. Я не подумал расспрашивать его о деталях. Он рассказал мне свою историю в общих чертах, резкими, отрывистыми фразами. Большего мне не было нужно. Я видел все происшедшее с такой ясностью, словно сам находился в пижаме того, другого.

— Это случилось в сумерки, когда мы ставили зарифленный фок. Вы представляете себе, что

было на море… У нас остался один этот парус; вам нетрудно догадаться, что это длилось уже много дней. И работа была адская. Он швырнул мне какое-то ругательство. А меня доконала эта погодка. Казалось, ей и конца не будет. Ужас! А судно глубоко сидело в воде. Должно быть, парень был вне себя от страха. Мне было не до вежливых увещаний. Я повернулся и налетел на него, как бык. Он вскочил и — на меня. Мы сцепились как раз в тот момент, когда гигантский вал шел на судно. Вся команда бросилась к снастям, а я схватил его за горло и стал трясти, как крысу… Люди над нами вопили: «Берегитесь! Берегитесь!» Потом раздался треск, словно небо обрушилось на мою голову. Они говорят, что десять минут судно было под водой, только три мачты, кусок бака и кормы торчали из кипящей пены. Каким-то чудом нас не смыло. Они нашли нас прижатыми за бимсами. Ясно, что дело было нешуточное; я все еще держал его за горло, когда они нас подобрали. Лицо у него почернело. Этого они не вынесли. Кажется, они потащили нас, сцепленных вместе, на корму, потом с криком: «Убийство!» — как помешанные, ворвались в кают-компанию. А судно тем временем неслось навстречу смерти, и каждая минута могла стать последней… Волосы могли поседеть

от одного вида волн. Мне говорили, что шкипер тоже стал бесноваться, как и все остальные. Человек больше недели не смыкал глаз, а этот удар обрушился в самый разгар шторма и чуть не свел его с ума. Удивляюсь, как они не швырнули меня за борт, после того как вырвали из моих рук труп их драгоценного помощника. Говорят, им нелегко было нас расцепить. Страшный рассказ… заставит подпрыгнуть какого-нибудь старого судью и достойных присяжных… Первое, что я услышал, придя в себя, было все то же завывание шторма. Оно сводило с ума, а над ним вздымался голос старика. Он стоял в своей зюйдвестке над моей койкой и смотрел мне в лицо. «Мистер Леггетт, вы убили человека. Вы больше не можете служить старшим помощником на этом судне».

Его старания понизить голос делали рассказ монотонным. Одной рукой он опирался о край люка и, поскольку я мог заметить, за все это время не пошевельнулся.

— Славная историйка! Приятно рассказать за чашкой чая, — закончил он тем же тоном.

Моя рука тоже лежала на краю люка. И я не шевелился. Внезапно мне пришло в голову: если бы старый «Помилуй бог! Что вы говорите!» выглянул из люка и заметил нас, он констатировал бы

у себя раздвоение зрения. Или вообразил бы, что наткнулся на жуткую сцену колдовства: новый капитан спокойно болтает со своим собственным серым призраком. В моих интересах было предупредить его появление. Я снова услышал шепот:

— Мой отец — священник в Норфолке…

По-видимому, он забыл, что уже сообщил мне этот важный факт. Поистине славная историйка…

— Лучше пробраться сейчас в мою каюту, — сказал я, осторожно пускаясь в путь.

Мой двойник последовал за мной; наши босые ноги ступали бесшумно. Я впустил его, неслышно запер дверь и, разбудив второго помощника, вернулся на палубу ждать смену.

— Пока никаких признаков ветра, — заметил я, когда подошел помощник.

— Да, сэр, никаких, — подтвердил он сонно своим хриплым голосом без особого почтенья и с трудом подавил зевок.

— Только за этим вы и должны следить. Распоряжения вы получили?

— Да, сэр.

Я прошел еще раз-другой по юту и только тогда спустился вниз, когда он занял свой пост, став лицом вперед и облокотившись на ванты

бизани. Снова донеслось до моего слуха мирное похрапывание старшего помощника. Лампа в кают-компании горела над столом, где стояла ваза с цветами — знак внимания со стороны купца, поставлявшего провиант на наше судно, последние цветы, какие нам суждено было видеть по крайней мере в течение трех месяцев. С бимса свешивались две связки бананов, симметрично, по обе стороны кожуха рудерпоста. На судне все было как и раньше… за исключением того, что две пижамы его капитана находились в употреблении одновременно: одна неподвижно застыла в кают-компании, другая притаилась в капитанской каюте.

Здесь необходимо упомянуть, что моя каюта по форме напоминала латинскую букву L. Дверь открывалась в короткую часть буквы. Налево помещалась кушетка, направо — койка; письменный стол и стол с хронометрами стояли прямо против двери. Открыв дверь, нельзя было увидеть всей комнаты; та ее часть, какую я называю длинной или вертикальной частью буквы, была скрыта от входящего, если только не пройти сразу дальше. Там стояло несколько ящиков, на них возвышался книжный шкаф. На крючках висела кое-какая одежда, толстая куртка, фураж-

ки, штормовка. В конце этой части каюты была дверь, ведущая в мою ванную. В нее можно было войти также и прямо из кают-компании, но этой дверью никогда не пользовались.

Таинственный пришелец успел обнаружить преимущества этой своеобразной формы. Каюта была ярко освещена большой лампой, висевшей на медных кольцах над моим письменным столом, но его я нигде не видел, пока он не показался из-за вешалки в дальнем конце.

— Я слышал, как рядом кто-то двигается, и поскорей зашел сюда, — прошептал он.

Я отвечал так же тихо:

— Вряд ли кто войдет сюда, не постучав и не получив разрешения.

Он кивнул. Лицо у него было худое, и загар сошел с него, словно он перенес тяжелую болезнь. И неудивительно. Как я узнал, его держали под арестом в каюте в течение семи недель. Но в глазах и выражении лица не было ничего, что говорило бы о болезни. В действительности он ничуть не был на меня похож; однако, когда мы стояли бок о бок, наклонившись над моей койкой и сдвинув наши темные головы, спиной к двери, — тот, кто осмелился бы приоткрыть ее, мог бы насладиться жутким зрелищем: капитан шепотом разговари-

вает со своим вторым «я».

— Но все это не объясняет мне, каким образом вы прицепились к нашему трапу, — осведомился я еле слышным шепотом, когда он кончил рассказ о дальнейших событиях на борту «Сефоры», разыгравшихся после шторма.

— У меня было время обдумать все это многократно до того, как мы завидели мыс Явы. Шесть недель мне ничего другого не оставалось делать. Только по вечерам меня на часок выпускали на шканцы для прогулки.

Он сложил руки на краю моей койки и глядел прямо перед собой в открытый иллюминатор. И я отчетливо мог себе представить напряженную работу его мысли за эти шесть недель — упорный, но не очень-то спокойный процесс, на какой я лично был бы совершенно не способен.

— По моим расчетам, должно было стемнеть до того, как мы приблизимся к земле, — продолжал он так тихо, что я вынужден был напрягать слух, хотя мы стояли рядом, почти касаясь друг друга. — Я попросил позвать капитана. Старик выглядел совсем больным всякий раз, как приходил ко мне, — казалось, он не мог смотреть мне в лицо. Вы знаете, ведь тот самый фок спас судно. Оно сидело слишком глубоко, чтобы долго

держаться без парусов. А заставил поднять фок я. Старик пришел. Войдя в мою каюту, он остановился у двери и смотрел на меня так, словно уже видел веревку вокруг моей шеи. Я в упор сказал ему, чтобы не запирали дверь моей каюты в ту ночь, когда судно войдет в Зондский пролив. Берег Явы должен был находиться тогда на расстоянии двух-трех миль от мыса Аньер. Больше мне ничего не было нужно. Я получил приз за плавание в мой второй год на «Конуэе».

— Этому можно поверить, — прошептал я.

— Одному богу известно, зачем они запирали меня каждую ночь. Стоило посмотреть на их лица: казалось, они боялись, что я буду разгуливать по ночам и душить людей. Разве я — убийца? Похож я на такого? Да ведь тогда он бы не осмелился войти в мою каюту! Вы скажете, что я мог отшвырнуть его в сторону и выскочить, — было уже темно. Ну нет. И у меня были основания не взламывать двери. Они сбежались бы на шум, а я не хотел впутываться в новую историю. Во время драки могло произойти еще одно убийство — ведь я стал бы ломать дверь не для того, чтобы меня загнали обратно. Он отказал мне, и вид у него был совсем больной. Он боялся своих людей, боялся второго помощника, с которым плавал много лет,

старого седого вруна. И его стюард плавал с ним черт знает сколько времени — лет семнадцать, если не больше, закоренелый бродяга, ненавидевший меня, как чуму, за то только, что я был старшим помощником. Знаете, на «Сефоре» ни один старший помощник не выдерживал больше одного плавания. Эти два старика заправляли судном. И чего только не боялся шкипер! Нервы его ни к черту не годились после того шторма, какой мы выдержали. Боялся суда, а быть может, и своей жены. О да! Она была на борту. Но вряд ли она вмешалась бы в это дело. Она была бы рада спровадить меня с судна. «Печать Каина», видите ли... А я готов был уйти и скитаться по лицу земли, и это достаточная расплата за такого Авеля. Но как бы там ни было, а он не хотел меня слушать. «Это дело должно идти своим порядком. Здесь я являюсь представителем закона». Он дрожал, как лист. «Значит, вы не хотите?» — «Нет». — «Ну, я надеюсь, вы в состоянии будете спать после этого», — сказал я и повернулся к нему спиной. «Я удивляюсь, как можете спать вы!» — крикнул он и запер дверь. Признаться, мне уже не спалось. Это было три недели назад. Мы миновали Яванское море, дней десять дрейфовали около Кариматы. Когда мы бросили здесь

якорь, они решили, что теперь-то уж все в порядке. Ближайшая земля находится на расстоянии пяти миль, туда мы и направлялись. Консул, конечно, сейчас же начал бы разыскивать меня. А бежать на эти островки не имело смысла. Вряд ли найдется на них хоть капля воды. Не знаю, как это случилось, но сегодня вечером стюард, принеся мне ужин, вышел и оставил дверь незапертой. Я поужинал. Съел все, что было. Покончив с едой, я вышел на шканцы. Не знаю, собирался ли я что-нибудь предпринять. Думаю, просто захотелось подышать свежим воздухом. Потом внезапно я поддался соблазну. Я сбросил туфли и очутился в воде, прежде чем успел принять решение. Кто-то услыхал плеск, поднялась суматоха: «Он удрал! Спускайте шлюпки! Он покончил с собой! Нет, он плывет!» Конечно, я плыл. Такому пловцу, как я, не очень-то легко утопиться. Я добрался до ближайшего островка, пока они спускали шлюпку. Я слышал, как они гребли в темноте и окликали меня, но вскоре они отказались от поисков. Все стихло, вода замерла. Я сел на камень и стал думать. Я был уверен, что они возобновят поиски на рассвете. На этих каменистых островах спрятаться было негде, да и что толку? Но, раз удрав с судна, я уже не намеревался туда воз-

вращаться. Подумав немного, я разделся, связал одежду в узел, положил туда камень и бросил в воду с наружной стороны островка. С меня было достаточно такого самоубийства. Пусть думают, что хотят, но топиться я не собирался. Я хотел плыть, пока не утону, но это — не одно и то же. Я перебрался на другой островок и оттуда впервые увидел ваш огонь. Передо мной была какая-то цель. Я продвигался легко. По дороге я наткнулся на плоскую скалу, выступающую из воды фута на два. Днем вы, наверно, можете увидеть ее в бинокль с кормы. Я вскарабкался на нее и передохнул. Потом снова бросился и воду. На этот раз я проплыл без отдыха больше мили.

Его шепот становился слабее и слабее, и все время он смотрел прямо перед собой в иллюминатор, где даже звезд не было видно. Я не перебивал его. Было что-то в его рассказе, или, быть может, в нем самом, что мешало репликам, — странное чувство, которому я не могу подыскать названия. А когда он замолчал, я только прошептал чуть слышно:

— Значит, вы плыли на наш огонь?

— Да. Прямо на него. Была какая-то цель. Я не видел звезд над горизонтом — их заслонял берег, и суша мне была не видна. Вода была как стекло.

Казалось, плывешь в каком-то проклятом водоеме глубиной в тысячу футов, и нет места, куда бы выбраться. Но мне не хотелось крутиться, словно бешеный бык, на одном месте, пока не выбьюсь из сил, а так как возвращаться я не хотел… Вы представляете себе, как меня, совершенно голого, тащат с одного из этих маленьких островков, а я отбиваюсь, как дикий зверь? Наверняка кто-нибудь был бы убит, а этого я не хотел. Вот я и плыл. Потом ваш трап…

— Почему вы нас не окликнули? — спросил я чуть-чуть громче.

Он слегка тронул мое плечо. Прямо над нашими головами раздались ленивые шаги, потом сразу все стихло. Второй помощник перешел на другой борт юта и, вероятно, остановился, перегнувшись через поручни.

— Он не может нас слышать? — с беспокойством прошептал мне в самое ухо мой двойник.

Его волнение было достаточно ясным ответом на мой вопрос. Ответ вскрывал всю трудность создавшегося положения. Для большей безопасности я закрыл иллюминатор.

— Кто это? — шепнул он.

— Мой второй помощник. Но я его знаю не больше, чем вы.

И я рассказал ему кое-что о себе. Всего две недели назад я был назначен принять командование, когда я мог меньше всего этого ожидать. Я не знал ни судна, ни людей. В порту не было времени разобраться в новых лицах. А что касается матросов — им было известно только, что мне поручено отвести корабль домой. Во всех остальных отношениях я себя чувствовал почти таким же чужим на борту, как и он. В настоящий момент это чувство особенно обострилось. Я знал, что в глазах судовой команды любой пустяк может сделать меня подозрительной личностью.

Он повернулся ко мне, пока я рассказывал, и мы — два чужих на корабле человека — стояли друг против друга.

— Ваш трап, — зашептал он снова. — Кто бы мог подумать, что в этих водах можно наткнуться ночью на судно со спущенным трапом! Я как раз почувствовал неприятную слабость. Всякий расклеился бы после той жизни, какую я вел в продолжение девяти недель. Я не в силах был доплыть до вашего сорлиня. И вдруг вижу — трап, за который можно ухватиться! Я ухватился за него. Потом подумал: «А что толку в этом?» Когда я увидел голову человека, свесившуюся за поручни, я решил, что сейчас уплыву. Пускай он

кричит… на каком угодно языке. Мне было все равно, что на меня смотрят. Мне… мне это даже нравилось. А тут вы заговорили со мной так спокойно, точно вы меня ждали. И я решил остаться немного дольше. Я был чертовски одинок, рад был поболтать с кем-нибудь, если он только не с «Сефоры». А о капитане я спросил чисто импульсивно. Мне незачем было его видеть, если весь экипаж узнает обо мне, а утром сюда, наверное, наведаются с «Сефоры». Не знаю… мне хотелось кого-нибудь увидеть, поговорить, перед тем как уплыть. Не знаю, что бы я ему сказал. «Славная ночь, не правда ли?» — или что-нибудь в этом роде…

— Вы думаете, они сюда явятся? — недоверчиво спросил я.

— Очень возможно, — слабым голосом отозвался он.

Он сразу как-то осунулся, постарел. Голова свесилась на плечо.

— Гм… Ну посмотрим. А пока что полезайте на койку, — прошептал я. — Помочь вам?

Это была довольно высокая койка с ящиками внизу, а мой изумительный пловец действительно нуждался в помощи, которую я ему и оказал, поддержав его за ногу. Он влез, растянулся на

спине и рукой прикрыл глаза. Лица его не было видно; он, вероятно, выглядел точь-в-точь как я, когда лежу в постели. С минуту я глядел на свое второе «я», потом заботливо задернул зеленые саржевые занавески, спускавшиеся с медной палки. Сначала я хотел скрепить их булавкой для большей безопасности; но я успел опуститься на кушетку, и мне не хотелось вставать и разыскивать булавку. Я решил посидеть минутку, а потом сколоть занавески. Какая-то странная усталость охватила меня; быть может, она была вызвана крайним напряжением, усилиями говорить шепотом, действовать украдкой, таинственностью всего происшедшего. Было уже три часа ночи, а с девяти часов я был на ногах, но спать мне не хотелось; я не мог заснуть. Я сидел, измученный, уставившись на занавески, и старался отделаться от смутного ощущения, будто я нахожусь одновременно в двух местах, а в голове отчаянно стучало, и это меня раздражало. Вдруг я с облегчением обнаружил, что стучит вовсе не в голове, а кто-то колотит в дверь. Не успел я опомниться, как с языка моего уже сорвалось: «Войдите!» Вошел стюард с подносом. Он принес мне утренний кофе. Значит, я все-таки спал! Я так испугался, что оглушительно крикнул: — Сю-

да, стюард! Я здесь! — словно он был от меня за несколько миль.

Он поставил поднос на стол рядом с кушеткой и только тогда сказал очень спокойно:

— Я вижу, что вы здесь, сэр.

Я чувствовал на себе его взгляд, но не осмеливался поднять на него глаза. Должно быть, он недоумевал, зачем я задернул занавески у койки, а сам спал на кушетке. Он вышел, открыв, как обычно, дверь и заложив крюк.

Слышно было, как команда мыла палубу. Я знал, что мне доложат, если появятся признаки ветра. «Значит, штиль», — с досадой подумал я. Я был раздражен за двоих. И действительно, я чувствовал еще сильнее свое раздражение. Вдруг в дверях снова показался стюард. Я так быстро вскочил с кушетки, что он вздрогнул.

— Что вам здесь нужно?

— Закрыть иллюминатор, сэр. Они моют палубу.

— Он закрыт, — сказал я, краснея.

— Очень хорошо, сэр.

Но он не уходил и смотрел на меня каким-то странным, двусмысленным взглядом. Затем он отвел глаза, выражение его лица сразу изменилось, и голос стал необыкновенно мягким, почти

вкрадчивым:

— Можно мне войти и забрать пустую чашку, сэр?

— Конечно!

Я повернулся к нему спиной, пока он вертелся в каюте. Потом я откинул крюк, запер дверь и даже заложил болт. Такое положение не могло продолжаться долго. Уже сейчас в каюте было жарко, как в печке. Я заглянул к своему двойнику и обнаружил, что он ни разу не пошевельнулся и по-прежнему прикрывал глаза рукой, но грудь его вздымалась тяжело, волосы были мокрые, а подбородок блестел от пота. Я протянул над ним руку и открыл иллюминатор.

«Мне следует показаться на палубе», — подумал я.

Конечно, теоретически я мог делать все, что угодно, никто не стал бы мне противоречить; но запереть дверь каюты и взять с собой ключ я не посмел. Выглянув из каюты, я увидел моих двух помощников; первый — в высоких резиновых сапогах, второй — босиком. Они стояли на юте, а стюард, стоя на ступеньке трапа, о чем-то с жаром им рассказывал. Случайно он меня заметил и юркнул вниз; второй помощник побежал на верхнюю палубу, выкрикивая какие-то приказа-

ния, а старший пошел мне навстречу, приложив руку к фуражке.

В глазах его светилось любопытство, оно мне очень не понравилось. Я не знаю, сказал ли им стюард, что я — чудак или попросту пьян, но одно было несомненно: этот человек намеревался ко мне присматриваться. Я встретил его улыбкой, которая, едва он ко мне приблизился, сразу возымела свое действие и заморозила его до самых бакенбард. Я не дал ему открыть рот.

— Поставьте реи прямо, прежде чем команда пойдет завтракать.

То было первым распоряжением, какое я отдал на борту этого судна; и я остался на палубе, чтобы следить за его исполнением. Я воспользовался случаем осадить разок-другой юного зубоскала и внимательно всматривался в лица всех фоковых матросов, проходивших мимо меня к кормовым брасам. За завтраком я ничего не ел и председательствовал с таким ледяным достоинством, что оба помощника рады были ускользнуть, как только представится к тому удобный повод. Все это время двойная работа мозга доводила меня чуть ли не до помешательства. Я непрерывно следил за собой, а мое второе, тайное «я», зависящее от моих поступков не меньше меня самого,

спало в койке, за той дверью, прямо против меня, когда я сидел во главе стола. Это состояние было близко к сумасшествию и ухудшалось еще тем, что я отчетливо его сознавал.

Целую минуту я должен был его расталкивать. Открыв наконец глаза, он сразу все вспомнил и вопросительно посмотрел на меня.

— Пока что все в порядке, — шепнул я. — Теперь вы должны скрыться в ванной.

Он вышел бесшумно, как призрак, а я позвонил стюарду и, смело глядя ему в лицо, приказал прибрать мою каюту, пока я принимаю ванну, и «поторопиться». Мой тон не допускал возражений. Он сказал: «Да, сэр», — и побежал за совком и щетками. Я влез в ванну, плескался и насвистывал в назидание стюарду, а мой тайный сообщник стоял, вытянувшись по швам, в крошечном свободном пространстве. При дневном свете его лицо казалось осунувшимся, веки были опущены под строгой темной линией бровей, сдвинутых на переносице в легкую морщину.

Когда я, оставив его там, вернулся в каюту, стюард кончал стирать пыль. Я послал за помощником и завязал с ним какой-то разговор. Кажется, я стал подсмеиваться над его устрашающими бакенбардами, но моя цель была — дать

ему возможность осмотреть мою каюту. После этого я мог наконец со спокойной совестью запереть дверь каюты и впустить моего двойника. Ему пришлось сидеть в дальнем углу, на маленьком складном стуле. Висевшие там штормовки едва его не придушили. Мы прислушивались, как стюард вошел в ванную из кают-компании, привел все в порядок, наполнил водой графины, вымыл ванну, вышел снова в кают-компанию, хлопнул дверью и повернул ключ. Таков был мой план сделать невидимым мое второе «я». Лучшего средства нельзя было придумать при данных условиях. Так мы и сделали: я — за письменным столом, делая вид, будто занимаюсь своими бумагами, он — за моей спиной, так, что его не видно было в открытую дверь. Днем переговариваться было рискованно; а я не мог вынести этого странного ощущения — перешептывания с самим собой. Время от времени я оглядывался на него через плечо. Он сидел, словно застыв, на низком стуле, сдвинув босые ноги, со скрещенными руками. Голова его свесилась на грудь. Он был абсолютно неподвижен. Всякий принял бы его за меня. Я сам был этим зачарован. Каждую секунду я озирался через плечо. Я смотрел на него, когда за дверью раздался голос:

— Прошу прощения, сэр.

— Да?

Я не спускал с него глаз, и когда голос за дверью возвестил: «К нам плывет шлюпка с корабля, сэр», — я увидел, как он вздрогнул, — первое движение за несколько часов. Но он не поднял склоненной головы.

— Хорошо, спустите трап.

Я колебался. Быть может, шепнуть ему что-нибудь? Но что? Его неподвижность, казалось, была вечной. Что мог я ему сказать, чего бы он еще не знал?.. Наконец я вышел на палубу.

2

У шкипера «Сефоры» лицо было обрамлено жидкими рыжими бакенбардами, румянец соответствовал цвету волос, а глаза были масленые, голубые. Его нельзя было назвать видным человеком — плечи приподнятые, рост средний, одна нога слегка искривлена. Он поздоровался, рассеянно озираясь по сторонам. Я решил, что основной его чертой было тупое упрямство. Вежливость, с какой я с ним обращался, казалось, приводила его в замешательство. Быть может, он стеснялся. Он промямлил несколько слов, словно стыдился своего голоса, отрекомендовался (что-

то вроде Арчболд, — но теперь, по прошествии многих лет, я не могу точно припомнить), упомянул о «Сефоре» и еще кой о чем. У него был вид преступника, делающего тяжелое, мучительное признание. Он перенес ужасный шторм, ужасный… и жена на борту.

К тому времени мы уже сидели в кают-компании, а стюард принес поднос с бутылкой и стаканами. «Благодарю! Нет». Он никогда не пьет спиртного. Предпочитает воду. Он выпил два полных стакана. Ужасная жажда! С рассвета они исследовали острова вокруг его корабля.

— С какой целью? Для развлечения? — вежливо поинтересовался я.

— Нет! — Он вздохнул. — Тяжелый долг.

Он продолжал бормотать что-то невнятное, а мне хотелось, чтобы мой двойник мог слышать каждое слово, поэтому я сообщил ему, что, к сожалению, я туг на ухо.

— Такой молодой человек! — покачал он головой, пристально глядя на меня своими маслеными глупыми голубыми глазами. Явилось ли это следствием какой-нибудь болезни? — осведомился он без малейшего оттенка сочувствия, словно, по его мнению, я получил то, чего заслуживал.

— Да, болезнь, — согласился я небрежным то-

ном, видимо удивившим его.

Но цель моя была достигнута: ему пришлось повысить голос, чтобы рассказать мне всю историю. Не имеет смысла передавать здесь его версию. Все это произошло около двух месяцев назад, но он до сих пор находился под впечатлением случившегося и столько об этом думал, что в голове у него все перепуталось.

— Что бы вы сказали, если бы такая история произошла на вашем собственном судне? Я плаваю на «Сефоре» уже пятнадцать лет. Я — старый шкипер.

Он был сильно расстроен. Быть может, я бы и посочувствовал ему, если бы перед моими глазами не стоял все время тайный мой сообщник, словно он был моим вторым «я». Он сидел там, за перегородкой, и какие-нибудь четыре-пять футов отделяли его от нас. Я вежливо глядел на капитана Арчболда (если такова его фамилия), но видел перед собой другого, в серой пижаме, сидящего на низком стуле, со сдвинутыми босыми ногами и скрещенными руками, и каждое слово, сказанное нами, проникало в его темную голову, опущенную на грудь.

— Я плаваю уже тридцать семь лет, но никогда не слыхивал о подобном происшествии на

английском судне. И это случилось на моем корабле! И жена на борту!

Я едва его слушал.

— Не думаете ли вы, — начал я, — что сильный удар волны, перекинувшейся, как вы сказали, в тот момент через борт, мог убить этого человека? Я видел однажды человека, убитого волной; она сломала ему шею.

— Бог мой! — воскликнул он, впиваясь в меня своими маслеными голубыми глазами. — Волна! Человек, убитый волной, не может иметь такой вид.

Он был буквально скандализован моим предположением. И когда я менее всего ожидал с его стороны чего-нибудь оригинального, он придвинулся ко мне и так неожиданно высунул язык, что я невольно отпрянул.

Нарушив столь живописным образом мое спокойствие, он глубокомысленно кивнул. Если бы я видел это лицо, заверил он меня, я не забыл бы его до конца своей жизни. Волнение было настолько сильно, что они не могли устроить мертвецу подобающие похороны. На рассвете они отнесли труп на корму и прикрыли ему лицо куском флагдука; он прочел короткую молитву, а потом тело бросили, как оно было — в штормовке

и высоких сапогах, — во вздымающиеся валы, готовые каждую секунду поглотить и самый корабль, и обезумевших людей на борту.

— Вас спас этот зарифленный фок, — вставил я.

— То был перст Божий! — с жаром воскликнул он. — Я твердо верю, что только по милости Божьей он выдержал этот шквал.

— Когда вы его ставили… — начал я.

— Бог вразумил меня, — перебил он. — Я не стыжусь вам признаться, что я едва осмелился отдать приказание. Казалось, его сейчас же сорвет, а с ним исчезла бы наша последняя надежда.

Он все еще находился под впечатлением этого шторма. Я дал ему выговориться, потом сказал небрежно, словно возвращаясь к менее серьезной теме:

— Я полагаю, вы желаете выдать береговым властям своего помощника?

Да, он хотел предать его в руки правосудия. Его тупое упорство в этом пункте казалось чем-то непонятным и немного жутким, таинственным. И он беспокоился, как бы его не заподозрили «в потворстве подобным деяниям». Тридцать семь добродетельных лет на море, из них двадцать лет безупречного командования, а последние

пятнадцать на «Сефоре», казалось, наложили на него какие-то жестокие обязательства.

— Знаете ли, — продолжал он, стыдливо копаясь в своих чувствах, — ведь не я назначил этого малого. Его родственники вели какие-то дела с моими хозяевами, и я отчасти вынужден был его взять. Он очень красивый парень, очень воспитанный, но мне он почему-то никогда не нравился. Я — человек простой. Он как-то не подходил к типу старшего помощника на таком судне, как «Сефора».

Я был до такой степени связан мыслями и чувствами с тайным обитателем моей каюты, что готов был принять замечание на свой счет. Я чувствовал себя так, словно мне самому дали понять, что я не гожусь на пост старшего помощника на таком судне, как «Сефора». И лично я нисколько в этом не сомневался.

— Совсем не тот тип человека, — настаивал он, не спуская с меня глаз.

Я вежливо улыбнулся. Казалось, он был на секунду сбит с толку.

— Вероятно, мне придется доложить о самоубийстве.

— Прошу прощения, я не расслышал.

— Само-убийство! Вот что мне придется на-

писать своим хозяевам, как только я сойду на землю.

— Если вам не удастся найти его до завтра, — бесстрастно согласился я. — Живым, хочу я сказать.

Он промямлил что-то, чего я действительно не расслышал. Я подставил ему ухо. Он заорал во все горло:

— Земля, говорю… материк находится на расстоянии по крайней мере семи миль от моего корабля.

— Около того.

Мое спокойствие, отсутствие любопытства, удивления, сколько-нибудь ярко выраженного интереса начали возбуждать его недоверие. Но, за исключением счастливой выдумки о глухоте, я отнюдь не притворялся. Я чувствовал себя совершенно неспособным играть роль ничего не знающего человека, а потому и боялся за нее взяться. Быть может, он явился на судно уже с готовыми подозрениями и считал мою вежливость странным и неестественным феноменом. Но мог ли я принять его иначе? Не с распростертыми же объятиями! Это было невозможно по психологическим основаниям, которые мне не нужно здесь излагать. Единственной моей целью

было — не допустить его до расспросов. К какому средству прибегнуть? К грубости? Да, но грубость может вызвать вопрос, поставленный ребром. Формальная вежливость казалась мне лучшим способом сдерживать этого человека, ибо она по самой природе своей была ему чужда. Все же и здесь грозила опасность, что он прорвется через мои ограждения. Думаю, я не смог бы солгать ему прямо в лицо, тоже по психологическим (не моральным) причинам. Если б он только знал, как я боялся, что он подвергнет испытанию мое сознание тождества с тем, другим! Но, кажется, как это ни странно (об этом я подумал значительно позже), он был немало сбит с толку оборотной стороной этого дьявольского положения: что-то во мне напоминало ему человека, которого он искал; он видел таинственное сходство с тем, кому он не доверял и кого невзлюбил с первого же дня.

Как бы то ни было, но молчание длилось недолго. Исподволь он сделал еще одну попытку:

— Полагаю, от «Сефоры» до вашего корабля не больше двух миль. Ничуть не больше.

— И этого достаточно в такую ужасную жару, — сказал я.

И снова пауза, исполненная недоверия. Го-

ворят, нужда — мать изобретательности, но и страх может породить гениальные выдумки. А я боялся, что он спросит меня без обиняков о моем втором «я».

— Славная кают-компания, не правда ли? — заметил я, как будто впервые обратив внимание, что глаза его перебегают с одной закрытой двери на другую. — И очень мило обставлена. Вот здесь, — продолжал я, повернувшись и, не вставая, небрежно распахнув дверь, — моя ванная.

Он подался вперед всем корпусом, но ограничился тем, что заглянул туда.

Я встал, запер дверь ванной и пригласил его осмотреть судно — с таким видом, словно гордился своим помещением. Ему пришлось подняться и следовать за мной, что он и проделал без всякого энтузиазма.

— А теперь заглянем в мою каюту, — сказал я, повысив голос до предела, и тяжелыми шагами перешел на штирборт.

Он вошел в каюту вслед за мной и огляделся по сторонам. Мой сообразительный двойник исчез. Я продолжал играть свою роль.

— Очень удобно, не правда ли?

— Очень мило. Очень уют…

Он не договорил и поспешно вышел, словно

желая ускользнуть от какой-нибудь новой моей недостойной причуды. Но не тут-то было! Я был слишком испуган, чтобы не чувствовать желания отомстить. Преимущество было на моей стороне, и я хотел его сохранить. Должно быть, в моей вежливой настойчивости сквозила угроза, потому что он неожиданно сдался. И я не пропустил ни одного закоулка: каюта помощников, буфетная, кладовые, даже каюта для запасных парусов — всюду пришлось ему заглянуть. Когда наконец я выпустил его на шканцы, он издал тяжелый унылый вздох и печально забормотал, что теперь ему пора возвращаться на свое судно. Я приказал присоединившемуся к нам помощнику вызвать капитанскую шлюпку.

Человек с бакенбардами засвистел в дудку, обычно висевшую у него на шее, и крикнул:

— Капитан «Сефоры» уезжает!

Конечно, мой двойник слышал это, но не знаю, кто из нас почувствовал большее облегчение. Откуда-то вынырнули четыре матроса «Сефоры» и перелезли за борт. Мой экипаж тоже высыпал на палубу. Я церемонно проводил своего посетителя до шкафута и чуть не хватил через край. Это была упрямая скотина. Уже стоя у трапа, он замешкался и забормотал виноватым, смущен-

ным голосом:

— Послушайте… вы… вы не думаете, что…

Я громко перебил его:

— Конечно нет… Я очень рад… До свидания!

Я предчувствовал, о чем он хотел спросить, и воспользовался привилегией глухого. Он был слишком потрясен, чтобы настаивать, но мой помощник, присутствовавший при этом прощании, казалось, был заинтересован, и лицо его приняло задумчивое выражение. Я старался не избегать общения с моими помощниками, и потому он имел возможность ко мне обратиться.

— Кажется, славный человек — этот шкипер. Экипаж его шлюпки рассказал нашим ребятам необыкновенную историю, если стюард мне не соврал. Полагаю, вы ее слышали от капитана, сэр?

— Да. Капитан рассказывал мне.

— Страшное дело, не правда ли, сэр?

— Да.

— Побьет все эти россказни об убийствах на судах янки.

— Не думаю, что побьет. Я не вижу никакого сходства.

— Помилуй бог! Что вы говорите! Но конечно, я не знаком с американскими судами… вам лучше

знать. А с меня этого довольно. Но чуднее всего то, что эти парни вообразили, будто человек спрятан здесь, на борту. Право же, они так думали. Слыхали вы что-нибудь подобное?

— Нелепо… не правда ли?

Мы ходили взад и вперед по шканцам. День был воскресный, матросов не было видно. Помощник продолжал:

— Они даже из-за этого поспорили. Наши ребята разобиделись. «Станем мы, что ли, укрывать такого парня?» «Не хотите ли его поискать в нашей угольной яме?» Настоящая ссора вышла. Ну потом они поладили. Вероятно, он утонул. А ваше мнение, сэр?

— Я ничего не предполагаю.

— Вы совершенно уверены, сэр?

— Совершенно.

Я оборвал разговор и ушел. Я знал, что это произведет скверное впечатление, но мне тяжело было мешкать на палубе, когда мой двойник ждал меня внизу. Но и там было почти так же тягостно. Все это действовало на нервы. Однако, когда я входил в свою каюту, я не чувствовал такого раздвоения. На всем корабле не было ни одного человека, которому я решился бы довериться. С тех пор как экипаж узнал его историю,

невозможно было выдать его за другое лицо, а случайное разоблачение тайны грозило серьезными последствиями…

Стюард накрывал на стол к обеду, и мы могли обмениваться только взглядами. Позже, к вечеру, мы стали осторожно перешептываться. Воскресная тишина, царившая на корабле, мешала нам; эта тишина еще усугублялась недвижностью воздуха и воды. Стихия, люди — все было против нашего тайного сообщничества, даже время, ибо не могло же продолжаться так вечно? А что касается случайностей, играющих немалую роль в успешном завершении дела, то мне оставалось только надеяться, что нас они минуют. На какую счастливую случайность могли мы рассчитывать?

— Вы все слышали? — были мои первые слова, когда мы заняли нашу позицию бок о бок у моей койки.

Да, он слышал все. Доказательством был его шепот:

— Этот человек сказал вам, что он едва осмелился отдать приказ.

Я понял, что замечание относится к фок-парусу, спасшему корабль.

— Да. Он боялся, что сорвет парус, пока его бу-

дут ставить.

— Уверяю вас, он не отдавал этого приказания. Быть может, он думает, что он его отдал, но это не так. Он стоял рядом со мной на юте, после того как сорвало грот-марсель, и хныкал, буквально хныкал: исчезла-де последняя наша надежда, а тут ночь надвигается… Всякий обезумел бы, слыша, как шкипер в разгар шквала причитает и хнычет. Меня это привело в бешенство. Я взял командование в свои руки и отошел от него. Во мне все кипело, и… Но к чему говорить вам? Вы знаете!.. Да разве можно было тогда добиться послушания от матросов, если бы я сам не озверел? Или от боцмана? Само море обезумело. Казалось, настал конец мира. И так — изо дня в день… Я никого не виню. Я сам был не лучше остальных.

— Я понимаю, понимаю, — уверил я его.

Необходимость говорить шепотом его утомила. Он задыхался. Я слышал, как он с трудом переводил дыхание. Та внутренняя сила, которая спасла жизнь двадцати четырех человек, сокрушила одного взбунтовавшегося и недостойного.

Я не успел взвесить его слова, в кают-компании раздались шаги. Сильный стук в дверь:

— Поднялся ветер. Можно пуститься в путь, сэр.

Этими словами были предъявлены новые требования моим мыслям и даже чувствам.

— Всю команду наверх! — крикнул я через дверь. — Я сейчас выйду на палубу!

Мне предстояло знакомство с моим кораблем. Прежде чем я оставил каюту, наши глаза встретились — глаза двух человек, чужих на борту судна. Я указал на дальний угол каюты, где его ждал маленький складной стул, и приложил палец к губам. Он ответил неопределенным жестом — пожалуй, таинственной и слабой улыбкой, как будто выражающей сожаление.

Здесь не место распространяться об ощущениях человека, который впервые чувствует, как по его воле корабль движется вперед. Мои ощущения не отличались цельностью. Я был не совсем один со своей командой; там, в моей каюте, был этот незнакомец. Или, вернее, я не был весь целиком с ней. Часть меня отсутствовала. Я чувствовал, что нахожусь одновременно в двух местах, и это пронизывало всю мою душу. Прошло не больше часу с тех пор, как корабль стал двигаться. Старший помощник стоял подле меня, а я, попросив его запеленговать пагоду, поймал себя на том, что шепчу ему на ухо. Я спохватился, но слишком поздно: он заметил и вздохнул. С тех

пор он стал дичиться меня — не подберу другого слова. Серьезное, сосредоточенное выражение не покидало его лица, словно он таил про себя какие-то ошеломляющие сведения. Немного позже я отошел от поручней, чтобы взглянуть на компас, такой крадущейся походкой, что рулевой это заметил, а я не мог не видеть его вытаращенных глаз. Все это были мелочи, но ни одному капитану не улыбается, чтобы его подозревали в забавных странностях. Мое положение осложнялось и более серьезными промахами. Всякий моряк хорошо знает, что при известных условиях некоторые жесты, слова срываются совершенно естественно, инстинктивно. Так же непроизвольно моргает глаз, когда ему угрожает удар. Приказ срывается с уст без размышления, нужный жест не требует предварительного обдумывания. Но вся эта подсознательная расторопность покинула меня. Я должен был делать усилие воли, чтобы вернуть себя (из каюты) к условиям данного момента. Я чувствовал, что на людей, которые более или менее критически ко мне присматриваются, я произвожу впечатление капитана весьма нерешительного.

И помимо этого не все обстояло благополучно. Так, например, в конце второго дня нашего

плавания, вернувшись с палубы в соломенных туфлях на босу ногу, я остановился у открытой двери буфетной и заговорил со стюардом. Он стоял ко мне спиной. Услышав мой голос, он, как говорится, чуть не выпрыгнул из своей кожи и нечаянно разбил чашку.

— Что это с вами? — удивился я.

Он был страшно смущен.

— Прошу прощения, сэр! Я был уверен, что вы у себя в каюте.

— Вы же видите, что я здесь.

— Да, сэр. Но я могу поклясться, что слышал, как вы там двигались. Еще и секунды не прошло. Это очень страшно… Прошу прощения, сэр!

Внутренне содрогаясь, я прошел дальше. Я до такой степени отождествлял себя со своим двойником, что даже не упомянул об этом факте во время наших редких боязливых разговоров шепотом. Вероятно, он сделал какое-нибудь движение, слегка зашумел. Было бы удивительно, если бы он хоть изредка не шевелился. И однако, несмотря на свое осунувшееся лицо, он казался более чем спокойным, почти неуязвимым, в совершенстве владея собой. По моему совету, большую часть дня он проводил в ванной: в общем это было самое надежное место. После того как стюард

приводил ванную в порядок, ни у кого не могло явиться предлога войти туда. Это была крохотная комнатка. Иногда он опускался на пол, поджимая ноги и подпирая голову рукой. Иногда я находил его сидящим на складном стуле; в своей серой пижаме, с коротко остриженной темной головой, он походил на терпеливого бесстрастного узника. На ночь я уступал ему свою койку, и мы перешептывались, а над нашими головами раздавались мерные шаги вахтенного помощника. Это было бесконечно тяжелое время. К счастью, в моей каюте было спрятано в ящике несколько банок с консервами, черствый хлеб мне всегда удавалось доставать, и он питался тушеными цыплятами, паштетом из печенки, спаржей, устрицами, сардинами, отвратительными поддельными деликатесами из жестянок. Утренний кофе я всегда уступал ему, и это было все, что я мог для него сделать.

Каждый день приходилось маневрировать так, чтобы сначала прибирали в моей каюте, а затем в ванной. Я возненавидел самую физиономию стюарда, чувствовал отвращение даже к голосу этого безобидного человека. Я предвидел, что именно он разоблачит тайну. Угроза висела, как меч, над нашими головами.

На четвертый день (мы тогда плыли у восточного берега Сиамского залива, лавируя при легком ветре и спокойном море) этого тягостного жонглирования с неизбежным, когда мы сидели за ужином, этот человек, малейшее движение которого приводило меня в трепет, поставил блюдо на стол и торопливо побежал на палубу. Казалось, опасности быть не могло. Вскоре он вернулся вниз; оказывается, он вспомнил о моей штормовке: после полудня мы попали под ливень, и я повесил штормовку на поручни для просушки. Сидя неподвижно во главе стола, я с ужасом увидел штормовку у него в руке. Конечно, он направлялся к моей двери. Времени терять было нельзя.

— Стюард! — загремел я.

Нервы мои были так издерганы, что я не соразмерил голоса и не мог скрыть свое волнение. Это-то и заставляло моего бородатого помощника выразительно постукивать себя пальцем по лбу. Я однажды заметил у него этот жест, когда застал его на палубе, конфиденциально разговаривающего с плотником. Я не мог расслышать слова, но нисколько не сомневался, что эта пантомима относилась к странностям нового капитана.

— Да, сэр?

Бледный стюард покорно повернулся ко мне. Он был сбит с толку: я то и дело кричал на него, обрывал без всякого смысла и толку, повелительно выгонял из своей каюты и снова звал туда, заставлял выбегать из кладовой, исполнять непонятные поручения. С каждым днем его уныние росло.

— Куда вы идете с этой штормовкой?

— В вашу каюту, сэр.

— Опять будет ливень?

— Право, не знаю, сэр. Пойти наверх и посмотреть, сэр?

— Нет! Не нужно.

Цель была достигнута: мое второе «я», конечно, слышало все, что произошло. В течение этой интермедии оба помощника не подымали глаз от своих тарелок, но губа этого проклятого мальчишки, второго помощника, заметно дрожала.

Я думал, что стюард повесит штормовку и сейчас же выйдет. Почему-то он замешкался, но я овладел своим волнением и не окликнул его. Вдруг я услышал — а слышно было достаточно ясно, — что парень зачем-то открывает дверь ванной. Все кончено! Комнатка такая маленькая, что там негде повесить кошку. Слова застряли у меня в горле, я весь окаменел. Каждую секунду

я ждал, что услышу вопль удивления и ужаса. Я попробовал пошевельнуться, но у меня не хватило сил подняться на ноги. Все было тихо. Не схватило ли мое второе «я» беднягу за горло? Не знаю, что сделал бы я в следующую секунду, если бы стюард не вышел из моей каюты. Он закрыл дверь и спокойно остановился у буфета.

«Спасен! — подумал я. — Нет! Погиб! Исчез! Он исчез!»

Я положил вилку и нож и откинулся на спинку стула. Голова у меня кружилась. Немного погодя, когда ко мне вернулся голос, я уведомил своего помощника, чтобы он сам повернул корабль в восемь часов.

— Я не выйду на палубу, — продолжал я. — Я лягу и, если ветер не переменится, хочу, чтобы меня не тревожили до полуночи. Я чувствую себя неважно.

— У вас нездоровый вид последние дни, — заметил довольно безучастно старший помощник.

Они оба вышли, а я смотрел во все глаза на стюарда, убиравшего со стола. Ничего нельзя было прочесть на лице этого несчастного. «Но почему он избегает моего взгляда?» — спрашивал я себя. Потом мне захотелось услышать его голос.

— Стюард!

— Сэр? — По обыкновению, он вздрогнул.

— Где вы повесили штормовку?

— В ванной, сэр. — И прибавил, как всегда, с тревогой в голосе: — Она еще не совсем просохла, сэр.

Еще некоторое время я оставался в кают-компании. Неужели мой двойник исчез так же, как появился? Но его появление можно было объяснить, а исчезновение казалось совершенно необъяснимым. Я медленно вошел в свою темную каюту, запер дверь, зажег лампу и несколько минут не решался обернуться. Когда же наконец я повернул голову, я увидел его стоящим навытяжку в дальнем углу. Нельзя сказать, чтобы я испытал потрясение, но непреодолимое сомнение в его телесном существовании промелькнуло в моем мозгу. Может ли это быть, спрашивал я себя, что он невидим для всех, кроме меня? Это казалось каким-то наваждением. Неподвижный, с серьезным лицом, он протянул ко мне руки — жест, ясно говоривший: «О боже! Едва спасся!» Действительно, все висело на волоске. Полагаю, я подошел к безумию так близко, как только может подойти человек, еще не сделавший последнего шага. Этот жест удержал меня, так сказать, у последней черты.

Помощник с устрашающими бакенбардами поворачивал корабль на другой галс. В момент глубокой тишины, какая следует после того, как команда заняла свои места, я услышал на корме его громкий голос: «Руль под ветер!» Возглас был отчетливо повторен на верхней палубе. Паруса под этим легким ветром производили слабый шелестящий шум. Он прекратился. Корабль медленно поворачивался. Я затаил дыхание в возобновившейся тишине ожидания. Казалось, на палубе не было ни одной живой души. Внезапно резкий крик: «Натягивай грот!» — разбил очарование. Над головой раздались крики, топот людей, бегущих с гротабрасом, а мы двое, в моей каюте, сошлись, по обыкновению, у койки.

Он не ждал моего вопроса.

— Я слышал, как он входит сюда, и еле-еле успел забраться в ванну, — шепнул он мне. — Он только открыл дверь и просунул руку, чтобы повесить штормовку. Все же…

— Я не подумал об этом, — прошептал я.

Мы избежали разоблачения чисто случайно, и эта удача еще сильнее пугала меня, я удивлялся его выдержке, не изменявшей ему ни на минуту. И голос его ничуть не дрожал. Если кому-нибудь и грозило безумие, то во всяком случае не ему. Он

был в полном рассудке. И доказательством его здравомыслия были следующие слова:

— Мне уже не следует никогда больше возвращаться к жизни.

Это мог бы сказать и призрак. Но он намекал только на слова своего старого капитана, с неохотой допустившего теорию самоубийства. Очевидно, эта теория могла сыграть ему на руку, поскольку я понимал его дальнейшие планы.

— Вы должны высадить меня на какой-нибудь остров, как только останется позади берег Камбоджи, — продолжал он.

— Высадить на остров! Ведь это вам не книжки с приключениями, — возразил я.

— Конечно! И это нисколько не похоже на книжку с приключениями. Но другого выхода нет. С меня довольно! Ведь вы знаете, я не боюсь того, что могут со мной сделать. Тюрьма или галеры — все, что им угодно. Но вы представляете себе, как я возвращаюсь назад и объясняю свою историю старому судье в парике и двенадцати почтенным торговцам, а? Могут ли они знать, виновен я или нет и в чем я виновен? Это мое дело. Что сказано в Библии? «Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Хорошо. Сейчас я — скиталец на земле. Как я пришел сюда ночью,

так же я и уйду.

— Невозможно! — прошептал я. — Вы не можете.

— Не могу?.. Я не буду голым, как душа в день Страшного суда. Я примерзну к этой пижаме. Последний день еще не настал, и... Но ведь вы поняли все. Не правда ли?

Мне стало стыдно. Поистине я понял все, но только какое-то ложное чувство, может быть трусость, заставляло меня колебаться, прежде чем отпустить этого человека с моего корабля.

— До завтрашнего вечера ничего нельзя сделать, — прошептал я. — Судно лежит сейчас на галсе в открытое море, и ветер может нам изменить.

— Я буду ждать: теперь я знаю, что вы меня понимаете, — ответил он. — Какое счастье иметь человека, который может понять! Мне кажется, это не простая случайность, что вы оказались там.

И шепотом, словно слова, какие мы должны были сказать друг другу, великая тайна для всего мира, он прибавил:

— Это очень странно.

Мы продолжали стоять бок о бок и перешептываться, но время от времени замолкали и только

изредка перебрасывались словами. И как всегда, он смотрел в иллюминатор. Дыханье ветра обвевало наши лица. Корабль, казалось, стоял в гавани — так легко и без малейшего крена скользил он по воде, которая даже не журчала за бортами, темная и молчаливая, как призрачное море.

В полночь я вышел на палубу и, к величайшему изумлению своего помощника, повернул оверштаг и лег на контргалс. Его страшные бакенбарды двигались подле меня с молчаливым неодобрением. Конечно, я не стал бы это делать, если бы речь шла только о том, чтобы поскорее выбраться из сонного залива. Я думаю, он сказал второму помощнику, явившемуся его сменить, что видит в моем поступке отсутствие здравого смысла. Тот только зевнул. Этот несносный мальчишка так вяло волочил ноги и с таким небрежным, ленивым видом навалился на поручни, что я резко напустился на него:

— Вы еще не совсем проснулись?

— Нет, сэр! Проснулся.

— В таком случае потрудитесь и держать себя соответствующим образом. И будьте внимательны. Если мы попадем в течение, мы еще до рассвета поравняемся с островами.

Восточная сторона залива окаймлена островами; некоторые из них разбросаны поодиночке, другие расположены группами. На синем фоне высокого берега они как будто плавают на серебряной поверхности спокойной воды, бесплодные, серые или темно-зеленые, окруженные зарослями вечнозеленого кустарника. Среди них попадаются и большие, мили две в длину, с очертаниями хребтов и серых скал под темной мантией густой листвы. Они неведомы ни торговцам, ни путешественникам, вряд ли отмечены на географических картах, и жизнь, таящаяся на них, скрыта ото всех. Должно быть, на самых больших островах есть деревушки или рыбачьи поселки, и сообщение с миром, по всей вероятности, поддерживается каким-нибудь туземным судном. Все утро мы держали курс на них, подгоняемые едва заметным ветерком; я не спускал подзорной трубы с группы разбросанных островов, но не видел ни человека, ни лодки. В полдень я не отдал распоряжения изменить курс, и бакенбарды моего помощника принимали все более озабоченный вид и, казалось, старались обратить на себя мое внимание. Наконец я сказал:

— Я думаю подойти к самому берегу, подвести судно как можно ближе.

От крайнего изумления даже глаза его стали свирепыми, и в эту секунду он выглядел поистине страшным.

— Мы плохо продвигаемся в середине залива, — спокойно продолжал я, — сегодня вечером я думаю воспользоваться береговым ветром.

— Помилуй бог, сэр! Плыть в темноте среди этих островов, рифов и отмелей?

— Да! Если здесь есть береговой ветер, мы должны держаться у самого берега. Не так ли?

— Помилуй бог! — прошептал он чуть слышно.

Целый день с лица его не сходило мечтательное, задумчивое выражение — признак крайнего недоумения. После обеда я, сославшись на усталость, ушел к себе в каюту.

Мы оба склонили наши темные головы над полуразвернутой картой, лежащей на моей койке.

— Вот, — сказал я. — Пусть это будет Ко-ринг. С восхода солнца я держу на него курс. Здесь два холма и отлогий мыс. Должно быть, он населен. А на противоположном берегу я видел что-то похожее на устье большой реки… и, вероятно, выше по течению есть какой-нибудь поселок. Более благоприятного случая для вас я себе не представляю.

— Все равно. Пусть это будет Ко-ринг.

Он задумчиво смотрел на карту, словно с высоты птичьего полета измерял расстояния, взвешивал шансы, следил глазами за своей собственной фигурой, бредущей по пустынной земле Кохинхины и исчезающей с этого клочка бумаги в местностях, не помеченных на карте. И казалось, на корабле два капитана, намечающие его курс. Я так волновался и так измучился, бегая вверх и вниз, что в тот день у меня не хватило терпения переодеться. Я остался в своей пижаме, соломенных туфлях и мягкой широкополой шляпе. Душный зной залива изнурял человека, и команда привыкла видеть меня разгуливающим в этом легком костюме.

— При этом курсе мы минуем южный мыс, — шептал я ему на ухо. — Один бог знает, когда это будет, но во всяком случае после наступления темноты. Я подведу корабль к берегу на расстоянии полумили, насколько смогу определить в темноте.

— Будьте осторожны, — предостерегающе пробормотал он.

И внезапно я понял, что все мое будущее и то единственное, к чему я пригоден, поставлено на карту, что я могу себя погубить из-за одной неудачи при первом командовании.

Было невозможно дольше оставаться в каюте. Я сделал ему знак скрыться в дальнем углу и вышел на корму. На вахте стоял этот скучный щенок. Я прошелся по корме, обдумывая положение, потом подозвал его к себе.

— Пошлите двух матросов открыть оба бортовых порта на квартердеке, — мягко сказал я.

Услыхав это странное распоряжение, он имел дерзость или, вернее, забылся до такой степени, что повторил:

— Открыть порты квартердека! Зачем, сэр?

— Я приказываю вам это сделать, для вас этого достаточно. Пусть их откроют и закрепят как следует.

Он покраснел и ушел. Думаю, он не удержался от насмешливого замечания плотнику по поводу целесообразности проветрить квартердек. Конечно, он заглянул в каюту старшего помощника, чтобы сообщить ему об этом распоряжении: бакенбарды вышли как будто случайно на палубу и стали украдкой посматривать на меня снизу, — вероятно, они старались открыть признаки безумия или опьянения.

Незадолго до ужина беспокойство мое усилилось, и я заглянул на секунду к моему второму «я». Странно было видеть его таким спокойным;

это казалось неестественным, нечеловеческим.

Шепотом я поспешил развить ему свой план.

— Я подведу судно возможно ближе к берегу, а затем поверну его назад. Я найду способ тайком провести вас в парусную каюту; она отделена коридором. Но там есть отверстие, через которое вытаскивают паруса, оно выходит прямо в квартердек и в хорошую погоду всегда открыто, чтобы паруса проветривались. Когда судно замедлит ход, а команда будет занята на корме у грота-брасов, путь перед вами будет открыт. Вы спуститесь за борт через открытый порт квартердека. Я велел их закрепить. Спускайтесь в воду по веревке, чтобы не было плеска… Понимаете? Вас могут услышать, и положение чертовски осложнится.

Секунду он молчал, потом шепнул:

— Я понял.

— Я не увижу, как вы будете уходить, — с усилием проговорил я. — Ну а о том… надеюсь только, что и я понял.

— Вы поняли. С начала до конца.

И первый раз в его шепоте послышались дрожь, напряжение. Он схватил меня за руку, но звонок к ужину заставил меня вздрогнуть. Однако он не вздрогнул, он только разжал пальцы.

После ужина я спустился вниз в девятом ча-

су. Слабый, но надежный бриз был пропитан росой, и потемневшие сырые паруса старались поймать всю его двигательную силу. Мерцала ясная, звездная ночь, и тусклые, темные пятна — разбросанные островки — медленно плыли навстречу низким звездам. С левого борта был большой остров, довольно отдаленный и внушительный, затенявший широкий простор неба.

Открыв дверь, я увидел себя самого, разглядывающего карту. Он вышел из своего угла и стоял перед моим столом.

— Достаточно темно, — шепнул я.

Он отошел и прислонился к моей койке, спокойно глядя перед собой. Я сел на кушетку. Нам нечего было сказать друг другу. Над нашими головами шагал взад и вперед помощник, державший вахту. Потом я услышал, как шаги зазвучали быстрее. Я знал, что это значит. Он направлялся в кают-компанию, вскоре за моей дверью раздался его голос:

— Мы подходим к берегу, сэр. Кажется, земля совсем близко.

— Хорошо, — сказал я. — Сейчас выйду на палубу.

Я ждал, пока он вышел из кают-компании, потом встал. Мой двойник тоже тронулся с места.

Настало время обменяться последними словами, по-прежнему шепотом, — так мне и не суждено было услышать его голос.

— Слушайте… — Я открыл ящик и вынул три соверена. — Возьмите это. Я получил шесть. Я отдал бы вам все, но мне нужно оставить немного денег, чтобы купить команде фруктов и овощей с туземных лодок, когда мы будем плыть Зондским проливом.

Он покачал головой.

— Возьмите! — настаивал я отчаянным шепотом. — Никто не может сказать, что…

Он улыбнулся и многозначительно похлопал себя по единственному карману пижамы. Действительно, место было ненадежное. Но я извлек свой большой шелковый носовой платок и, завязав три золотых монеты в уголок, протянул ему. Вероятно, он был тронут: он взял его наконец и быстро обвязал вокруг талии, прямо на голое тело под пижамой.

Наши глаза встретились. Прошло несколько секунд, потом, все еще не отводя от него взгляда, я протянул руку и потушил лампу. Я вышел в кают-компанию, настежь распахнув дверь своей каюты.

— Стюард!

От избытка усердия он все еще возился в буфетной, в последний раз перед сном перетирая судки из накладного серебра. Стараясь не разбудить помощника, каюта которого находилась напротив, я говорил вполголоса.

Он с беспокойством оглянулся.

— Сэр?

— Не можете ли вы мне принести горячей воды из камбуза?

— Боюсь, сэр, что огонь уже давно потух.

— Ступайте и посмотрите.

Он взбежал по трапу.

— Ну! — шепнул я громко… слишком громко, пожалуй, но я боялся, что не смогу выдавить ни одного звука.

В одну секунду он очутился подле меня. Две фигуры капитана проскользнули мимо трапа… крохотный темный коридор… откатившаяся раздвижная дверь. Мы были в парусной каюте и ползли на коленях по парусам. Внезапно мне пришла в голову одна мысль. Я увидел самого себя, бредущего босиком, с непокрытой головой, а солнце ударяет в мой темный затылок. Я сорвал свою широкополую шляпу и в темноте стал напяливать ее на мое второе «я». Он отшатнулся и молча отстранил меня.

Интересно, что подумал он обо мне. Потом он понял и неожиданно сдался. Наши руки ощупью встретились и замерли на секунду в крепком пожатии… Ни одного слова не было сказано нами, когда они разъединились.

Когда вернулся стюард, я спокойно стоял у двери буфетной.

— Простите, сэр. Котел чуть теплый. Зажечь спиртовку?

— Не нужно.

Я медленно вышел на палубу. Теперь делом совести было подвести корабль как можно ближе к берегу. Он должен спуститься за борт, как только корабль начнет поворачивать. Должен! Для него возврата не было. Я перешел на подветренную сторону, и сердце у меня замерло, когда я увидел, как близок берег. При других обстоятельствах я не стал бы медлить ни минуты. Второй помощник с беспокойством следовал за мной.

Я продолжал смотреть вперед, пока не овладел своим голосом.

— Судно одолеет поворот, — спокойно сказал я.

— Вы собираетесь это испробовать, сэр? — недоверчиво проговорил он.

Я не обратил на него внимания и повысил голос, чтобы быть услышанным рулевым:

— Держать круче к ветру!

— Есть, сэр!

Ветер обвевал мои щеки, паруса спали, все замерло. Напряженно следить, как растет и сгущается туманная масса земли, было мне не по силам. Я закрыл глаза. Корабль должен подойти ближе. Должен! Тишина стала невыносимой. Быть может, мы стоим на месте!

Когда я открыл глаза, кровь бросилась в голову от зрелища, представшего передо мной. Черный южный холм Ко-ринга, казалось, навис прямо над кораблем, как громоздящаяся глыба вечной ночи. На этой огромной черной массе не видно было ни одного огонька, не слышно было ни одного звука. Она неудержимо скользила нам навстречу, и, казалось, до нее уже можно дотянуться рукой. Я видел смутные фигуры вахтенных; они столпились на шкафуте и в немом ужасе смотрели на берег.

— Вы хотите идти вперед, сэр? — осведомился нетвердый голос у моего локтя.

Я не обратил на него внимания. Я должен был идти дальше.

— Держать круче. Не задерживай. Сейчас это не годится, — предостерегающе сказал я.

— Я плохо вижу паруса, сэр, — ответил мне

рулевой странным, дрожащим голосом.

Достаточно ли близко мы подошли? Корабль уже вступил в береговую тень, в самую ее черноту; быть может, она уже поглотила его; он подошел слишком близко, и мне его уже не вернуть, — он ушел от меня навсегда.

— Позовите старшего помощника, — сказал я молодому человеку, притихшему подле меня. — И всех наверх!

Эхо гористого берега усилило мой голос. Несколько голосов крикнули дружно:

— Мы все на палубе, сэр!

И снова тишина. А большая тень подкрадывалась ближе, громоздилась выше, и нигде ни света, ни звука. Такая тишина спустилась на корабль, что казалось, мы медленно плывем на барке смерти в самые врата Эреба.

— Боже мой! Где мы?

Это простонал возле меня старший помощник. Он был как громом поражен и словно лишился моральной поддержки своих бакенбард. Он всплеснул руками и буквально взвыл:

— Погибли!

— Успокойтесь, — сурово сказал я.

Он понизил голос, но я видел его отчаянный жест:

— Что мы тут делаем?

— Ищем берегового ветра.

Он готов был рвать на себе волосы и, забывшись, набросился на меня.

— Мы отсюда не выберемся! Это сделали вы, сэр! Я знал, что дело кончится чем-нибудь в этом роде. Корабль не развернется, вы подвели его слишком близко, чтобы лечь в дрейф. Нас отнесет на берег, прежде чем мы успеем повернуть. О боже!

Я схватил его за руку, которую он уж занес над своей несчастной головой, и сильно ее потряс.

— Мы уже на берегу… — стонал он, стараясь высвободиться.

— В самом деле?.. Рулевой, держать круче!

— Есть, сэр! — крикнул рулевой испуганно, тоненьким, детским голоском.

Я не выпускал руки помощника и тряс ее, приговаривая:

— На место, слышите! Отправляйтесь на нос… И останьтесь там… и прекратите этот шум… Распорядитесь травить кливер-шкоты…

В промежутках между каждой фразой я встряхивал его руку.

И все это время я не решался посмотреть в сторону берега, чтобы самому не струсить. Наконец я разжал пальцы, и он бросился вперед, словно

спасаясь от смерти.

Любопытно, что подумал об этом смятении мой двойник, притаившийся среди запасных парусов. Ему было слышно каждое слово… и, быть может, он понял, почему я подвел судно так близко. Моя первая команда: «Руль под ветер!» — зловещим эхом отозвалась в громоздящейся тени Ко-ринга, словно я кричал в горное ущелье. А потом я стал пристально следить за берегом. В этой спокойной воде, при слабом ветре невозможно было определить, поворачивает ли судно. Нет! Я не ощущал поворота. А мое второе «я» готовилось в этот момент соскользнуть за борт. Быть может, он уже ушел?..

Большая черная масса, нависшая над самыми верхушками наших мачт, стала молча отходить от борта корабля. И тут я забыл о тайном пришельце, готовящемся уплыть, и помнил только, что я совершенно не знаком с кораблем. Я его не знал. Сможет он это сделать? Как нужно им управлять?

Я приказал повернуть грот-рей и беспомощно ждал. Быть может, судно стоит на одном месте, и его судьба висит на волоске, а черная масса Ко-ринга, как врата вечной ночи, вздымается над его кормой. Что будет дальше? Отходит ли

он? Я быстро подошел к борту: на темной воде ничего не было видно, кроме слабых фосфоресцирующих вспышек на стеклянной глади спящего моря. Ничего нельзя было сказать, а я еще не научился ощущать свой корабль. Движется ли он? Мне нужен был какой-нибудь ясно видимый предмет, например лист бумаги; я мог бы бросить его за борт и следить за ним. Но со мной ничего не было, а спускаться вниз я не решался. Не было времени. И вдруг мой напряженно ищущий взгляд различил какой-то белый предмет на воде, на расстоянии ярда от корабля. Белое на черной воде. Фосфоресцирующая вспышка пробежала под ним. Что бы это могло быть?.. Я узнал свою собственную широкополую шляпу. Должно быть, она упала с его головы, а он не стал поднимать. Теперь у меня было то, чего я искал, — спасительная марка для глаз. Но я почти не думал о своем втором «я», теперь он ушел с корабля, чтобы скрыться навсегда от всех, кому был дорог, ушел, чтобы стать изгнанником и скитальцем на земле; на чистом его лбу не было клейма проклятья; ему не нужно отводить карающую руку… ведь он был слишком горд, чтоб объяснять.

Я следил за шляпой — символом моей внезапной жалости к его плоти. Она должна была спасти

его голову от солнечного удара. А вот теперь — она спасала корабль, служила мне маркой, помогающей в моем неведении. А! Ее отнесло вперед, она предостерегала меня как раз вовремя, что корабль взял задний ход.

— Переложить руль, — тихо сказал я матросу, застывшему, как статуя.

Его глаза сверкнули при свете нактоуза; он отскочил в сторону и начал вращать штурвал.

Я подошел к переднему краю юта. На темной палубе вся команда стояла у брасов, ожидая моего приказа. Звезды над головою, казалось, скользили справа налево. И кругом была разлита такая тишина, что я слышал, как один матрос с бесконечным облегчением сказал другому:

— Мы повернули.

— Отдай снасти и трави!

Среди веселых матросских возгласов фока-реи с шумом обежали круг. Теперь проявили признаки жизни и страшные бакенбарды, отдавая приказания. Корабль уже плыл вперед. И я был с ним один. Никто в море не станет теперь между нами, ничто не бросит тени на пути безмолвного единения и немой привязанности — этого совершенного общения моряка с первым кораблем, который вручен его руководству.

Я подошел к гакаборту как раз вовремя, чтобы разглядеть на самой границе тьмы, отбрасываемой гигантской черной массой, похожей на врата Эреба, едва заметную белую шляпу. Она осталась позади, отмечая место, где человек, тайно разделявший мою каюту и мои мысли, словно он был моим вторым «я», спустился в воду с борта корабля, чтобы принять кару, — свободный человек и гордый пловец, стремящийся навстречу неведомой судьбе.

Элджернон Блэквуд
1869–1951

Ужас близнецов

Когда мужчина возлагает свои надежды на сына — единственного сына, который унаследует его имя и состояние, это вполне понятно и ожидаемо; но никто не мог бы предсказать наперед, какое горькое и глубокое разочарование постигнет нашего героя, какую холодную, неукротимую ярость он испытает, когда вместо сына на свет появились близнецы. Ведь хотя законным наследником был старший из братьев, младший буквально наступал ему на пятки, что грозило обернуться в будущем серьезными бедами. Если бы родилась дочь, это было бы сравнительно сносным поражением. Но близнецы!.. Это же надо — упустить заветную мечту таким бездарным образом!

Полный крах надежды, годами лелеемой в сердце, запросто может разбередить душу человека; но лютая ненависть, живущая бок о бок с любовью, которую отец так и не сумел в себе подавить, заставила бы призадуматься любого психолога. Это было неестественно — более того, это было по-настоящему жутко. Однако он хорошо умел скрывать свои чувства — и ненависть подтачива-

ла его изнутри, найдя, несомненно, в его натуре какую-то слабую, болезненную струнку, о которой не ведали даже самые близкие люди, и подвергая его мысли такому жестокому гнету, что в конце концов несчастный повредился в уме. Родные сочли, что отчаяние и злоба, много лет пребывавшие под спудом, лишили главу семьи рассудка, и последние годы, отпущенные ему судьбой, он провел в сумасшедшем доме. Природа наделила этого человека огромной силой — силой воли, чувств, желаний — и недюжинной, поистине кипучей энергией, заставлявшей его двигаться по жизни подобно мощному мотору; и до поры до времени мало кто мог бы заподозрить, какой плотный сгусток затаенной ненависти отравляет ему существование. Впрочем, сами близнецы обо всем знали — или по крайней мере догадывались. Они непрестанно ощущали отцовскую неприязнь — вперемежку с искренней нежной любовью, которая иногда подслащала горькую пилюлю, повергая их в недоумение. Говорили они об этом, однако, только друг с другом.

— Когда нам исполнится двадцать один год, — с грустью замечал иногда Эдвард, старший из братьев, — мы узнаем больше.

— Больше, чем хотелось бы, — отвечал Эрнест,

и от этой мысли *его* неизменно обдавало волной необъяснимого страха. — Все, что говорил отец, всегда сбывалось.

И лица обоих заливала бледность. Ибо бомба психической энергии, в которую превратилась концентрированная ненависть их родителя, под занавес взорвалась неистовым воплем помраченного сознания. Во время последнего визита юношей в дом умалишенных, всего за несколько часов до своей кончины, отец прервал молчание. В присутствии санитара, который стоял у двери наводившей ужас, обитой войлоком палаты, он произнес — очень спокойно, но с такой силой, что его слова вонзились в их сердца, точно раскаленные иглы:

— Вас не двое, но *один.* Для меня вы по-прежнему единое целое. И разрази меня гром — достигнув совершеннолетия, вы в этом убедитесь!

Братья, возможно, не могли сполна уразуметь, сколь велика холодная ненависть к ним, которую тщательно скрывал их отец; но они отлично поняли, что последние слова его были проклятием, вобравшим в себя всю грозную силу умирающего, и, втайне друг от друга, начали испытывать невыразимый ужас перед надвигавшимся совершеннолетием. В то утро, когда им исполнился

двадцать один год (отец уже лет пять как отошел в вечность, хотя иногда у них возникало странное чувство, будто он рядом), оба вновь ощутили этот жгучий внутренний страх — безмолвно и сообща, как это всегда бывало в их жизни. В течение дня им удавалось отваживать его от себя — но, когда старый дом окутали сумерки, в сердца близнецов мало-помалу стала закрадываться безотчетная тревога. Их напускная храбрость стремительно таяла… и они упросили местного священника — своего давнего друга и в прошлом наставника — посидеть с ними до полуночи. Священник, весьма расположенный к бывшим воспитанникам, согласился бодрствовать до означенного часа; вдобавок он был немало заинтригован их чудной убежденностью, что до конца дня — иными словами, до того, как часы пробьют полночь, — проклятье того ужасного человека каким-то образом обратит против них свою силу.

По окончании торжества, когда гости разъехались, все трое расположились в библиотеке — комнате, в которой прежде обычно проводил время их отец и которую после его смерти почти не посещали. Мистер Кертис, крепкий мужчина пятидесяти пяти лет, твердо веривший в духовные силы и начала, как светлые, так и темные,

ради блага юношей сделал вид, будто относится к их наваждению с добродушным скепсисом.

— Я даже на миг не допускаю мысли, что такое возможно, — авторитетно заявил он. — Все духи находятся в руках Божьих, а злые духи — тем более.

На это Эдвард дал в высшей степени необычный ответ:

— Если отец и не явится сам, он пришлет гонца.

Эрнест согласился с братом:

— Все это время он готовился к сегодняшнему дню. Мы оба поняли это давным-давно — по тем странностям, что творятся вокруг, по нашим снам, по дурным приметам разного рода и по приливам страха, который вновь и вновь наплывает неизвестно откуда, особенно в последнее время. Не так ли, Эдвард?

Тот, содрогнувшись, поддакнул.

— В последнее время отец обрушился на нас с новой силой, — подтвердил он. — Нынче вечером он нанесет очередной удар по нашим жизням, умам или душам.

— Не исключено, что яркие личности *могут* оставлять после себя силы, которые продолжают действовать, — осторожно заметил мистер Кер-

тис, а братья чуть ли не хором ответили:

— Именно это мы и чувствуем. Хотя ничего серьезного пока не случилось и прошло уже много лет с тех пор, как…

Так говорили обо всем этом близнецы. Они были глубоко убеждены в истинности своих слов, и это пробудило в их старом друге чувство долга. Он решился на эксперимент, будучи уверен, что тот себя оправдает и юноши исцелятся от своей навязчивой идеи. Никто из домочадцев ничего об этом не знал: план разрабатывался тайком от лишних ушей.

В библиотеке — самой тихой комнате в доме — были зашторенные полукруглые окна с выступом, толстые ковры и массивные двери. Вдоль стен тянулись ряды книг, а в просторном открытом камине из кирпича, потрескивая, пылали поленья — осенний вечер выдался прохладным. Подле камина и собрались все трое: священник негромко читал вслух из Книги Иова, а Эдвард и Эрнест, облаченные в смокинги, внимали ему, сидя в глубоких кожаных креслах. Темноволосые, с бледными лицами, одинаковые, как две горошины, братья походили на кембриджских студентов последнего курса, коими, собственно, они и являлись. Лампа с абажуром, стоявшая за

спиной священника, оставляла большую часть комнаты в тени. Голос чтеца звучал ровно, даже монотонно, и все же в нем ощущалась какая-то подспудная тревога; и хотя глаза мистера Кертиса почти не отрывались от страниц, он подмечал каждое движение юношей и каждую перемену в выражении их лиц. Он старался навеять на них скуку и вместе с тем ничего не упустить, с таким расчетом, чтобы не быть застигнутым врасплох, а увидеть все, что, паче чаяния, станет происходить, с самого начала. В таком мнимом спокойствии текли минуты; миновало одиннадцать часов, стремительно приближалась полночь.

Рассказ мистера Кертиса об этом горестном и жутком случае содержит нечто оригинальное: то, что свершилось далее, свершилось без малейшего предупреждения или вступления. Не было никаких постепенно нараставших зловещих предчувствий, никакого странного сквозняка, убывания тепла или света, никакого дребезжания окон или таинственного стука мебели. Ужас в своих черных одеждах обрушился на сцену внезапно, безо всякой подготовки.

Священник читал уже довольно долгое время, и порой то один, то другой из близнецов (как пра-

вило, это был Эрнест) вставлял свои замечания, тем самым давая понять, что уже не испытывает страха. По мере того как до означенного часа оставалось все меньше и ничего не происходило, юноши чувствовали себя все более непринужденно. Эдвард даже начал клевать носом и в конце концов за несколько минут до полуночи провалился в сон. Эрнест, позевывая, растянулся в большом кресле.

— Ничего не случится, — произнес он, заполняя возникшую паузу. — Ваше благотворное влияние предотвратило беду. — Теперь он даже смог рассмеяться. — Какими же суеверными ослами мы были, не правда ли, сэр?..

Кертис, отложив Библию, пристально посмотрел на него в свете лампы. Ибо в этот самый момент, не успел еще Эрнест договорить, произошла резкая и жуткая перемена, столь молниеносная, что священник, как ни готовился, был застигнут врасплох и ни о чем не успел подумать. Согласно его рассказу, в библиотеке, где и без того было тихо, разверзлась абсолютная, глухая тишина — тишина столь глубокая, что в сравнении с нею прежнее безмолвие показалось шумом; и из этой всепоглощающей тишины в пространство комнаты проникло Нечто — живое, омерзительное,

тусклое, неподвижное, ужасающее. Как будто огромные моторы, запущенные на полной скорости и под предельным давлением, но притом слишком искусные и быстрые, чтобы можно было уловить их работу, явились из пустоты и обрушили на них свою мощь. «Это напомнило мне, — говаривал позднее священник, — паровые турбины “Мавритании”, зажатые в ореховую скорлупу, однако ничуть не терявшие заложенной в них неслыханной силы».

— Не правда ли, сэр? — повторил Эрнест, все еще смеясь.

И Кертис, ничего не ответив вслух, услышал истинный ответ в собственном сердце: «Потому что все уже случилось — именно то, чего вы боялись».

И тем не менее, к величайшему изумлению священника, Эрнест все еще ничего не замечал — ничего!

— Смотрите, — добавил он. — Эдди спит как сурок. Должно быть, ваше чтение подействовало на него как снотворное, сэр! — И юноша опять засмеялся — беспечно, даже глуповато. Но теперь его смех звучал неприятно, поскольку священнику стало ясно, что сон старшего из близнецов был либо притворным, либо *неестественным.*

И покуда Эрнест продолжал беззаботно болтать, чудовищные механизмы продолжали работать, посылая разрушительные импульсы ему и его старшему брату, концентрируя всю свою могучую энергию в точках, незаметных как внушение и тонких как мысль. Вторжение затронуло все — даже обстановка комнаты донельзя исказилась: каждый предмет интерьера сбросил вдруг повседневное обличье и обнажил крошечное, гадкое сердце тьмы. Это была воистину ошеломительная и отталкивающая метаморфоза. Книги, кресла, картины — все утратило привычный благообразный вид и с беззвучным глумливым смехом выставило напоказ свое почерневшее, гнилое нутро. Так, по крайней мере, описывал священник все то, что происходило тогда перед его глазами… А Эрнест, зевая, беспечно и дурашливо болтал без умолку, по-прежнему оставаясь слеп к тому, что творилось вокруг!

На эту разительную перемену ушло не более десяти секунд; и, пока она совершалась, в памяти священника молнией вспыхнули слова Эдварда: «Если отец и не явится сам, он пришлет гонца». И Кертис понял, что мертвец сделал и то, и другое — прислал гонца и явился сам. В жестоком уме, освободившемся от приступов помешательства,

которые одолевали его бренную оболочку, все еще жила застарелая неукротимая ненависть — и именно она руководила теперь незримой смертельной атакой. Тихая уединенная комната была залита этой ненавистью снизу доверху. По признанию священника, ужас от того, что разворачивалось перед ним, казалось, сдирал кожу с его спины… И, меж тем как Эрнест ничего не замечал, Эдвард мирно спал!.. Охваченный желанием помочь или спасти, но сознававший, что он один против целого легиона, священник вознес немую молитву своему Божеству. И в этот момент ожили часы на стене, загудев перед тем, как издать двенадцать ударов.

— Ну вот! Уже полночь — и, как видите, все в порядке! — воскликнул Эрнест, однако его речь почему-то звучала тише и глуше, чем раньше. — Все это — чертов вздор, не более! — произнес он еще менее отчетливо. — Пойду принесу виски и содовую из залы. — Он выглядел как человек, только что освободившийся от колоссального бремени. Но что-то в нем изменилось. Это читалось во всем — в манере говорить и держаться, в жестах, в походке, которой он направился к двери по толстому ковру. Юноша казался менее *реальным,* менее живым, он как будто скуко-

жился, голос его утратил привычный тембр и богатство обертонов, а наружность сделалась крайне отталкивающей. Вся его личность если не иссохла, то определенно была тронута какой-то порчей. Каким-то непостижимым и страшным образом он шел на *убыль*…

Часы все еще гудели, готовясь к бою. Слышалось тихое позвякивание поднимавшейся цепи. Затем молот издал первый из дюжины ударов, возвещающих о наступлении полуночи.

— Я ухожу… — Эрнест слабо рассмеялся, стоя у двери. — Все это было чистой воды хандрой… по крайней мере с моей стороны. — И он скрылся из виду в коридоре.

Сила, которая так мощно пульсировала в комнате, последовала за ним.

Почти в тот же миг проснулся Эдвард. Однако его пробуждение сопровождалось неописуемым, душераздирающим криком, исполненным муки и страдания:

— О! О! Как же больно! Как больно! Я этого не выдержу. Оставь меня! Это разрывает меня на части!..

Священник вскочил на ноги, но тут в мгновение ока все вокруг приняло свой обычный вид. Библиотека выглядела как прежде, ужас покинул

ее. Он ничего не мог сделать или сказать — поскольку в комнате не осталось ничего, что можно было бы исправить, защитить или атаковать. До него доносился голос Эдварда — глубокий, звучный, каким он дотоле никогда не был.

— Господи, как же хорошо я выспался! Мои силы словно удвоились… да, удвоились. Я чувствую себя превосходно! Должно быть, ваш рассказ, сэр, убаюкал меня, и я заснул. — Он с живостью и проворством пересек комнату. — А где же… гм… где же Эрни? — рассеянно и с запинкой, как будто с трудом припоминая имя, спросил он. По его лицу, казалось, пробежала тень угасшего воспоминания — промелькнула и исчезла. В тоне сквозило полнейшее безразличие, пришедшее на смену любви и заботе, которыми он раньше встречал малейший жест или слово своего брата. — Наверное, ушел… я имею в виду, конечно, ушел спать.

Кертис никогда не мог толком описать жуткую уверенность, которая овладела им в ту минуту, когда он стоял и, затаив дыхание, смотрел на юношу, — абсолютную, безоговорочную уверенность в том, что личность Эдварда претерпела невероятную внутреннюю метаморфозу и ныне это совсем другой человек. Но священник понял это, едва лишь его увидел. Ум, душа, сила

характера старшего из близнецов удивительным образом выросли и окрепли. Нечто, что он ранее знал лишь с чужих слов или благодаря чудесному сродству любящих сердец, стало теперь неотъемлемой частью его естества, его сутью, и потому не нуждалось в выражении. И тем не менее этот зримый личностный рост повергал в ужас, заставивший Кертиса отшатнуться. Он почувствовал инстинктивное желание (глубинной природы которого не уразумел, равно как и того, почему на него вдруг накатило что-то вроде приступа тошноты) ударить юношу прямо там, где тот стоял; это быстро прошло, и тут, заслышав жалобный зов из парадной залы, тихо скользнувший между ними, он собрал остатки самообладания, повернулся и выбежал прочь. Эдвард неторопливо двинулся следом.

Они нашли Эрнеста — или то, что прежде было Эрнестом, — скорчившимся за столом в парадной зале и плачущим непонятно отчего. Лицо его почернело. Рот был открыт, челюсть отвисла; он беспомощно пускал слюну и напрочь утратил все признаки разума и человеческой личности.

Он продержался в этом жалком состоянии еще несколько недель, не проявляя никакой умственной и душевной деятельности, и наконец его

бедное тело, функции которого были безнадежно расстроены, освободило то, что еще оставалось от Эрнеста и продолжало существовать по инерции, — вследствие полной и бесповоротной утраты всех жизненных сил.

И самым ужасным (так, по крайней мере, считала убитая горем семья) было то, что на протяжении этих недель Эдвард демонстрировал абсолютное и исключительно жестокое безразличие к случившемуся и почти не утруждал себя тем, чтобы навестить брата. Я также верю, что он лишь однажды назвал его по имени — когда сказал:

— Эрни? О, Эрни куда более счастлив там, где он сейчас.

1909

Западня

Это был один из тех малопривлекательных домов, за которыми прочно закрепляются разного рода нелепые суеверия — главным образом, вероятно, потому, что без них эти строения ничего примечательного из себя не представляют. Он выглядел как нельзя более заурядно, был начисто лишен какой-либо изюминки и уж тем более неповторимой атмосферы. Казалось, его нескладная, неказистая громада теснит собою деревья окрестного парка, и если он и мог чем-то привлечь внимание, то разве что своей непритязательностью.

Его невыразительные окна смотрели с небольшого холма на Кентиш-Уилд, одинаковый при любой погоде: суровый и угрюмый — зимой, безотрадный — весной и унылый летом. Словно закинутый неведомой гигантской рукой на землю и брошенный на произвол судьбы, этот особняк заставлял агентов по недвижимости основательно изощряться в своих объявлениях, и все же найти тех, кто пожелал бы в нем жить, было непросто. Его душа отлетела, говорили одни; она свела счеты с жизнью, рассуждали другие;

к такому выводу, судя по всему, пришел и один из владельцев дома, который наложил на себя руки в библиотеке. Очевидно, причиной тому был какой-то наследственный недуг; во всяком случае, спустя время его родственник последовал примеру предка, а через двадцать лет — второй, и никакого внятного объяснения этим несчастьям не существовало. На деле только первый владелец особняка жил в нем постоянно — прочие приезжали лишь на летние месяцы, а потом с чувством облегчения его покидали. Вот почему, когда Джон Берли, нынешний хозяин дома, вступил в права владения, это место успело очутиться в цепких руках суеверия, которое, при всей его нелепости, было основано на череде зловещих и неопровержимых фактов.

Наш век судит о суеверных людях довольно сурово, считая их дураками либо шарлатанами; но Джон Берли, здравомыслящий и не любивший неопределенности, такой суровости не выказывал — он вообще ничего к ним не выказывал и едва ли даже подозревал об их существовании. Он попросту не обращал на них никакого внимания — как не обращал его, скажем, на эскимосов, поэтов и иные разновидности человеческой расы, не имевшие отношения к его

жизненному укладу. Преуспевающий бизнесмен, он вращался в кругу себе подобных и был всецело сосредоточен на насущных практических делах. Его благотворительность, по большому счету, также имела деловую подоплеку. И тем не менее, хотя он с негодованием это отрицал, у него тоже было свое суеверие — ибо нет на свете людей без его примеси в крови; наследие предков в нас слишком мощно, чтобы можно было полностью избежать его влияния. Суеверие Берли заключалось в убежденности, что его бизнес станет по-настоящему процветать лишь тогда, когда он пожертвует беднякам десятую долю своих доходов. Этот невзрачный особняк, решил он, можно как нельзя лучше приспособить под санаторий для выздоравливающих.

— Покончить с собой может только трус или сумасшедший, — без обиняков заявил он, когда его план подвергся критике, — а я ни то, ни другое. — И бурно, во весь голос, расхохотался.

В его жизнеутверждающем присутствии подобная слабость и впрямь выглядела достойной презрения, а все суеверия — плодом жалкого невежества. Даже мрачный ореол, который придавали дому зловещие слухи, казалось, бледнел на глазах.

— Я не могу понять, — громыхал он, обращаясь к жене, — я даже вообразить не в силах, — добавлял он многозначительно, — до чего нужно дойти, чтобы начать помышлять о самоубийстве, а уж тем более его совершить! — Он выпятил грудь и набрал в легкие воздуха. — Говорю тебе, Нэнси, это или трусость, или помешательство. А мне не свойственно ни то, ни другое.

Тем не менее даже в своих филиппиках он оставался беззаботным и добродушным. Собственные недостатки он признавал с жизнерадостным смехом, который его жена находила чересчур громким. Он снисходительно относился к страшным байкам, широко распространенным среди моряков, и как-то раз обмолвился, что и в принадлежащих ему компаниях есть проклятые корабли. Впрочем, и об этом он рассуждал, прибегая к единицам грузоподъемности и залоговых сумм. Он мыслил широко, а для мелочей существовали клерки.

Его согласие провести ночь в особняке было сознательным решением практичного бизнесмена и филантропа, терпеливо мирившегося с глупостью человеческой природы, и основывалось на здравом расчете и все той же залоговой сумме. Местные газеты опять вытащили на свет

божий дурацкую историю о самоубийствах, особо подчеркивая влияние древнего поверья на судьбу дома и на возможную участь его нынешнего владельца. Однако особняк — в иных обстоятельствах чемодан без ручки — идеально подходил для замысла Джона, и пустяки вроде ночлега в заброшенном доме нипочем не могли его остановить.

— Мы должны принимать людей такими, как они есть, Нэнси, — сказал он жене.

У его молодой супруги, само собой, были свои резоны принять его предложение: ее увлекла идея, как она выразилась, «охоты на привидений», и муж не видел причин отказать ей в этом удовольствии. Он встретил Нэнси уже в довольно зрелом возрасте и, разумеется, очень ее любил. Чтобы развеять страхи будущих пациентов, а также медицинского и обслуживающего персонала (иными словами, всех тех, чья поддержка была необходима для успеха его предприятия), Джон Берли решил провести скучную ночь в особняке перед тем, как официально объявить об открытии санатория.

— Пойми, Джон, — убеждала его жена, — если ты, как владелец дома, сделаешь это, то убьешь все зловредные слухи на корню. В противном

случае, случись потом какая-то неприятность, ее непременно свяжут с самоубийствами и происками привидений и санаторий с самого начала обретет дурную славу. Невзгодам не будет конца. Вся затея потерпит крах.

— А по-твоему, если я проведу там ночь, нелепые россказни прекратятся? — скептически спросил он.

— Старая легенда гласит, что это разрушит заклятие, — ответила Нэнси. — По крайней мере, таково условие.

— Но рано или поздно там все равно кто-то умрет, — возразил он. — И мы никак не сможем это предотвратить.

— Зато мы сможем предотвратить слухи о том, что эта смерть не была естественной, — объяснила жена, знавшая, как привык мыслить обыватель.

— Ясно, — язвительно скривил губы Джон, хотя про себя сразу смекнул, что Нэнси права.

— Если, конечно, ты не выпьешь яду в холле, — смеясь, добавила она, — или не надумаешь удавиться своими подтяжками на вешалке для шляп.

— Хорошо, — решился он после минутного раздумья. — Так и быть, посижу с тобой. Это будет

что-то вроде второго медового месяца. Гульнем на пару — ты и я, а?

Теперь Джон и сам разохотился — вероятно, эта идея затронула какую-то мальчишескую струнку в его душе. Однако его энтузиазм поостыл, когда жена заявила, что в такую авантюру лучше пускаться не вдвоем, а втроем.

— Я частенько бывала в таких ситуациях, Джон. И мы всегда были втроем.

— С кем же? — без обиняков поинтересовался он и вопросительно глянул на жену.

Но та, уклонившись от прямого ответа, объяснила, что у троих больше шансов выпутаться из передряги в том случае, если что-то пойдет не так. Спорить с этим было сложно, и, выслушав доводы Нэнси, Джон согласился.

— Я позову молодого Мортимера, — предложил он. — Он подойдет?

Она заколебалась.

— Ну, он веселый… и ему, пожалуй, это тоже будет любопытно. Да, он не хуже любого другого. — Казалось, ей было все равно.

— И он поможет нам скоротать время своими россказнями, — добавил муж.

Вот так капитан Мортимер, отставной офицер чего-то там, бесстрашный «веселый малый» и ку-

зен миссис Берли, ныне занимавший хороший пост в лондонской конторе судовой компании ее мужа, был приглашен стать третьим участником планируемой вылазки. Но капитан Мортимер был юн и горяч, миссис Берли — хороша собой, значительно моложе своего супруга и не слишком счастлива в браке, а Джон Берли — чересчур беззаботен и самоуверен.

Судьба уготовила ему коварную западню, и невнимательный, неосторожный Джон Берли в нее угодил. Он сумел выбраться оттуда, однако самым что ни на есть неожиданным способом.

Ночь, на которую в конце концов пал их выбор, пришлась на самый короткий день в году — 18 июня, когда солнце заходит в восемнадцать минут девятого, а восходит приблизительно без четверти четыре: всего три часа полного мрака.

— Ты знаток, тебе и карты в руки, — признал Джон, когда Нэнси объяснила ему, что нет нужды сидеть в доме от заката до рассвета — достаточно лишь переждать темноту. — Мы все сделаем, как надо. Мортимер не слишком-то рвется в бой, у него танцы или что-то в этом роде, — сказал он, но, заметив, как в ее взгляде промелькнула досада, поспешил добавить: — Впрочем, он все отменил и присоединится к нам.

Недовольство, написанное на лице капризной женщины, Джон понял на свой лад.

— О, его не пришлось долго уговаривать, — принялся убеждать он ее. — Подумаешь, девицей больше, девицей меньше. Не забывай, он еще очень молод.

Нэнси ничего не ответила, однако сравнение, на которое невольно наводили его слова, заставило ее покраснеть.

Они втроем выехали с Саут-Одли-стрит сразу после утреннего чаепития, миновали своим чередом Севенокс, добрались до Кентиш-Уилда и, дабы придать задуманному предприятию должную огласку, строго-настрого наказали шоферу не распространяться о цели их приезда. Его поселили в сельской гостинице, велев забрать их через час после рассвета, с тем чтобы поспеть обратно в Лондон к завтраку.

— Он, само собой, обо всем разболтает каждому встречному, — уверил жену и ее кузена практичный и циничный хозяин дома, — и наутро все это появится в местной газетенке. Несколько часов неудобства стоят того, чтобы положить конец этому вздору. Почитаем, покурим, а Мортимер развлечет нас моряцкими байками.

Он прошел внутрь вместе с шофером, чтобы

проследить за тем, как готовят комнаты, освещение, корзинки с провизией и тому подобное, оставив своих спутников на лужайке возле дома.

— Четыре часа — это немного, но хоть что-то, — прошептал Мортимер, впервые с момента отъезда оказавшись с кузиной наедине. — Как здорово, что ты меня вытащила! Выглядишь потрясающе. Ты самая прекрасная женщина на свете.

Голубые глаза отставного капитана излучали вожделение, которое он ошибочно принимал за любовь. Смуглый, с выгоревшими на солнце волосами, он словно только что сошел с борта корабля на берег. Взяв Нэнси за руку, он увлек ее от косых закатных лучей под сень рододендронов.

— Это не я, глупыш, это Джон предложил взять именно тебя. — Она с притворным вызовом отняла руку. — К тому же ты едва все не испортил, заявив, будто намерен отправиться на танцы.

— Но ведь ты могла воспротивиться, — пылко ответил он, — однако не сделала этого. О, ты бесподобна, ты восхитительна!

Внезапно Мортимер принялся страстно целовать ее. Она немного посопротивлялась — но, как он заметил, довольно быстро сдалась.

— Гарри, ты идиот! — тяжело дыша, воскликну-

ла Нэнси, когда он отпустил ее. — Как ты посмел?! Ведь Джон — твой друг. Кроме того, — она торопливо огляделась по сторонам, — здесь небезопасно. — Глаза женщины лучились блаженством, щеки пылали. Она выглядела как молодая, прелестная, похотливая самка (каковой она и была), чуждая всяких моральных принципов и верная лишь своей эгоистичной страсти. — К счастью, — добавила Нэнси, — он абсолютно доверяет мне, так что мы — вне подозрений.

Молодой человек, с обожанием глядя на нее, весело рассмеялся.

— Ну что дурного в поцелуе? — сказал он. — Ты для него дитя, он не видит в тебе женщину. Да и потом, его голова забита пароходами, магнатами и сургучными печатями... — Он пытался успокоить ее, хотя, доверяя ее женскому чутью, понимал, что не стоит сейчас к ней прикасаться. — И ничего вокруг себя не замечает — даже в десяти ярдах.

И тут с расстояния в двадцать ярдов его прервал зычный голос Джона Берли, который вынырнул из-за угла дома и направился через лужайку в их сторону. Шофер, объявил он, втащил корзины в комнату на втором этаже и уехал в гостиницу.

— Давайте-ка прогуляемся, — добавил Джон,

присоединяясь к ним, — и осмотрим сад. А за пять минут до захода солнца вернемся и поужинаем. — Он рассмеялся. — Мы ведь должны в точности соблюдать все условия, верно, Нэнси? От заката до рассвета, помнишь? Пойдем, Мортимер. — Бизнесмен взял молодого человека под локоть. — Бросим прощальный взгляд на окрестности перед тем, как войти в дом и повеситься на соседних крюках в комнате экономки! — И с этими словами он протянул другую руку жене.

— Перестань, Джон! — резко воскликнула Нэнси. — Мне не нравятся такие шутки, особенно сейчас, когда начинает темнеть.

Она зябко поежилась и при этом восхитительно поджала губки; муж тотчас с силой привлек ее к себе, извинился и поцеловал туда, куда двумя минутами раньше ее целовал юный Мортимер. Тот молча наблюдал за этой сценой.

— Не тревожься, мы сумеем позаботиться о тебе… вдвоем, — сказал Джон.

За его широкой спиной парочка обменялась беглыми, но многозначительными взглядами: в тоне Джона обоим почудилось нечто, взывавшее к осторожности. Возможно, он не так слеп, как им кажется. «На этот раз все обошлось, — прочли они в глазах друг друга, — но впредь нужно

быть осмотрительнее!»

Оставалось еще несколько минут до того момента, когда огромный огненный шар скроется из виду за лесистыми холмами, и троица бродила между кустами роз, беспечно болтая, хотя сердца двоих продолжали взволнованно трепетать. Вечер выдался великолепный — теплый и безветренный, воздух был напоен ароматом цветов. Когда они пересекали лужайку, впереди них задвигались гигантские безголовые тени; одна сторона внушительного здания уже погрузилась во мрак, мимо скользили летучие мыши, над купами азалий и рододендронов сновали взад-вперед мотыльки. Разговор шел главным образом о том, как превратить дом в санаторий, во что это обойдется, сколько понадобится персонала, и так далее.

— Пойдемте, — произнес вдруг Джон Берли, прервав беседу, и резко повернулся. — Мы должны оказаться внутри до того, как сядет солнце. Нужно в точности соблюдать все условия, — повторил он сказанное ранее, словно ему нравилось, как звучит эта фраза. Этот человек привык относиться серьезно к любому делу, малому или великому, если он за него брался.

Нелепое трио охотников за привидениями,

в котором никто не намеревался предаваться какой бы то ни было охоте, вошло в дом и стало медленно подниматься в большую комнату на втором этаже, где стояли корзины. Уже в холле темнота заставила их воспользоваться карманными фонариками, чтобы можно видеть ступеньки лестницы; они двигались осторожно, освещая уголок за уголком. Воздух внутри был сырой и прохладный.

— Как в заброшенном музее, — заметил Мортимер. — Я даже чувствую запах экспонатов.

Они огляделись по сторонам и принюхались.

— Здесь пахнет человечиной, — заявил его наниматель и друг, — вперемежку с цементом и известкой.

Все трое рассмеялись, когда миссис Берли сказала, что им следовало бы сорвать в саду несколько роз и принести их сюда. Ее муж начал подниматься по широкой лестнице первым, Мортимер пошел следом, но тут Нэнси окликнула их.

— Мне не улыбается плестись в хвосте! — пожаловалась она. — В холле позади меня хоть глаз выколи. Я пойду между вами.

Пропуская кузину вперед, моряк поймал и выразительно сжал ее протянутую руку.

— Помните — здесь должна быть фигура, — то-

ропливо сказала Нэнси, повернувшись, чтобы привлечь внимание мужа, подобно тому как дома стучала по дереву. — Мы должны увидеть человеческую фигуру — это часть легенды. — Свободной рукой она взялась за руку Джона, ощутив при этом легкую дрожь полувоображаемой тревоги, смешанной с наслаждением.

— Надеюсь, мы ее увидим, — сухо процедил он.

— А я надеюсь, что нет, — с чувством произнесла Нэнси. — Стоит ей появиться, как… что-то случается.

Ее муж промолчал, а Мортимер в шутку заметил, что будет жаль, если их вылазка окажется напрасной тратой времени.

— Со всеми троими вряд ли что-то может случиться, — беспечно добавил он, когда они вошли в просторную комнату, где стоял очень кстати оставленный обойщиками грубый стол из нестроганых досок.

Миссис Берли, занятая своими мыслями, принялась распаковывать сэндвичи и вино. Ее супруг подошел к окну. Он выглядел обеспокоенным.

— Стало быть, здесь, — его густой голос заставил Нэнси замереть, — одному из нас суждено… — Он огляделся по сторонам.

— Джон! — нетерпеливо одернула его жена. — Я

тебя уже много раз просила.

В ее голосе появились новые нотки: в пустой комнате он прозвенел — резко и раздраженно. Вероятно, и она начала проникаться атмосферой этого места. На залитой солнцем лужайке ее это не заботило, но теперь, с наступлением ночи, она ощутила, как тени взывают к теням и крепнет власть тьмы. Весь дом превратился в слух, подобно огромной шепчущей галерее.

— Ей-богу, Нэнси, — покаянно произнес Джон, усаживаясь подле нее, — я и забыл! Как можно принимать такое всерьез! У меня просто в голове не укладывается, как человек.

— Зачем вообще трогать эту тему? — Она понизила голос, но он все равно звучал резко и отрывисто. — В конце концов, никто не совершает самоубийство без причины.

— Нам не дано знать все на свете, не так ли? — вставил Мортимер, неуклюже пытаясь поддержать ее. — Я, к примеру, знаю лишь то, что умираю с голоду, а передо мной телятина и пирог с ветчиной, и выглядят они отменно.

И он вовсю заработал ножом и вилкой. Под столом он слегка наступил на носок туфли Нэнси и, не сводя с кузины глаз, непрестанно подкладывал ей еду.

— Нет, — согласился Джон Берли, — все на свете нам знать не дано. Тут ты прав.

Нэнси мягко оттолкнула ногу Мортимера, метнув в него предостерегающий взгляд, пока ее муж, запрокинув голову, осушал свой бокал. Он смотрел поверх бокала прямо на них, но как будто ничего не замечал. Потом он закурил толстую сигару, а молодые люди — сигареты.

— Расскажи-ка нам о той фигуре, Нэнси, — попросил Джон. — От этого уж точно беды не будет. Для меня это новость — я ничего не слыхал ни о какой фигуре.

Она охотно исполнила его просьбу, отодвинув свой стул в сторону, подальше от опасной, беспокойной ноги. Теперь Мортимер не мог прикоснуться к ней.

— Я мало что знаю, — призналась она, — только то, что писали в газетах. Это мужчина… и он меняется.

— Как меняется? — спросил муж. — Ты имеешь в виду, переодевается… или что?

Миссис Берли рассмеялась, словно только и ждала повода это сделать.

— По легенде, он всякий раз является тому.

— Тому, кто.

— Да, конечно, тому, кто должен умереть… в

облике этого самого человека.

Джон с озадаченным видом хмыкнул, уставившись на жену.

— То есть, — пришел ей на выручку Мортимер, и на сей раз весьма кстати, — каждый из этих малых видел своего двойника, перед тем как повеситься.

Миссис Берли пустилась в пространное объяснение, пестревшее парапсихологическими терминами; оно заворожило и очаровало моряка, который открыл в кузине новые достоинства и не сводил с нее восхищенного взгляда. Мысли Джона Берли были заняты чем-то другим. Он отошел к окну, оставив парочку продолжать беседу, и, никак не вмешиваясь, просто рассеянно слушал и с отсутствующим видом глядел сквозь клубы сигарного дыма на жену и ее двоюродного брата. Он перемещался от окна к окну, пристраивался то в одном, то в другом глубоком проеме, чтобы осмотреть задвижки и измерить при помощи носового платка толщину стенной кладки. Выглядел он во время этого странного обхода беспокойным, подавленным и явно чувствовал себя не в своей тарелке. На его крупном лице лежала печать безмолвной покорности — это выражение, доселе ей незнакомое, Нэнси приме-

тила, когда они с Мортимером убирали остатки ужина. Они зажгли спиртовку, чтобы сварить кофе, и приготовили еду для утренней трапезы. По комнате пробежал сквозняк, на столе затрепетали салфетки. Мортимер осторожно прикрутил фитиль чадившей лампы.

— Поднимается ветер — и, по-моему, южный, — бросил Берли из оконной ниши и закрыл створку окна, для чего ему пришлось повернуться спиной к молодым людям и несколько секунд провозиться с задвижкой.

Мортимер, с глупой несдержанностью, присущей его возрасту и темпераменту, не преминул воспользоваться удобным случаем. Ни он, ни предмет его страстных притязаний не догадывались, что из-за темноты, царившей снаружи, интерьер комнаты ясно отражается в оконном стекле. Один был безрассуден, другая — напугана, и они поспешили урвать перепавшую им нечаянную радость, которая продлилась еще с полминуты, ибо тот, кого они опасались, высунул голову и плечи в открытую часть окна и оставался в этой позе некоторое время, вдыхая аромат ночи.

— Чудесный воздух! — произнес Джон низким голосом, втягивая голову внутрь. — Хотел бы я

оказаться в море в такую ночь. — Оставив ставню открытой, он пересек комнату и подошел к своим спутникам. — Ну а теперь, — весело сказал он, придвигая стул, — давайте устроимся поудобнее. Мортимер, ты должен рассказывать нам истории до самого рассвета — или пока не явится привидение. Жуткие истории о бряцающих цепях, обезглавленных трупах и тому подобном. Сделай эту ночь незабываемой. — И Джон сопроводил этот призыв вспышкой хохота.

Они сдвинули стулья, подставив другие себе под ноги, а Мортимер приспособил одну из пустых корзин под скамеечку для ног Нэнси. По комнате плавали густые облака табачного дыма. Две пары глаз встречались и вспыхивали, а третья, вероятно, пристально наблюдала; слух сосредоточенно внимал, вероятно, подмечая то, чего не видели глаза; время от времени постукивала створка окна, и все трое вздрагивали и озирались по сторонам; издалека то и дело доносились всевозможные звуки — это ветер задувал в разбитое или распахнутое окно, запуская череду скрипов и шорохов по всему дому.

Впрочем, миссис Берли наложила на страшные истории решительный запрет. Огромный пустой уединенный дом в глуши действовал на

нее угнетающе, несмотря на успокоительное присутствие рядом мужа и возлюбленного. В обитаемых комнатах, обставленных мебелью, редко приходят в голову мысли о призраках. Здесь же ползучий страх был разлит повсюду, он витал в просторных залах, стонал в коридорах — безмолвный, незримый, но всепроникающий и вездесущий. Один лишь Джон Берли оставался нечувствителен к нему и как будто не замечал его вкрадчивой атаки на нервы. Возможно, этот страх пробрался сюда вместе с летним ночным ветерком — а возможно, властвовал здесь всегда… И миссис Берли исподтишка посматривала на мужа, сидевшего рядом с ней. Глядя на благородное, волевое лицо Джона, она ощущала, что за внешним спокойствием и невозмутимостью скрывается снедающая его душу тревога. В нем что-то изменилось, но она не могла понять, что именно; губы его были плотно сжаты, и она с удивлением подумала, что он выглядит исполненным терпения и достоинства — и что, вопреки всему, он ей очень дорог. Почему же его лицо так непроницаемо? Ее мысли беспорядочно блуждали — смутные, бессвязные, тягостные, а кровь, разгоряченная вином, бурлила.

Берли меж тем обратился к моряку за новой

порцией историй.

— Только море и ветер! — потребовал он. — И помни — никаких ужасов!

И Мортимер рассказал о нехватке меблированных комнат в приморском валлийском городке, где свободные номера в гостиницах стоят баснословных денег, и о том, как один-единственный человек отказывался пускать к себе жильцов — отставной капитан торгового судна, ходившего в Южных морях, очень бедный и, судя по всему, малость помешанный. В его доме имелись две комнаты, которые можно было бы сдавать по двадцать гиней в неделю. Обе выходили окнами на юг; он разводил в них цветы и даже слышать не желал об аренде. Причину его неслыханного упрямства Мортимер узнал лишь после совместной рыбалки, когда бывший моряк проникся к нему доверием.

«В них живет южный ветер, — пояснил старик. — Я держу их свободными для нее».

«Для *нее?*»

«Моя любовь пришла ко мне с южным ветром, — глухо отозвался старик, — и с южным ветром она меня покинула…»

Это была довольно странная история для рассказа в такой компании, но изложил ее Мортимер

отменно.

«Как прекрасно!» — сказала про себя миссис Берли, а вслух негромко добавила:

— Спасибо. А «покинула», я полагаю, означает «умерла» или «сбежала»?

Джон Берли несколько удивленно вскинул голову.

— Мы просили тебя рассказать историю, — произнес он, — а ты прочел нам поэму. — Он рассмеялся. — Ты влюблен, Мортимер. И вероятно, в мою жену.

— Разумеется, сэр, — галантно ответил молодой человек. — Знаете, сердце моряка…

Лицо женщины тем временем то вспыхивало, то бледнело. Она знала своего мужа лучше, чем Мортимер, и тотчас заметила в его глазах, интонации и словах нечто, что ей совсем не понравилось. Гарри свалял дурака, рассказав эту байку. Нэнси овладело раздражение, граничившее с неприязнью.

— В любом случае это лучше, чем ужасы, — торопливо бросила она.

— Что ж, — усмехнувшись, заговорил ее муж, — в конце концов, это возможно. Хотя… один сумасшедший стоит другого, — довольно туманно констатировал он и добавил в своей грубоватой

манере: — Если этот человек по-настоящему любил и был обманут, я даже могу понять, почему.

— О, Джон, только не читай проповедей, ради бога! Это так утомительно, — перебила Нэнси, но ее реплика лишь придала вес его словам, которые в противном случае не привлекли бы внимания.

— Могу понять, почему жизнь потеряла для него смысл, — настойчиво продолжал Берли, — и почему… — Он запнулся. — Впрочем, я обещал об этом не говорить. — Джон добродушно рассмеялся, но затем, словно вопреки самому себе, все же закончил: — Так или иначе, в сложившихся обстоятельствах он мог продемонстрировать презрение к человеческой натуре и к самой жизни посредством…

Тихий сдавленный вскрик побудил его вновь умолкнуть.

— Джон, я ненавижу тебя, когда ты начинаешь так говорить. И ты опять не сдержал слово.

Нэнси была не просто раздражена — ее голос был исполнен истерической злости. Ее заставило содрогнуться то, *как* он сказал все это, — не глядя на них, а отрешенно уставившись в окно. Неожиданно для себя она увидела в нем мужчину — и испугалась.

Ее муж ничего не ответил; он встал и посмотрел

на часы, склонившись вбок, ближе к лампе, так, что его лицо оказалось в тени.

— Два часа, — произнес он. — Пойду-ка я прогуляюсь по дому. Может, обнаружу спящего рабочего или еще что-нибудь. В любом случае скоро начнет светать.

Джон рассмеялся. Выражение его лица и тон голоса тотчас ослабили нервное напряжение, в котором пребывала Нэнси. Он вышел. Жена и ее кузен услышали его тяжелую поступь, гулким эхом разносившуюся по длинному, лишенному ковров коридору.

— Что он имел в виду? — не мешкая, взахлеб заговорил Мортимер. — Он же ничуточки тебя не любит. И никогда не любил. А я люблю. Не трать на него свою жизнь. Ты принадлежишь мне. — Слова так и лились из него. Он покрыл ее лицо поцелуями, между которыми расслышал:

— О, я не *это* имела в виду.

Моряк отстранился и внимательно посмотрел на Нэнси.

— Тогда что же? — прошептал он. — Ты думаешь, он видел нас на лужайке?

Ответа не последовало. Где-то вдалеке еще слышались шаги Джона.

— Знаю! — воскликнул вдруг Мортимер. — Он

чувствует, что этот дом проклят, вот что! И он ему не по нутру.

В комнате вновь вздохнул ветер, зашелестела бумага, что-то зашуршало. Миссис Берли вздрогнула. Ее взгляд упал на конец веревки, которая свисала с оставленной обойщиками лестницы-стремянки. По спине женщины пробежал холодок.

— Он изменился, — тихо ответила Нэнси, опять придвигаясь к Мортимеру, — и он очень встревожен. Ты ведь слышал, как он заявил, что в определенных обстоятельствах мог бы понять мужчину, который… который совершил такое, — договорила она внезапно упавшим голосом. — Гарри, — она посмотрела ему прямо в глаза, — это так на него не похоже! Джон нипочем не сказал бы этого просто так.

— Глупости! Ему ужасно скучно, только и всего. Вдобавок этот дом действует тебе на нервы. — Он с нежностью поцеловал Нэнси, а когда та ответила на его поцелуй, привлек ее к себе и страстно обнял, бормоча какие-то бессвязные слова, среди которых можно было разобрать только: «…бояться нечего». Шаги меж тем стали раздаваться ближе. Миссис Берли оттолкнула кузена.

— Держи себя в руках, Гарри! Я требую. Ты

должен, Гарри. — Она снова нырнула в объятия Мортимера и уткнулась лицом в его шею — но лишь затем, чтобы в следующий миг отстраниться и отойти в сторону. — Ненавижу тебя, Гарри! — с ожесточением воскликнула Нэнси, и лицо ее полыхнуло злостью и раздражением. — И ненавижу *себя.* Почему ты обращаешься со мной как с… — Она осеклась, ибо шаги звучали уже совсем близко, пригладила волосы и подошла к открытому окну.

— Мне начинает казаться, что ты всего-навсего играешь со мной, — зло произнес Мортимер. Удивление и разочарование читались в его глазах. — А на самом деле ты любишь его, — ревниво добавил он с обиженным видом капризного ребенка.

Нэнси даже не повернула головы в его сторону.

— Он всегда был честен со мной, добр и великодушен. Никогда ни в чем меня не винил. Дай мне сигарету и прекрати корчить из себя героя-любовника. Мои нервы, признаться, и так на пределе.

Она говорила резко, отрывисто, а поднеся огонь к ее сигарете, он заметил, что и губы у нее дрожат, и его рука тоже невольно дрогнула. Он все еще держал зажженную спичку, стоя рядом с Нэнси у подоконника, когда у порога раздались шаги

и в комнату вошел Джон Берли. Он проследовал прямиком к столу и прикрутил фитиль лампы.

— Чадит, — пробормотал он. — Неужто не видите?

— Простите, сэр. — Мортимер машинально подался в его сторону, чтобы помочь ему, но опоздал. — Это все сквозняк — оттого, что вы распахнули дверь.

— А! — бросил Джон и, глядя на них, придвинул стул. — Этот дом — то, что надо. Я обошел все комнаты на этаже. Из него выйдет отличный санаторий, и переделок почти не требуется. — Он повернулся на скрипящем плетеном стуле и посмотрел на жену, которая сидела на подоконнике, болтая ногами, и курила. — В этих старых стенах люди будут возвращаться к жизни. Хорошая инвестиция, — продолжал он, обращаясь, похоже, скорее к самому себе, чем к ним. — Впрочем, и умирать здесь они тоже будут…

— Тише! — перебила его миссис Берли. — Слышите шум… что это?

Из коридора или из соседней комнаты донесся слабый глухой стук, услышав который все трое быстро обернулись, ожидая, что он повторится, но этого не случилось. На столе зашелестела бумага, лампа вновь зачадила.

— Ветер, — невозмутимо заключил Берли, — наш дружок южный ветер. Опять что-то сдул, только и всего.

Но все трое тотчас оказались на ногах.

— Пойду посмотрю, — сказал он. — Двери и окна открыты настежь, чтобы высыхала краска.

Но и после этих слов он не сдвинулся с места, а продолжал стоять, где стоял, наблюдая, как белый мотылек мечется вокруг лампы, иногда ударяясь с разлету о голые доски стола.

— Давайте я схожу, сэр, — нетерпеливо вызвался Мортимер, который был рад удобному случаю удалиться, — ему впервые за все это время сделалось не по себе.

Однако ему помешала та, что испытывала еще большее беспокойство и потому еще сильнее радовалась возможности ускользнуть:

– *Я* пойду. Я не выходила из этой комнаты с тех пор, как мы приехали. И я ни капельки не боюсь.

Как ни странно, но и она несколько мгновений стояла не шелохнувшись, как будто чего-то ожидала. Добрую четверть минуты ни один из них не пошевелился и не проронил ни слова. В глазах своего возлюбленного Нэнси прочла, что теперь и он уловил ту легкую, трудноопределимую перемену в поведении ее супруга и всерьез

этим встревожен. Страх Мортимера вызвал в ней презрение к нему: она вдруг ощутила неприязнь к юноше и вместе с тем новое, странное влечение к мужу. Ее начало тяготить какое-то непонятное, мучительное бремя. В комнате что-то изменилось, подумалось ей, что-то проникло сюда. Все трое стояли, прислушиваясь к слабому ветерку за окном, гадая, повторится ли звук, вглядываясь в пустоту, — двое легкомысленных, страстных молодых влюбленных и зрелый мужчина; и тем не менее казалось, что их пятеро, — ибо еще две охваченные муками совести души стояли в сторонке, отдельно от их обладателей. Наконец Джон Берли нарушил молчание.

— Конечно, Нэнси, сходи. Там нечего бояться. Это просто ветер. — Он говорил так, словно сам верил в это.

Мортимер закусил губу.

— Я пойду с тобой, — торопливо проговорил он со смущенным видом. — Или давайте отправимся все втроем. Думаю, нам лучше не разлучаться.

Но миссис Берли уже была возле двери.

— Нет уж, — воспротивилась она с принужденным смешком. — Я позову на помощь, если станет страшно.

Муж молча наблюдал за нею, стоя подле стола.

— Возьми это, — сказал моряк и подошел к ней, на ходу проверяя свой электрический фонарик. — Два лучше, чем один.

Изящный силуэт Нэнси отчетливо вырисовывался на фоне темного коридора. Ее желание уйти было понятно. Несмотря на страх и нервозность, ею руководило куда более сильное чувство: ей хотелось, пусть и ненадолго, избавиться от общества обоих мужчин. Кузен надеялся хотя бы кратко объясниться с нею в коридоре, однако ее подчеркнутая холодность остановила его. Впрочем, было что-то еще, что удержало Мортимера от этого шага.

— Первая дверь слева! — прокричал он, и его возглас отозвался в пустоте гулким эхом. — Это из той комнаты донесся шум. Позови нас, если понадобимся.

Он посмотрел, как она, освещая себе путь фонариком, удаляется по коридору, и затем, не дождавшись ответа, повернулся к двери и увидел Джона Берли, который склонился над отверстием в стекле лампы, намереваясь прикурить сигару. С мгновение Мортимер наблюдал за тем, как Берли, делая затяжку, сжал губы, отчего его решительные черты стали почти жесткими. Он хотел было задержаться у двери и прислушаться

к звукам из комнаты по соседству, но теперь все его внимание оказалось приковано к этому лицу, склонившемуся над лампой. До него вдруг дошло, что Берли именно этого и добивался, — чтобы его жена оставила их наедине. И в тот же миг он забыл про свою влюбленность, про свою бесстыдную, себялюбивую, ничтожную пассию и про свое недостойное, вульгарное, ничтожное «я» — ибо Джон Берли вскинул голову. Он неспешно выпрямился, стремительно и глубоко затянулся, дабы сигара не погасла, и в упор взглянул на Мортимера. Тот шагнул внутрь комнаты — неловкий, растерявшийся, похолодевший.

— Конечно, это всего лишь ветер, — беспечным тоном обронил он с одной-единственной целью — заполнить какими-нибудь банальностями время, которое им предстояло провести вдвоем. Ему не хотелось, чтобы Берли начал говорить. — Наверное, он предвещает рассвет. — Моряк бросил взгляд на наручные часы. — Половина третьего, а солнце взойдет без четверти четыре. Думаю, уже светает. Эти короткие ночи не бывают по-настоящему темными.

Он продолжал сыпать словами — путаясь в них и перескакивая с темы на тему под гнетом пристального молчаливого взгляда, который

сбивал его с толку. Чуть слышный звук из комнаты, где находилась миссис Берли, заставил его на мгновение умолкнуть, и он непроизвольно повернулся к двери, ища предлог для ухода.

— Пустяки, — заговорил наконец Берли — уверенно и спокойно. — Это всего-навсего моя жена, которая только рада побыть в одиночестве… моя молодая прелестная женушка. С ней все в порядке. Я знаю ее лучше, чем ты. Закрой дверь и проходи в комнату.

Мортимер повиновался. Прикрыв дверь, он приблизился к столу и очутился лицом к лицу с Берли, который тотчас продолжил свою речь — низким и тихим голосом.

— Если бы я думал, что у вас это серьезно, — сухо и жестко процедил он, делая ударение на каждом слове, — знаешь, что бы я тогда сделал? Я скажу тебе, Мортимер. Я бы постарался, чтобы один из нас двоих — ты или я — остался в этом доме навсегда… мертвым. — Он говорил сквозь зубы, с силой сдавив ими кончик сигары, сжав кулаки и сверкая глазами. — Я доверяю ей столь беспредельно — понимаешь, о чем я? — что, потеряй я ее, я утратил бы веру в женщин и в самый род людской. А с нею и желание жить. Понимаешь?

Каждое слово, сказанное Берли, звучало как

пощечина молодому беспечному глупцу — но это было ничто в сравнении с той болью, которая отчаянно рвалась наружу из глубины благородной души самого Берли. В сознании Мортимера пронеслась вереница ответов — отрицание, объяснение, покаянное признание, — промелькнула и мигом пропала. Он замер на месте, глядя своему обвинителю прямо в глаза и не проронив ни слова, — да и времени на это уже не оставалось. Именно так — стоящими друг против друга — их и застала миссис Берли, которая в эту минуту открыла дверь. Она увидела только лицо мужа — его соперник стоял к ней спиной. С коротким нервным смешком она вошла в комнату.

— Это шнур от звонка раскачивается на ветру и стучит о лист железа перед камином, — сообщила Нэнси. Все трое рассмеялись, хотя каждый смеялся своему. — Но я все равно ненавижу этот дом, — добавила она. — Лучше бы мы сюда не приезжали.

— Когда забрезжит рассвет, мы сможем уйти, — спокойно заметил ее муж. — Таково условие, и мы должны его соблюсти. Осталось всего каких-то полчаса. Присядь, Нэнси, и подкрепись чем-нибудь. — Он встал и пододвинул ей стул. — А я, пожалуй, пойду еще разок осмотрюсь. — Сказав

это, Берли медленно двинулся к двери. — Может, выйду на лужайку и гляну на небо.

Вся его речь не заняла и полуминуты, однако Мортимеру показалось, что она длится целую вечность. В его мыслях царила сумятица. Он ненавидел самого себя — и ненавидел женщину, из-за которой влип в эту несуразную историю.

А ситуация неожиданно развернулась крайне удручающим для него образом — он и представить себе такого не мог. Мужчина, которого он считал слепцом, на деле все видел и давным-давно обо всем знал, наблюдал за ними, выжидал время — а женщина (теперь он был в этом уверен) всегда любила только своего мужа, с Мортимером же играла в кошки-мышки, дабы потешить собственное тщеславие.

— Я пойду с вами, сэр. Позвольте мне, — внезапно выпалил он.

Миссис Берли стояла между ними, побледневшая и растерянная. На ее испуганном лице был написан немой вопрос: «Что происходит?»

— Нет-нет, Гарри, — сказал Берли, в первый раз назвав моряка по имени. — Я вернусь самое большее через пять минут. Да и жене моей не следует оставаться одной. — И с этими словами он вышел из комнаты.

Дождавшись, когда звук шагов начнет стихать в глубине коридора, молодой человек повернулся, но не сделал ни шагу вперед; впервые он не воспользовался тем, что привык называть «удобным случаем». От его страсти не осталось и следа, любовь — а он считал, что это была любовь, — ушла безвозвратно. Мортимер смотрел на прелестную женщину, которая стояла перед ним, и недоуменно спрашивал себя, что влекло его к ней с такой неудержимой силой. Он молил небеса о том, чтобы оказаться подальше от всего, что произошло и никак не могло завершиться. Ему хотелось умереть. Слова Джона Берли лишили его воли к жизни.

Одно он видел ясно: Нэнси была напугана. Это наконец развязало ему язык.

— В чем дело? — глухо спросил он, пропустив знакомое имя. — Ты что-то видела там? — Он кивком указал на соседнюю комнату.

Звук собственного голоса, прозвучавшего столь холодно, подействовал на Мортимера отрезвляюще, позволил ему увидеть себя в истинном свете, — а по ее откровенному ответу, произнесенному еще тише, он ясно понял, что и она смотрит на себя без иллюзий. «Господи, — подумал он, — какими же разоблачительными могут

быть одно-единственное слово и тон, которым оно сказано!»

— Я… ничего не видела. Но мне тревожно… милый. — Это «милый» было зовом о помощи.

— Послушай! — выкрикнул он так громко, что Нэнси предостерегающе подняла палец. — Я… я был законченным дураком и подонком! Мне невыносимо стыдно. Я сделаю все — слышишь, *все*, — чтобы это исправить!

Он чувствовал себя раздетым донага, заледеневшим, ничтожным существом, чья неприглядность выставлена напоказ, и знал, что Нэнси чувствует то же самое. Внезапно их охватило отвращение друг к другу. Мортимер не вполне понимал, как и почему произошла эта резкая перемена — особенно с ее стороны. Он только ощущал, как нечто мощное, глубокое и неподвластное его разумению завладело ими, сделав обычную физическую связь пустой, пошлой и вульгарной. От непостижимости этой властной силы его окатило еще большим холодом.

— Тревожно? — переспросил он, едва ли сознавая, зачем это говорит. — Боже правый, уж он-то способен за себя постоять…

— Разумеется, — перебила она. — *Он* ведь мужчина.

В коридоре вновь раздались шаги — мерные, тяжелые. Мортимеру стало чудиться, что он слышит их всю ночь напролет и будет слышать до конца жизни. Подойдя к лампе, он прикурил сигарету, на сей раз осторожно, а затем прикрутил фитиль. Миссис Берли тоже поднялась с места и направилась к двери, прочь от него. Секунду-другую они прислушивались к тяжелой, уверенной поступи настоящего мужчины, Джона Берли. «Мужчина… и никчемный повеса», — этот жестокий контраст молнией промелькнул в сознании Мортимера, сгоравшего от презрения к себе. Шаги меж тем начали затихать в отдалении. Человек в коридоре куда-то свернул.

— Там! — вполголоса воскликнула Нэнси. — Он вошел в ту комнату.

— Вздор! Он прошел мимо нас и собирается выйти на лужайку.

Затаив дыхание, пара с минуту вслушивалась. Звук шагов явственно доносился из соседней комнаты. Поскрипывал дощатый пол — судя по всему, Берли направлялся к окну.

— Там, — повторила она. — Он все-таки вошел туда.

На минуту воцарилась тишина, Нэнси и Мортимер слышали лишь дыхание друг друга.

— Я не хочу, чтобы он оставался один… там, — запинаясь, выдавила она и уже вознамерилась открыть дверь, когда Мортимер отчаянным жестом остановил ее.

— Нет! Ради бога, не ходи туда! — вскричал он, стоило ей повернуть дверную ручку, и метнулся к ней.

И едва он коснулся ее руки, за стеной раздался глухой, тяжелый стук. На этот раз его определенно вызвал не ветер.

— Это просто тот болтающийся конец шнура, — заплетающимся языком прошептал Мортимер. Он пребывал в ужасном смятении, его мысли и речь вконец спутались.

— Да нет там никакого шнура, — чуть слышно возразила Нэнси, а потом пошатнулась и приникла к нему. — Я все это выдумала. Там вообще ничего нет.

Моряк подхватил кузину, беспомощно глядя на нее, и юноше показалось, что ее лицо словно рванулось ему навстречу. Он видел перед собой лишь широко раскрытые перепуганные глаза на мертвенно-белой пелене. Затем, обмякнув у него на руках, она прошептала:

— Это Джон. Он…

В этот момент, когда ужас обоих достиг своего

предела, до них внезапно опять долетел звук шагов — тяжелая мерная поступь Джона Берли, выходившего в коридор. Изумление вперемежку с облегчением не позволили им ни пошевелиться, ни заговорить. Шаги приближались. Пара как будто окаменела; Мортимер не разжимал рук, а миссис Берли не пыталась высвободиться. Они смотрели на дверь и ждали. И через мгновение она распахнулась и на пороге возник Джон Берли. Он был совсем рядом и мог бы коснуться жены и ее кузена, все еще не разомкнувших объятий.

— Джек, дорогой! — воскликнула его супруга с пронзительной нежностью, странным образом преобразившей ее голос.

Секунду-другую Берли поочередно глядел на обоих, потом невозмутимо произнес:

— Я собираюсь ненадолго выйти на лужайку.

Его лицо было непроницаемо: он не улыбался, не хмурился, не выказывал никаких чувств — просто смотрел им прямо в глаза. Потом, прежде чем кто-то из них успел вымолвить хоть слово в ответ, он вышел в коридор. Дверь за ним захлопнулась. Он исчез.

— Он собирается выйти на лужайку. Так он сказал, — заикаясь, дрожащим голосом повторил Мортимер.

Миссис Берли высвободилась из его объятий и теперь молча стояла возле стола, полуоткрыв рот и вперив бессмысленный взор в пустоту. Она вновь ощутила какую-то перемену в комнате — казалось, что-то ушло из нее безвозвратно… Мортимер смотрел на кузину, не зная, что сказать или сделать. Ему вдруг пришло в голову, что он видит перед собой лицо утопленницы. Какая-то преграда, неосязаемая, но почти зримая, неожиданно возникла в разделявшем их узком пространстве. Что-то определенно закончилось прямо здесь и сейчас, у них на глазах. Преграда между ними становилась все выше и теснее, и слова Нэнси доносились сквозь нее все глуше.

— Гарри. Ты видел? Ты заметил?

— Ты это о чем? — сухо спросил он. Он пытался вызвать в себе гнев или презрение, но у него странным образом перехватило дыхание.

— Гарри, он изменился. Глаза, волосы… — Она смертельно побледнела. — Даже черты лица…

— Какого черта ты городишь? Возьми себя в руки.

Мортимер увидел, что она дрожит всем телом. Нэнси ухватилась за край стола, чтобы не упасть. У юноши тоже подкашивались колени. Он сурово посмотрел на нее.

— Он изменился, Гарри… изменился.

Ее исполненный ужаса шепот вонзался в него как нож — ибо ее слова были правдой. Он тоже заметил нечто необычное в облике Берли. Однако даже сейчас они слышали, как он спускается по голым ступенькам лестницы; шаги стихли, когда он пересекал холл. Затем грохнула наружная дверь, и слабое эхо этого удара достигло комнаты, в которой они находились.

Неуверенной походкой молодой человек приблизился к Нэнси.

— Дорогая, ради бога… все это сущий вздор. Не изводи себя. Я все с ним улажу… это целиком моя вина. — По ее лицу Мортимер догадался: она его не понимает, он говорит совсем не то, что нужно. Ее мысли витали где-то далеко. — С ним все в порядке. Он сейчас на лужайке, — торопливо продолжил моряк — и осекся, заметив, что от ужаса, парализовавшего сознание Нэнси, ее лицо побелело как полотно.

— Это вообще был не Джон! — выкрикнула она, охваченная горем и страхом, и ринулась к окну. Мортимер устремился следом. К его огромному облегчению, внизу четко вырисовывалась человеческая фигура. Это был Джон Берли. В робком рассветном сумраке они наблюдали, как он пе-

ресекает лужайку, удаляясь от дома. Потом он скрылся из виду.

— Вот он! Убедилась? — ободряюще прошептал Мортимер. — Он вернется через.

И тут его резко прервал стук в соседней комнате, еще более тяжелый и громкий, чем прежде. Миссис Берли, испустив жалобный вопль, упала ему на руки. Он чудом успел подхватить ее — поскольку сам оцепенел от необъяснимого ужаса и стал беспомощен, как ребенок.

— Дорогая, дорогая моя… о боже! — Мортимер склонился над нею и, совершенно потерянный, принялся неистово целовать ее лицо.

— Гарри! Джек!.. О господи! — надрывно стенала она. — Он принял облик Джона. Он обманул нас… чтобы дать ему время. И Джон сделал это.

Внезапно Нэнси рывком села.

— Иди, — велела она, указав на комнату за стеной, после чего безжизненно обмякла, повиснув у него на руках.

Мортимер перенес бесчувственное тело кузины на стул, а потом вбежал в соседнюю комнату, где его фонарик высветил труп ее мужа, свисавший со стенного кронштейна. Он перерезал веревку всего на пять минут позже, чем следовало.

1919/1921

Уильям Джеймс Уинтл
1861–1934
Призрак в «Синем драконе»

Синий дракон» был одним из старейших и почитался одним из лучших отелей в Солтминстере, а это говорило о многом. Задолго до того, как Солтминстер сделался известным морским курортом, задолго до того, как у отдыхающих появилась привычка отправляться к морю на каникулы или чтобы поправить здоровье, — задолго до всего этого в Солтминстере, старинном рыночном городке, кипела жизнь и он мог похвалиться многочисленными и достойными трактирами. В последние годы, чтобы обеспечить нужды приезжающих, там стали появляться и новые заведения. Они именовали себя отелями, а потому и старым гостиницам, дабы не отставать, тоже пришлось взять себе это более звучное имя.

Но хотя «Синий дракон» теперь и звался отелем и процветал больше, чем когда-либо, само место с годами почти не изменилось: оно оставалось восхитительно старомодным, и старинное убранство в комнатах сохранялось, как и тра-

диционная английская стряпня. Тщетно искали бы вы там иноземные диковинки и новшества. Французским поварам и немецким официантам вход был заказан, и в том числе поэтому «Синий дракон» по-прежнему пользовался почтенной репутацией. Тем, кто хотел там погостить, следовало бронировать номера заранее.

И вот однажды остановиться в «Синем драконе» пожелал профессор Лейтем, который знал толк в этом деле. Профессор возглавлял кафедру ассирийской истории в Кембридже, где славился не столько своими лекциями, сколько умением разбираться в портвейне. Если он рекомендовал какой-нибудь отель, можно было не сомневаться, что и кухня, и вино там безукоризненны. Итак, он загодя забронировал номер и в середине июля отправился в Солтминстер, чтобы провести полтора месяца в тишине и покое и заодно отредактировать рукопись книги, которую он готовил к печати.

По прибытии в отель профессора поселили в комнате, вызвавшей полное его одобрение. Располагалась она в самой тихой и уединенной части здания, в конце длинного коридора, а окна ее выходили не на дорогу, а на сбегавшие к морю солончаковые болота. Обстановка внутри

оказалась во вкусе наших бабушек и дедушек — именно такая, какая нравилась профессору Лейтему.

Но в комнате имелся один недостаток, который вызвал у нового постояльца сильное удивление: там стояли *две* кровати! Тело у профессора Лейтема было только одно, и вторая кровать была ему совершенно ни к чему. Да и делить с кем-либо свое пристанище вовсе не входило в его планы. Но хозяин отеля быстро разуверил гостя: номер иногда сдавали постояльцам, которым требовалась дополнительная кровать, поэтому ее здесь и поставили. Разумеется, никто не станет на ней спать, пока тут живет профессор. Хозяин полагал, что кровать не вызовет особых неудобств. Застилали ее лишь потому, что незастеленная кровать выглядит неуютно. Профессор в свой черед уверил хозяина, что, если кроватью не будут пользоваться, он ничуть против нее не возражает: в конце концов, туда можно складывать вещи.

Вынув из чемодана свое имущество, профессор Лейтем беспорядочно разбросал его по комнате (такое поведение всегда до крайности удручало его экономку в Кембридже). Вскоре вторая кровать была завалена предметами гардероба,

книгами, рукописями и прочим добром.

Обустроившись, профессор отправился на прогулку, ознакомился, сверяясь с картой (по приезде в какое-нибудь незнакомое место он всегда первым делом покупал карту), с главными улицами и строениями городка, отметил для себя несколько лавок, торговавших подержанными книгами и антикварными диковинками, чтобы на досуге тщательно их обследовать, и наконец двинулся в сторону моря. Там он окинул неодобрительным взглядом купавшихся вместе разнополых курортников, а затем погрузился в изучение малоправдоподобной истории города, изложенной в местном путеводителе.

Надо сказать, что профессор Лейтем был экспертом в области истории и хорошо умел распознавать вымысел, рядившийся в платье факта. Посему он должным образом оценил подробный рассказ о визите королевы Елизаветы в Солтминстер и о ее пребывании в «Синем драконе» — в то самое время, когда на деле она страдала в Ричмондском дворце от смертельного недуга, от коего уже не оправилась. Всевозможные истории о призраках заинтересовали Лейтема гораздо меньше. Все они так или иначе имели отношение к «Синему дракону». Если верить этим басням, в

старину гостить на знаменитом постоялом дворе было весьма занимательно.

В призраков профессор не верил. Он оперировал фактами, фантазий же на дух не переносил. Ни разу в жизни он еще не слышал такой истории о призраке, которая устояла бы перед детальным разбором или даже простым пересказом. Все они рассыпались на глазах, стоило только начать расспросы. Никто из его знакомых лично призраков никогда не видел, хотя многие знали кого-то, кто видел, но профессор хорошо понимал, чего стоят свидетельства из вторых уст. И все же забавно было обнаружить, что «Синий дракон» окружает столько легенд о привидениях. Профессора Лейтема подобные нелепицы, к счастью, не беспокоили, иначе ему, вероятно, спалось бы дурно. Впоследствии он сможет рассказать друзьям, что побывал в настоящем логове призраков и на собственном опыте убедился в ничтожности таких историй.

Он вернулся в отель как раз вовремя, чтобы переодеться к ужину, и, войдя в номер, сразу заметил, что оставленные им на второй кровати вещи кто-то аккуратно переложил на стол. Судя по всему, пока он отсутствовал, в комнате прибирала горничная, — но лучше бы она ничего не

трогала. Профессор Лейтем переместил все обратно на кровать, понадеявшись, что это послужит достаточным намеком, переоделся и отправился ужинать.

Ужин был выше всяких похвал: отменный палтус и седло барашка ровно такое, какое нужно. Профессор попробовал знаменитый портвейн пятьдесят восьмого года, о котором слышал весьма лестные отзывы, и отзывы эти не обманули ожиданий. Бутылку он прикончил. Профессор Лейтем в этом деле понимал, и добро у него никогда зазря не пропадало. После ужина он не спеша выкурил сигару, выпил кофе с превосходно выдержанным бренди и отправился спать, пребывая в полном согласии с самим собою и с миром.

Войдя в комнату, профессор озадаченно остановился. Он, несомненно, переложил свои вещи обратно на кровать, прежде чем спуститься к ужину. А теперь они снова лежали на столе! Черт бы побрал эту горничную! Но точно ли он переложил их на кровать? Вроде бы да, но портвейн был на диво хорош… да и бренди превосходный… Переложил ли он вещи на кровать или только собирался? Как нелепо, что не удается припомнить такую простейшую мелочь… Погодите-ка,

какой там был год? Пятьдесят восьмой, разумеется; но с чего бы официанту соваться к нему в спальню? Нет, это был не официант, это наверняка горничная. Или вещи все-таки лежали на столе? Почему же никак не удается припомнить такую простейшую мелочь? Должно быть, всему виной морской воздух. Лучше просто лечь спать и больше об этом не думать.

И профессор Лейтем, снова побросав вещи на одну кровать (кое-что при этом упало на пол), залез на другую. Дважды пробормотав напоследок: «Пятьдесят восьмой», он заснул сном хорошо поужинавшего человека. Ни за что на свете не рискнули бы мы предположить, что профессор Лейтем подгулял, поддал, был навеселе или же под мухой, равно как и усомниться в том, что он был трезв, как овеваемое морским воздухом стеклышко.

Посему можно счесть удивительным тот факт, что покой профессора тревожили навязчивые сны. Еще более удивительно, что во всех этих снах так или иначе участвовала вторая кровать. Ему снилось, что на ней кто-то лежит; что его разбудил звук… скажем так, чересчур шумного дыхания. И звук этот доносился со второй кровати. Чиркнув спичкой, профессор зажег стоявшую

в изголовье свечу. Фитиль с шипением загорелся, и Лейтем увидел, что сложенные ранее на вторую кровать вещи исчезли. Зато в середине ее возвышалась настоящая гора. Там кто-то лежал! Но кому, черт побери, хватило наглости… Уж он скажет утром пару ласковых слов хозяину отеля!

Потом профессору привиделось, что он осторожно выбрался из собственной постели, выругался про себя, наступив босой ногой на запонку от сорочки, которую уронил на пол какой-то болван, и приблизился ко второй кровати, чтобы посмотреть на незваного гостя. Он уже успел заметить, что это преуродливейший рыжеволосый малый, судя по цвету его носа склонный к возлияниям.

Вероятно, какой-нибудь пьяный гуляка припоздился и перепутал комнату. Уж Лейтем ему растолкует, что к чему.

Он поднес свечу к кровати, откинул одеяло, чтобы получше разглядеть лицо незнакомца, — и перед ним предстал не кто иной, как он сам! Он схватил самого себя за плечо и потряс. Он сам проснулся и заехал самому себе в глаз. Последовала грандиозная потасовка. Он сам спрыгнул с кровати и сбил себя с ног, но сумел подняться и подставил самому себе подножку, а потом ухва-

тил самого себя за шею. Он сам высвободился, и тут уж стало очевидно, что оба пребывают в весьма скверном расположении духа. Соперники опять обменялись ударами, в результате чего оба серьезно пострадали, но в конце концов ему удалось сбить себя с ног. Он упал с грохотом, от которого, казалось, содрогнулся весь мир и… пробудился профессор Лейтем.

Профессор был крайне рассержен. Он обыкновенно спал крепко, и сновидения редко его беспокоили. Он зажег свечу, чтобы посмотреть на часы, и заметил, что все вещи, которые он накануне побросал на вторую кровать, валяются на полу. Это уже переходило всякие границы. На этот раз виновата была явно не горничная. Возможно ли, что вечером, когда профессор швырял их на кровать, он слегка промазал? Эта мысль не слишком понравилась человеку, который строго придерживался принципа трезвости.

Как бы то ни было, оставлять вещи на полу не годилось, и потому профессор поднялся, снова положил их на вторую кровать, потом забрался в свою постель и проспал до утра. Ему опять что-то снилось, и в снах этих опять фигурировала вторая кровать, которой, похоже, самой судьбой было предначертано лишить его ночного покоя.

Когда профессор проснулся поутру, взгляд его немедля упал на злосчастную кровать, и увиденное заставило его протереть глаза и спросить себя, не сон ли это. Вещи, которые он ночью положил туда, снова оказались разбросаны по полу. Но мало того: было совершенно ясно, что на кровати недавно спали! Одеяло было откинуто, точно кто-то только что поднялся, на матрасе и подушке виднелись углубления, как будто оставленные чьей-то головой и туловищем.

Однако этого просто не могло быть. Профессор Лейтем проследовал к двери и удостоверился, что она заперта, — он сам запер ее минувшим вечером. Никто не мог войти в комнату. Кто же тогда спал на второй кровати? Весьма неприятный вопрос.

Существовало лишь три возможных объяснения. Первое: профессор Лейтем поднялся во сне и перелег на вторую кровать. Но в таком случае выходило, что потом он вернулся обратно, — ведь проснулся-то Лейтем в своей постели. Ходить во сне профессор обыкновения не имел, потому объяснение выглядело неправдоподобно. Или же кто-то сбросил вещи и откинул одеяло, но на кровати не спал. Но кто же это был? Получалось, что сделать это мог лишь сам профессор, а зна-

чит, и это объяснение не годилось. Существовала и третья версия: ночью на второй кровати действительно лежал кто-то, но не профессор, и этот кто-то успел удалиться, пока постоялец номера еще спал. Значит, незнакомец мог попадать в запертые комнаты и выходить оттуда, не оставляя ни малейшего следа. То было крайне скверное предположение, и профессор Лейтем не стал на нем задерживаться. Как мы уже заметили, в призраков он не верил — да и кто хоть раз слыхал о призраке, который спит на кровати и вообще где бы то ни было?

Профессор ломал голову над загадкой, и чем больше он думал, тем меньше ему все это нравилось. Тайны никогда не были ему по душе, и он не хотел иметь с ними ничего общего. Поэтому он выкинул ночное происшествие из головы, твердо решив воздержаться за ужином от портвейна пятьдесят восьмого года, и спустился к завтраку. По пути ему попалась горничная, но выяснилось, что она ничего не убирала с кровати в его номере.

После завтрака профессор поднялся к себе, чтобы захватить книгу, которую он намеревался почитать на свежем воздухе. Он уже стоял перед самой дверью, когда изнутри донесся чей-то

голос.

Профессор Лейтем застыл и прислушался. Да, в комнате совершенно определенно кто-то находился, и этот кто-то пребывал не в духе. Слов различить было нельзя, но голос звучал весьма неприветливо. А самое странное, что этот голос точь-в-точь походил на его собственный — Лейтем однажды слышал его в записи на граммофоне!

Кем бы ни был непрошеный гость, находиться в номере профессора он не имел никакого права, и Лейтем вошел, твердо намереваясь напрямик сообщить ему об этом. Когда он открыл дверь, гнев на его лице тотчас сменился удивлением. Комната была пуста. Но сомневаться не приходилось: кто-то побывал в ней совсем недавно. Книгу, за которой явился профессор, зашвырнули прямо в камин! И не только книгу — еще и его любимый портсигар!

Но ведь дверь была заперта — он собственноручно ее отпер. Никто не мог войти в номер, кроме горничной, у которой имелся универсальный ключ, подходивший к любому замку. Когда профессор навел справки, выяснилось, что все то время, пока он завтракал, горничная занималась уборкой комнат в другой части отеля. Не исклю-

чено, конечно, что какой-то воришка обзавелся отмычкой и отпер дверь, но из номера ничего не пропало. Все вещи были на своих местах, кроме книги и портсигара, очутившихся в камине. Кроме того, профессор сам слышал голос незваного гостя как раз перед тем, как войти внутрь.

Профессор позвал хозяина отеля. Тот с терпеливой улыбкой выслушал постояльца и предложил весьма простое объяснение, которое, однако, Лейтема не убедило.

— Уважаемый сэр, — сказал он, — в старинных домах вроде этого, где имеется множество укромных уголков и сообщающихся друг с другом коридоров, разного рода звуки переносятся на дальние расстояния и перемешиваются, так что можно услышать в одной части здания отголосок или эхо чьей-нибудь беседы, которая ведется в другой его части. Если бы мы обращали внимание на все те приглушенные звуки, что слышатся здесь тихой ночью, нам пришлось бы поверить, будто чуть ли не в каждой комнате обитает призрак. Несомненно, так и зародились все те глупые россказни о нашем отеле, которые попали в местный путеводитель. Мы просто не обращаем на это внимания.

Однако это не объясняло, как вещи профессо-

ра попали со второй кровати на пол, кто измял на ней одеяло и простыни, кто швырнул в камин книгу и портсигар. Посему услышанное не слишком удовлетворило постояльца. Он пожал плечами, взял свою книгу и отправился на прогулку. А потом случилось еще одно престранное происшествие.

Проходя мимо фотографического салона, профессор Лейтем с изумлением увидел в витрине превосходный портрет самого себя! Никогда прежде он не бывал в этом салоне, да и вообще ни разу в жизни не фотографировался в шляпе (а на этом снимке он был запечатлен именно в ней) и потому сильно удивился. Профессор зашел внутрь и спросил:

— Вижу, у вас в витрине выставлена фотография профессора Лейтема из Кембриджа. Можно ли полюбопытствовать, когда ее сделали?

— Боюсь, вы ошибаетесь, сэр, — отозвался фотограф. — Это имя нам неизвестно, мы совершенно определенно не фотографировали господина с таким именем. Быть может, вы поясните, о каком портрете идет речь?

Изрядно озадаченный профессор указал на фотографию, и ему сообщили, что сей джентльмен два года назад останавливался в «Синем

драконе», но отказался назвать свое имя.

— Но этот портрет весьма точно изображает вас, — заметил фотограф. — Возможно, это и есть ваш снимок, только вы позабыли о том, что его сделали?

Профессор Лейтем уверил его, что никогда раньше не бывал в Солтминстере и уж точно не позировал фотографу. Все это можно было объяснить лишь крайне любопытным и необычайным совпадением, и Лейтем призадумался, нет ли у него двойника.

Потом произошла другая странность. Во время прогулки профессору попался господин, который, приподняв шляпу, сказал:

— Позвольте воспользоваться случаем и извиниться за свою неловкость — я ведь налетел на вас вчера вечером в отеле. А все из-за того, что зацепился ногой за край ковра.

Профессор уверил его, что это ошибка. Никто на него не налетал, и господин, видимо, обознался. Но тот настаивал, что вчера возле двери комнаты номер тридцать девять он столкнулся именно с Лейтемом. Профессор действительно проживал в указанной комнате. Все эти ошибки выглядели весьма странно.

Но еще более любопытное недоразумение слу-

чилось, когда он вернулся в отель. Войдя в номер, профессор застал там горничную, которая как раз стелила на вторую кровать еще одно одеяло, и поинтересовался, что это значит, — ведь на кровати никто не спит. Горничная ответила, что он сам попросил принести дополнительное одеяло, так как продрог ночью. Профессор возразил, обратив внимание на то, что он спал на другой кровати. Горничная заявила, что обе кровати выглядят так, будто на них спали, хотя она никак не может взять этого в толк. Вдобавок она настаивала, что видела Лейтема около получаса назад: он якобы как раз выходил из номера и подробнейшим образом объяснил ей, куда именно следует постелить еще одно одеяло!

Ошарашенный профессор не мог понять, что происходит. Неужели весь Солтминстер сошел с ума? Или же Лейтем находился во власти кошмара и вот-вот должен был пробудиться и обнаружить, что все это ему приснилось? Затем последовала еще одна поразительная сцена. Профессор подошел к зеркалу, чтобы причесаться, и в отражении явственно увидел точную копию самого себя, выходящую из номера. Он тут же обернулся и успел заметить, как закрывается дверь. Профессор устремился к выходу и распах-

нул ее, но коридор был пуст. А ведь он действовал молниеносно, да и коридор был столь длинным, что никто не сумел бы скрыться так быстро.

Через несколько минут профессор спустился к обеду, вошел в столовую и поймал на себе удивленный взгляд официанта. Тот поинтересовался, не передумал ли он насчет обеда. Профессор спросил, что официант имеет в виду, и получил следующий ответ: несколько минут назад он якобы вышел из отеля, а перед тем известил, что обедать не будет. Ситуация все больше запутывалась. Совершенно очевидно, за профессора принимали кого-то другого. Возможно, во всем следовало винить случайное сходство, но как же тогда объяснить кавардак в комнате? Кроме того, вся нынешняя несуразица происходила уже не после ужина, так что переложить вину на портвейн пятьдесят восьмого года не представлялось возможным.

Остаток дня прошел спокойно. Профессор Лейтем отужинал и, как и накануне, остался ужином весьма доволен (хотя пил теперь не портвейн, а более легкое вино), потом сыграл партию на бильярде (но к бренди не прикасался) и наконец в должный час отправился почивать.

Из-за морского воздуха его клонило в сон, и он

надеялся наверстать упущенное прошлой ночью. В целом спал профессор крепко, но дважды ему мерещилось, что в комнате кто-то шумно дышит. Позднее, поразмыслив, Лейтем так и не пришел к определенному выводу, был ли то сон или же он действительно слышал в полудреме чье-то дыхание. Последнее казалось более правдоподобным, ибо с утра профессор с отвращением обнаружил, что на второй кровати опять кто-то ночевал.

И этим дело не ограничилось. На стуле рядом с второй кроватью лежал листок, как выяснилось, вырванный из его собственной записной книжки, и на нем были нацарапаны вирши из какой-то песенки для варьете — на редкость непристойной и вульгарной. И притом нацарапаны почерком профессора Лейтема! Отрицать это было бессмысленно. Песенки этой профессор не знал, да никогда бы и помыслить не мог о том, чтобы записать или даже повторить строки подобного содержания, — но сомневаться не приходилось: это был его почерк. Он почувствовал облегчение оттого, что не бросил куда попало свою чековую книжку.

Днем события приняли еще более неприятный оборот. Хозяин отеля позвал к себе профессора и, чуть замешкавшись, сообщил, что вынужден

попросить его подыскать себе другую гостиницу.

Профессор возмущенно поинтересовался причиной такой просьбы, и хозяин заявил, что в «Синем драконе» не жалуют джентльменов, которые на лестнице лезут с поцелуями к горничной!

Вообразите смятение профессора Лейтема, который никогда в жизни не позволил бы себе ничего подобного!

Но горничная от своих слов не отступалась, несмотря на все его отрицания и уверения, что за него приняли кого-то другого. Бедолаге пришлось согласиться выехать из отеля на следующий же день. К тому времени он уже был по горло сыт Солтминстером и решил не искать другое пристанище в этом городке, а дождаться утра и возвратиться в Кембридж. Однако промедление едва не стоило ему жизни.

Тем же вечером, поднявшись в комнату и взявшись за ручку двери, профессор отчетливо расслышал внутри чей-то приглушенный смех, а войдя, увидел, что одеяло на второй кровати откинуто, словно кто-то как раз собрался лечь. Он также заметил, что одно из бритвенных лезвий, имевшихся в его чемодане, лежит открытым на туалетном столике. Профессор убрал его и, как потом выяснилось, поступил весьма разумно.

Он разделся и уже приготовился было нырнуть в постель, но сначала подошел к окну — посмотреть, какая стоит погода. Ярко светила луна. Минуту или две провел профессор у открытого окна. Вдруг кто-то схватил его сзади. В тот самый миг он случайно глянул в зеркало и увидел лицо противника за своим плечом. То было его собственное лицо!

Он сразу понял, что борьба пойдет не на жизнь, а на смерть. Вцепившееся в профессора чудовище явно намеревалось выкинуть его из окна. Несколько минут исход дела оставался неясным. Дважды противник прижимал Лейтема к подоконнику и профессор едва не вываливался наружу, но каждый раз неимоверным усилием ему удавалось удержаться. Во время схватки опрокидывались стулья, упал туалетный столик, и, судя по всему, это сопровождалось страшным шумом, однако Лейтем ни на что не обращал внимания — все его силы уходили на борьбу за собственную жизнь.

Шум и спас профессора Лейтема. Он привлек внимание других постояльцев, и те вышли из своих номеров посмотреть, что стряслось. Кто-то громко постучал в дверь — и в то же мгновение Лейтем остался один!

На следующее утро он уехал из Солтминстера, и с тех пор никто ни разу не слыхал от него никаких суждений об историях с призраками. И никому никогда не рекомендовал он останавливаться на отдых в тихом славном отеле «Синий дракон».